

Владимир Порудоминский ПОВЕРХ НАПИСАННОГО (ТРАПЕЗЫ ТЕНЕЙ)

K R E

International

Literary

Magazine

S C H A

ВЛАДИМИР
ПОРУДОМИНСКИЙ

ПОВЕРХ
НАПИСАННОГО
(ТРАПЕЗЫ ТЕНЕЙ)



БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

**Владимир
ПОРУДОМИНСКИЙ**

**ПОВЕРХ
НАПИСАННОГО
(ТРАПЕЗЫ ТЕНЕЙ)**

**Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2023**

УДК. 821.161.8'37-4
П-27

СЕРІЯ «Бібліотека “КРЕЩАТИКА”»
Заснована в 2023 році

Порудоминский В.

П-27 «Поверх написанного (Трапезы теней) — Друкарський двір Олега Федорова. Київ: 2023 — 350 с.

ISBN 978-617-8252-11-3

В книгу известного писателя В. Порудоминского вошли написанные в последние годы рассказы, воспоминания, размышления о смысле жизни и т.д.

УДК 821.161.8'37-4

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)
ISBN 978-617-8252-11-3

© В. Порудоминский, 2023
© Федоров О.М., видавець, Київ 2023

На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.

Б.Пастернак

Часть I.
Путешествие вокруг Африки на трамвае «А»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Живу в отчаянии.
Хочется писать.
О чем писать, пока не знаю.
Как писать, тоже пока не знаю.
О чем хотел, уже писал.
Как хотел, тоже уже писал.
Тот, кто пишет, всегда тоскует, если хочется и не пишется.
Пушкин тосковал. Лев Толстой.
Женя Малахов, приятель Володи Наумца, писал книгу о том,
как не пишется книга.
Не написал.
Володя Наумец, хороший художник, говорит: нужны высшие
помощники. Если помогут, напишется; без них — хотеть мало.
На бытовом уровне ожидание «помощников» словесно обо-
значается парадоксом: *книга пишется сама, когда ее не пишут.*
Отчаиваюсь, оттого что не пишу книгу, которую, может быть,
пишу.

2

Лев Толстой говорил: чтобы начать молоть, мельница должна
набрать воды.
После «Войны и мира» он долго и основательно собирал мате-
риал для романа о Петре Великом. Но однажды, вроде бы случай-
но, заглянул в прозу Пушкина — и принялся за «Анну Каренину».
Оказалось, мельница набирала воду для другого хлеба.
Это про своеволие «помощников».

Главный русский роман о Петре написал другой Толстой.

Интересно, взялся бы «третий Толстой», как именовали этого другого, за своего Петра, если бы до него написал «первый»?

«Войной и миром» Лев Николаевич сильно притормозил появление позднейших романов о 1812-м годе.

«Ах — нет Пушкина! Как бы он был весел, как бы он был счастлив, и как бы стал потирать себе руки...» Это, читая «Войну и мир», пишет автору Михаил Петрович Погодин, писатель и историк, знакомый и Толстого, и Пушкина.

Пишет через сорок лет после смерти поэта.

Но кто его знает, стал бы Пушкин руки потирать или нет.

У Пушкина, в отличие от Толстого, свой — *дотолстовский* — Двенадцатый год.

Вот ведь и князь Петр Андреевич Вяземский, в позднюю пушкинскую пору коривший и «царапавший» друга-поэта слева, сорок лет спустя не принял «Войну и мир» справа: обиделся за «олимпийцев 12-го года» (сам некогда участвовал в Бородинском сражении), увидел в книге Льва Толстого «школу отрицания и унижения истории».

Пушкин остро чувствовал, вокруг и в себе, деятельную силу Времени:

Уж десять лет ушло с тех пор — и много
 Переменилось в жизни для меня,
 И сам, покорный общему закону,
 Переменился я...

Да и Погодин, девяти месяцев не ушло, перебежав от восторженного письма к газетной статье, соглашается с Вяземским, пеняет Толстому за «опрометчивость и самонадеянность, непростительную и великому таланту».

Пушкин часто повторял: «Всё перемелется — мука будет».

Набирая в мельницу воду, Толстой выписывал пословицы из Сборника Даля.

Первая пословица, своеобразно сверкнувшая в «Войне и мире», — про искусника и бережливца, который на обушке рожь обмолотит и зерна не обронит.

У Гоголя была любимая пословица — на ту же тему: «Каков искусник! На говне вошь убьет и рук не замарает».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Так вот — про Африку.

2

Про Африку хорошо пишет мой друг Алеша Букалов, журналист-международник и пушкинист.

Его книга «Пушкинская Африка» начинается так:

«В один из февральских дней 1974 года наш маленький автомобильный «караван» медленно продвигался всё дальше и дальше на север Эфиопии. Судя по карте, мы уже пересекли пятнадцатую параллель, и, стало быть, еле заметный ручей под мостом — река Марреб. Остановились у большой акации на развилке дорог. Было тихо, солнце клонилось к закату, тени стали длиннее, и высокие горы на горизонте покрылись легкой дымкой. Позади осталась бывшая эфиопская столица Гондар, с круглыми башнями средневекового замка императоров из династии Фасилидэсов. Здесь, на границе с Эритреей, воздух тоже, казалось, был пропитан не пылью, а самой историей».

В отличие от большинства исследователей биографии Пушкина мой друг Алексей Букалов имел возможность посмотреть на материал исследования с моста через реку Марреб.

3

Сам Пушкин, как и большинство его биографов, полагал, что его черный прадед Ганнибал родом из Абиссинии, по-нынешнему Эфиопии.

Но вот, совсем недавно, появилась иная — сенсационная — версия, согласно которой родина предка — Камерун.

Версию выдвинул и обосновал бенинский ученый Дьедонне Гнамманку.

(Владимир Набоков задолго до того искал на карте Африки для Ганнибала другую родину.)

Камерунская версия смотрится убедительно и манит к себе всё больше сторонников.

Эфиопам это, понятно, не нравится. Они привыкли гордиться родством с великим русским поэтом.

4

Африканские земли спорят, *чей* Пушкин; в России пушкинские земли распродают. Распродают земли вокруг Святых Гор, несколько десятилетий именовавшихся Пушкинскими (в обиходной речи — Пушгоры) и от этого еще более святых. Тая Николагорская, поэт и очеркист, неуспешный и безуспешный (а какой еще может быть) борец за красоту, духовную и земную, которая (еще надеемся) спасет мир, рассказывает в журнальной статье про расставленные по святым пушкинским местам дощечки с надписью «Продается земля». Кольшки с дощечками крепко забиты в пушкинскую землю перед въездом в Бугрово по дороге из Святых Гор в Михайловское, и возле городища Воронича, где Пушкин трудился над трагедией о царе Борисе, и в Петровском, куда поэт наезжал к двоюродному деду («деду-негру»), сыну царского арапа. С толстым кошельком отчего не пристроиться соседом к Пушкину? С *Онегинской* скамьи сможем любоваться, пожалуй, выросшими по обе стороны *ветхой лачужки* поэта, неприметно укрытой в *глуши лесов сосновых*, могучими крепостными резиденциями какого-нибудь газонефтяного трубоча и водкогонного магната.

«Дикий капитализм» — одним словом, но с разными интонациями, объясняют происходящее веселые находчивые и унылые нерасторопные.

5

Чеховский «Вишневый сад», кажется, вырос на полутора страницах «Анны Карениной». Эти полторы страницы притаились

в главе о губернских дворянских выборах и подчас не слишком приметны для свежего читателя, торопящегося за развитием сюжета. На выборах Левин встречает знакомого помещика. Беседуют об оскудении дворянства. Многие помещики продают родовую землю купцам; купцы вырубают вековые рощи и сады «на лубы и струбы», сдают землю в аренду, ставят на ней дачи. «Но почему же мы не делаем, как купцы? На лубок не срубаем сад?» — спрашивает Левин. «Да вот, как вы сказали, огонь блости. А то не дворянское дело...»

Про *огонь* Левин сказал раньше, противопоставляя себя и собеседника расторопным предпринимателям: «Так мы без расчета и живем, точно приставлены мы, как весталки древние, блости огонь какой-то».

В общем-то, в этом суть: *огонь блости*.

6

С легендарным Семеном Степановичем Гейченко я встретился однажды в отдалении от его михайловских сосен — в губернии Нижегородской, в прославленном великой творческой осенью пушкинском Болдине.

На улице, в нескольких шагах от пушкинского двора, Гейченко увидел, гуляючи, старое дерево, не захваченное на дворовую территорию штaketным забором.

«Как же так! — расстроился и рассердился Гейченко. — Дерево-то, поди, Пушкина помнит. Потом вырубят, скажут — незаповедное».

У Толстого в главе, о которой веду речь, помещик, знакомый Левина, говорит:

«Хороши мы, нет ли, мы тысячу лет росли. Знаете, придется если вам перед домом разводить садик, планировать, и растет у вас на этом месте столетнее дерево... Его в год не вырастишь...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Презентация книги Алексея Букалова «Пушкинская Африка» состоялась в кафе Греко.

Это — Рим.

Кафе размещается на улице Кондотти — недалеко от ее устья: еще несколько домов — и улица вливается в площадь Испании. В створе улицы видны уже манящие белокаменные каскады лестницы на противоположной стороне площади; устремившись к ним, можно проскочить, не приметить скромно прижавшееся по левую руку прославленное кафе.

2

Царский арап, возможно, и правда, родился в Камеруне, но вот кофе — неоспоримо эфиопское изобретение.

В справочниках и поныне находим легендарную историю, или историческую легенду, об эфиопском пастухе, заметившем, что козы, когда наедаются листьев и плодов с определенного кустарника, становятся особенно энергичными.

Кофе долго был напитком Востока, прежде чем быстро и решительно завоевать Европу.

В крупных городах Европы появились кофейни.

В 2010 году кафе Греко отметило свое 250-летие.

3

Русские художники, которых с конца восемнадцатого столетия посылали в Италию совершенствоваться в искусстве, к кофе причались быстро. Некоторые, впрочем, еще дома, пусть по-русски, без премудростей знатоков, освоили кофепитие.

Петр Великий, путешествуя по Европе, пристрастился к кофе и, по обыкновению, принялся насаждать его в отеческих пределах. Сто лет спустя, после Отечественной войны, когда в заграничных походах понагляделись на иноземные обычаи, кофе сделался частью будней.

«Нос» Гоголя начинается с того, что цирюльник Иван Яковлевич, проснувшись довольно рано, говорит жене: «Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофию, а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком».

4

Гоголь, живя в Риме, был постоянным гостем кафе Греко.

Там и сегодня обозначено место, по преданию ему принадлежавшее.

Опять же согласно преданию, в кафе Гоголь писал «Мертвые души».

На стене в одной из комнат кафе помещен (в копии, конечно) автограф его письма к доброму приятелю, литератору Петру Александровичу Плетневу: «...О России я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся, во всей своей громаде».

5

Впервые я оказался в кафе Греко тридцать лет назад.

Был октябрьский вечер. Темно.

Via Condotti, не слишком широкая и не слишком освещенная, была заполнена туристами. Они спешили, шагали, плелись по ней, вверх и вниз, толпой, группами, в одиночку, и словно раскачивали улицу. Я плывал тогда в круизе по Средиземному морю и как раз на пути в Италию изведаль такую продольную, с носа на корму и обратно, качку, — кажется, она называется *килевой*.

Кафе Греко не приманивает прохожих ни яркой вывеской, ни сияющими витринами.

Здесь приманкой — слава.

В Лувре тихая «Мона Лиза» соседствует (сосуществовала, когда я там бывал) с громадным, мощным по живописи полотном Веронезе. Люди приходят в Лувр и спешат к «Моне Лизе».

Я не сравниваю Леонардо и Веронезе — это другая тема. Я — о славе.

6

«Люди верят только славе».

Пушкин записал это не как счастливо пришедшее в голову отвлеченное положение. Разговор ведется совершенно конкретный: речь о Грибоедове, ни на каком из своих поприщ не успевшем вкушать прижизненной славы.

«Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда им случалось говорить о нем как о человеке необыкновенном»...

7

Плоскости стен в комнатах кафе Греко сплошь завешаны картинами, рисунками, фотографиями, автографами писем и до-

кументов — метки одаренных славой гостей и друзей, своим пребыванием в этих стенах свидетельствовавших о славе кафе и ее укреплявших.

Не стану называть имена. Называть много — скучно. Выбирать? Но: вспомнишь Гете — чего доброго, забудешь Байрона. Или Стендаля. Вспомнишь Россини. Позабудешь Листа. Или Вагнера.

Лучше заглянуть в путеводитель.

Можно бы сказать для красного словца, что римское Греко вполне осиливает соперничество с парижской Ротондой.

Да «два века ссорить не хочу» (цитата).

Каждому — свое.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Незадолго до моего первого приезда в Рим (годом, двумя раньше) какой-то безумец раздробил Пьету Микеланджело в Соборе святого Петра. Когда наша туристская группа вступила в Собор, скульптура была уже склеена умелыми мастерами и помещена за прочным стеклом.

Нашим гидом в Риме была отлично говорившая по-русски итальянка, Анна, маленькая, тонкая, как трость, с красивым, четко вырезанным смутно-желтым лицом и коротко подстриженными волосами. Хриплым голосом, то и дело покашливая, она сообщала нам всё, что полагалось сообщить, и, в отличие от других гидов, не вспоминала смешных историй, не шутила, даже не улыбалась. В ее черных глазах светилась заметно обжигавшая ее неприязнь к окружающему миру.

Возле реанимированной Пьеты сердобольные россияне начали, понятное дело, скорбеть, убиваться, но вместе с тем гневно возмущаться чудовищным актом вандализма.

Анна обожгла нас взглядом (будто дверцу топки приотворила), сказала сердито: «Если бы я могла, я бы всё тут взорвала, всю эту красоту!»

Она обвела рукой в воздухе полукруг, будто предъявляя нам красоту, которую хотела бы взорвать. Точно таким жестом она приглашала нас полюбоваться колоннами и куполами, скульптурами, мозаикой, картинами.

«Всё бы взорвала и построила новый город, — сказала Анна. — Нельзя жить в музее, в прошлом. Надо жить в настоящем. В стенах прошлого не вырастут новые свободные люди. Для новых людей нужно новое пространство».

Похоже, она была то ли запутавшаяся анархистка, то ли несостоявшаяся террористка, то ли очень уж безнадежная левая.

Советские туристы испуганно молчали.

Был особенный советский страх, оттого что все видят, что я это слышу.

«Но для ваших внуков построенный вами город будет уже прошлым, музеем», — возразил я осторожно.

«Пусть взрывают, — не задержалась Анна. — Взрывать — и строить. Это — движение. Главное — не жить в старом»...

Когда мы поднимались по лестнице ватиканского дворца, она всё покашливала. Я шел рядом. Она повернулась ко мне, вдруг жалобно сказала: «Никак курить не могу бросить. Врач говорит: будешь курить — заболеешь».

«Бедная ты моя подрывательница...» — подумал я...

2

Чашечка кофе в кафе Греко, если взять в прихожей у стойки, обходится раз в пять дешевле, чем за столиком в глубинных мемориальных комнатах.

Это объяснила мне Анна, когда я поделился с ней заветной мечтой: будучи в Риме, непременно выпить эту самую чашечку.

Совет был как нельзя кстати.

В неведении я, конечно бы, полез за столик, в какой-нибудь уютный уголок, приятно возомнив, что именно здесь, на этом месте, сживал некогда Карл Брюллов, в ту пору мне особенно близкий, или его соратник в искусстве и соперник по жизни и посмертной судьбе Александр Иванов, или даже, может быть, сам Николай Васильевич Гоголь (напомню к слову: прекрасно написавший и о том, и о другом)...

Между тем, родное государство, снизойдя отпустить нас за рубеж, на валюту не расщедрилось. На месяц плавания по морям и океанам каждому туристу было выдано полсотни долларов. Правда, обменивали по официальному советскому курсу, а по этому курсу — что называется, хочешь верь, хочешь нет, — доллар чис-

лился дешевле рубля: эти самые пятьдесят долларов давали за сорок пять, кажется, рублей. (Так что наш брат, простой советский человек, по обыкновению, оказался в выигрыше.)

3

Двенадцать долларов у меня были отложены на джинсы (сведущие люди еще до отплытия дали знать, что именно столько стоят ворвавшиеся в нашу жизнь первейшей необходимостью ковбойские штаны в портовых лавчонках на Канарах, где отовариваются экипажи советской китобойной флотилии и туристы советских средиземноморских круизов), остальное я предполагал потратить на сувениры и на эту самую чашечку кофе в кафе Греко.

Чашечка кофе в кафе Греко к сувенирам не относилась.

Это было нечто иное.

4

Это было что-то вроде причастия.

«...Общника мя быти святынь Твоих сподобил еси...»

Какого-то особенного приобщения к дорогим мне героям моих трудов.

Тем многим из них, кто побывал в этих стенах за минувшие два столетия.

А через них и к тем, кто не побывал.

Все они связаны в пространстве («по горизонтали») и во времени («по вертикали») через одно, два, три (четыре — уже много) *рукопожатия* — принятое ныне обозначение.

Кажется, оно пошло с *легкой руки* Натана Эйдельмана.

У Натана, при его габаритах и энергии, рукопожатие было удивительно легкое и теплое.

5

С темной улицы я шагнул в ярко освещенную прихожую кафе. Здесь у прилавков, кофейного и кондитерского, весьма густо толпились люди с заветной (для меня) чашечкой в руке. Они потягивали черную жижицу, совершенно очевидно не предполагая совершаемого ими священнодействия. Глядя на них, я с мазохистской сладо-

стью оценил и трудную досягаемость поездки за рубеж, и редкостную возможность ощупывать в кармане изрядно потертую на просторах мирового рынка долларовую бумажку, и пьянящее ощущение свободы оттого, что не с группой из двадцати пяти соотечественников торопишься по назначенному маршруту, боясь упустить из виду Анну, решительно шагающую впереди с желтым бумажным флажком в поднятой руке, а сам по себе гуляешь по улицам и площадям Рима (по вечерам, прежде чем возвратиться на корабль, отпускали пройтись без вожатого, — конечно, по двое, по трое)...

6

Рим, как известно, город не портовый.
Наш корабль стоял в Чивитавеккья.
Город-порт на Тирренском море.
В Чивитавеккья мы простояли четыре дня.
Точнее — четыре ночи.
Были и не были.

Рано утром нас отвозили на автобусах в Рим, к полуночи, иногда и за полночь, возвращали обратно.

Город лежал рядом, почти вокруг нашего корабля, утром просыпался, шевелился, разминал ноги, не спеша принимался за дела, ночью, пусть не сверкал, но светился огнями, шлялся по улицам, пел, танцевал, сидел за бутылкой вина, — город дышал вокруг, недосягаемый Чивитавеккья: пройтись по его камням не было нам дано ни времени, ни разрешения. Восемь раз — четырежды рано утром, на пути в Рим, и столько же поздно вечером, на обратном пути, в порт — промелькнула за окнами автобуса одна и та же улица, маленький, с ладонь, сквер, статуя мадонны, держащей в руке кораблик, еще какие-то статуи (императоры, святые, мореходы? — поди разбери из окна автобуса), желтая стена старинной крепости (позже узнаю, что тут Микеланджело руку приложил), клуб, полицейский участок, перекресток, за которым вдали открывались широкими пространствами стекла новые кварталы... У самого порта, всякое утро и вечер, отмечая (для меня) начало и конец нашего «автопробега» и вместе уже столетиями отмечая начало и окончание дальних и долгих плаваний, подчас исполненных драматических и даже исторических происшествий, стоял высокий строгий крест, лучше видный с моря, чем с земли...

Во мне давно, с детства почти, памятью воображения, может быть, даже мечтой, живет этот город с птичьим странным именем (мой друг Юлия Добровольская, замечательный итальянист, объяснила мне, что *Чивитавеккья* напрямую не переводится, но этимологически значит «старый город», одним словом — *Старгород*).

Не исключаю (сейчас не имею возможности перечитать, проверить), что город впервые маняще укоренился в моем воображении при знакомстве с романом Анатолия Виноградова «Три цвета времени».

«Три цвета времени» — роман о Стендале.

Я прочитал его подростком, раньше, чем прочитал самого Стендаля.

Роман был в ту пору необыкновенно популярен.

Книгу передавали из рук в руки.

Анатолий Виноградов числился (и по заслугам) одним из лучших биографических романистов. Так — по понятным обстоятельствам, десятилетия спустя — читали и почитали у нас Андре Моруа или Ирвинга Стоуна.

Столь же известным, как «Три цвета времени», был роман Анатолия Виноградова «Осуждение Паганини».

Третий роман «Черный консул» — о политическом вожде Гаити Туссене Лювертьюре — уступал первым двум по вниманию читателей.

Романы Анатолия Виноградова не были *беллетристкой* в том расхожем, несколько свысока, употреблении этого слова, обозначающем легкое, на потребу не слишком искусственному вкусу чтение. Это была серьезная литература.

И автор был человеком серьезным — выпускник философского факультета Московского университета (ему принадлежит, между прочим, интересное исследование «Мериме в письмах к Соболевскому»).

Анатолий Виноградов жил в Москве неподалеку от моей школы.

Его сын учился у нас в школе, двумя классами младше.

Несколько раз Анатолий Виноградов приходил к нам на занятия литературного кружка. Мы смотрели на него и внимали ему восторженно: шутка ли, настоящий (!), известный (!) писатель!

Красивый седой мужчина — мужское начало во внешности, в поведении было очень явным. И в речи тоже: точная, четкая, убежденная и убеждающая.

Он носил форму полковника авиации: шла война, многие писатели работали в военных газетах. Но Анатолий Виноградов не только носил мундир: еще до войны, ему было под пятьдесят, он окончил летную школу.

Анатолий Виноградов рассказывал нам о литературе — рассказывал как литератор, как человек пишущий: он вводил нас, школяров, самоуверенно полагавших, будто кое-что уже разумеют, в литературу с другого входа.

Не помню точно, о чем говорил писатель, но то, что он говорил, входило в мой состав как важный опыт жизни.

Однажды мы узнали, что Анатолий Виноградов застрелил из пистолета жену, сына и себя самого. Это тоже вошло жизненным опытом в мой состав.

9

Чивитавеккья был точкой на ярко освещенной карте Средиземноморья, повешенной на пути в корабельный ночной бар — четверо суток в эту точку была воткнута булавка значка с изображением нашего судна.

Город остался для нас единственной улицей, нам предъявленной, с мадонной, сквером, куском крепостной стены и вывеской харчевни каких-нибудь трех пещарей. Я и огорчаюсь нелепости, не позволившей мне ничего более узнать о нем, и радуюсь тому, что новые стеклянно-бетонные кварталы, желанные, должно быть, нашему итальянскому гиду, этой маленькой подрывательнице музеев, даже слегка не поколебали моего — *музейного* — Чивитавеккья, с отроческих лет и поныне живущего в моем воображении.

Из этого порта банкирские дома Торлони и Десантиса отправляли морским путем в Санкт-Петербург картины обитавших в Риме русских художников.

Сюда Карл Брюллов наведывался. Александр Иванов.

Дорогие мне люди.

Сюда (сотня верст в карете по каменистой пыльной дороге — не легкий путь) Александр Иванович Тургенев поспешил встречать дорогого друга Василия Андреевича Жуковского. Пока судно, около часа назад появившееся на горизонте, выполняло свои эволюции, медленно двигаясь к берегу, Александр Иванович нетерпеливо, туда и обратно прохаживался по причалу, то и дело поглядывая на сверкающий росток белого паруса, который с каждой минутой все выше поднимался над синей водой. Ветер гнал над заливом редкие облачка, тень их легко скользила по песку и камням, водоросли, выброшенные морем на берег, в тени становились серыми. Общество Александра Ивановича составлял краснолицый господин в синем мундире, шитом широким золотым галуном, с треуголкой, украшенной белым плюмажем, под мышкой — Анри Бейль, французский консул в Чивитавеккья. Несколько лет назад Анри Бейль, как всегда под именем Стендаля, издал книгу «Прогулки по Риму». В книге рассказал между прочим про русского художника Брюллова, который не устранился копировать громадную ватиканскую станцу Рафаэля «Афинская школа»...

...И что мне за дело до торчавшего все четыре дня перед иллюминаторами по правому борту нашего корабля запыленного с ног до головы сухогруза, из утробы которого желтый портовый кран знай себе таскал и таскал цемент и пересыпал его в подъезжающие желтые грузовики...

10

Книга отступлений.

Но что поделаешь, если я с самого начала дал полную волю тексту и только поспеваю за ним, не желая вмешиваться, боясь помешать.

Всё никак не дойду до того тупикового помещения в кафе Греко, куда привело меня какое-то шестое чувство, побудив не задержаться ни в прихожей, ни в расположенных короткой анфиладой мемориальных комнатах, стены которых, увешенные, как было сказано, от потолка и едва не до пола картинами, рисунками, фотографиями, документами, просто за рукава хватали, зазывая остановиться, подступить, рассмотреть. Стараясь не оглядываться (еще и учтивый официант мерещился: против воли, а не откажешься, усадит за столик, где глоток кофе, пусть и заветного, обойдется мне в пару ковбойских штанов), опасливо втянув голову в плечи, пробе-

жал анфиладу и уперся в стеклянную перегородку. За стеклом перегородки была темнота, но то же шестое чувство нашептывало мне, что там, в темноте этой, самое главное. Свет, проникавший снаружи, из прилегающего помещения, слегка намечал в глубине темноты полированный край стойки, позолоту мебели, застекленные дверцы шкафа, но мне куда как довольно было — «воображение в минуту дорисует остальное»...

Когда-то сюда, в кафе, доставляли почту для русских художников, да и не для них только, для многих россиян, обитавших в Риме. То ли поэтому кафе Греко было в те давние годы облюбовано нашими соотечественниками, то ли потому и доставляли сюда почту, что было облюбовано. Я стоял, почти прижавшись лицом к стеклу, угадывал упрятанный в темноту интерьер, видел лица, подчас до малой подробности знакомые мне по портретам и автопортретам. (Однажды со скульптором Олегом Комовым рассматривали карандашный портрет Александра Иванова; Олег сказал: «Он был рыжеват, у него должны были быть белесые, прямые, направленные вниз ресницы».) Я знал сюртуки, плащи, рубахи, блузы собравшихся в комнате людей, мои пальцы полнились прикосновением к ткани, сквозь стекло до меня доносился запах абиссинского кофе, красного вина, свечного нагара и пряных трубочных табаков, я слышал шуршание газет и почтовой бумаги, различал голоса — мои добрые приятели горячо обсуждали устаревшие новости, в далеком отечестве давно пережитые, отпразднованные и оплаканные...

11

Чудо ожидаемое таит в себе бессчетность возможностей.

Чудо совершившееся являет одну осуществленную возможность.

Четверть века спустя именно в этом мемориальнейшем из мемориальных помещений кафе, замыкающем анфиладу, отмечалось появление книги Алексея Букалова «Пушкинская Африка».

Вспыхнул яркий свет и осветил небольшой зал: старинные бордовые обои, золоченая резьба столов и кресел, такие же золоченые рамы картин на стенах, старинный фарфор, шкафы красного дерева, и на полках шкафа, того, что возле стойки, за спиной хозяина, одетые в черную кожу толстые книги — записи посетителей кафе за два столетия, веселые, красивые лица сегодняшних гостей...

Как в театре.

Темнота — и вдруг яркий свет. И — краски, звуки, движение.

Как волшебный театр, счастливо венчающий историюмышленного востроносого деревянного человечка, судьба которого вместе с журналистикой и пушкинистскими исследованиями составляет главный интерес творческой жизни Алексея Букалова.

А темнота — космос, в беспредельности которого плавают звезды, созвездия, планеты — миры! — и нужно слово, заветный сезам, чтобы вызвать оттуда то или другое...

12

Официант действительно появился. Но не для того, чтобы пригласить меня за столик. Он остановился справа, в двух шагах, и, не таясь, наблюдал за мной. На его лице прямо-таки было написано, что он напряженно вычисляет, с кем имеет дело: неумелым вором, плохо воспитанным посетителем или душевнобольным (даже на Пьету Микеланджело поднялась у такого рука). Теперь бы, конечно, прежде всего подумали о террористе.

Я повернулся и неторопливо последовал обратно, старательно схватывая взглядом разбросанные по стенам реликвии. Хотелось увидеть и запомнить побольше. За рубеж нас выпускали редко, я в силу разных обстоятельств почти вовсе не ездил, предположить, что я когда-нибудь снова сюда попаду, было такой же нелепостью или даже безумием, как разбить молотком стеклянную перегородку. Официант, держась в сторонке, безмолвно сопровождал меня, пока я не вышел в прихожую.

13

Постояв в очереди, я дождался своей чашки кофе.

Она обошла меня, как я и запланировал, в один доллар.

У нас в корабельном баре кофе был куда лучше.

Каждый день под вечер я пил его с лимонным ликером.

14

Хорошенькая девочка-барменша однажды сказала мне с приятным одесским акцентом:

«Ой, вы бы знали, сколько на нашем шарике городов красивых! Но жить я, между прочим, согласна только в трех. В Одессе, конечно, в Мельбурне и в Барселоне»...

Барселона ждала нас впереди.

В Мельбурне побывать так и не пришлось.

В Одессе жила наездами и до средиземноморского путешествия, и после.

Но...

15

...Мессир, мне больше нравится Рим...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Всё-таки, про Африку...

2

По выходным мы с папой иногда ходили в кинотеатр «Хроника».

Было это почти восемьдесят лет назад.

Выходные были не по воскресеньям. Воскресенья в календаре не значилось. Соответственно и субботы. После революции сперва учредили пятидневную неделю, потом шестидневную.

Вспоминаю телесно, почти ощущаю, как моя маленькая рука приятно тонет в теплой, сухой папиной ладони.

Мы идем вдоль Чистопрудного, потом вдоль Сретенского бульвара.

Кинотеатр «Хроника» помещался в угловом доме, там, где улица Сретенка пересекает Бульварное кольцо.

По Бульварному кольцу ходили трамваи.

Таких трамваев давно нет. Ярко-красные высокие вагоны, моторный и прицеп, передняя и задняя площадки с почти постоянно — из-за обилия пассажиров — отворенной дверью, высокие подножки, на которых гроздь висели пассажиры, не сумевшие протесниться в вагон.

Еще цитата:

«...Странный кот подошел к подножке моторного вагона «А», нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно...

Та, лишь только увидела кота, лезущего в трамвай, со злобой, от которой даже тряслась, закричала:

— Котам нельзя!..

...Кондукторша рванула веревку, и трамвай тронулся...»

У Осипа Манделштама: «Хорошо в грозу, в трамвае А, промчаться зеленым поясом Москвы, догоняя грозовую тучу...» (см. «Холодное лето»).

«Трамвай «А» — или ласково: *Аннушка* — совершал долгий путь по тогдашней Москве.

Бульварное кольцо, именуемое еще и *Кольцом «А»*, составляли десять бульваров, разделенных площадями. Кольцо, впрочем, кольцом не было: оно не смыкалось.

Трамвай «А» пересекал центральные площади Москвы, следовал мимо нарядных домов, магазинов, театров. «За открытыми окнами вагонов линии «А» шумели листвой бульвары. Вагон медленно кружился по Москве — мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо Трубного рынка, где никогда не умолкал птичий свист, мимо кремлевских башен, златоглавой громады Храма Христа Спасителя и горбатых мостов через обмелевшую Москву-реку». По примечательностям маршрута и достатку пассажиров (по звонкой монете в их карманах и портмоне) линию «А» кондукторы называли «серебряной», в отличие от «медной линии» — *Кольца «Б»*, Садового кольца».

Это вспоминает Константин Георгиевич Паустовский. Будущий писатель до революции, в студенческие годы служил кондуктором московского трамвая.

То ли еще до войны, то ли уже в послевоенные сороковые годы всюду распевали веселую песенку-фокстрот:

Вечерний город весь в электросвете,
Звонят трамваи марки «А» и «Б»,
А на прицепе в синеньком берете
Кондуктор Валя с сумкой на ремне...

(Песенка родом, впрочем, похоже, не московская — питерская. В Питере вместо «номер трамвая» говорили — *марка*: «Какой марки вагон?»)

Что там, в песенке, дальше случилось с милым кондуктором Вале́й, хоть убей, не припомню.

Трамвайный кондуктор был лицом весьма значимым.

Форменная тужурка, сумка с деньгами, служебными квитанциями и карточками через плечо, поверх сумки несколько рулонов с билетами разной стоимости — в зависимости от того, далеко ли едешь.

Обязанность кондуктора — высмотреть в вагонной толчее каждого пассажира, продать нужный билет, уследить, чтобы не проехал лишнее. Для этого введено было правило — входить в вагон с задней площадки, а выходить через переднюю. Приходилось (чтобы не расплатиться штрафом) протискиваться, не жалея боков и пуговиц, сквозь неподатливую, всегда тобой недовольную толпу. (Сочинили шутку: казах в своей степи заплатил штраф за то, что влез на верблюда с переднего горба.) Но в особо людные часы и на площадках задерживались, и, как сказано, на подножках висели. Кондуктор (в мое время обычно женского пола), сам прижатый (не вздохнуть) в отведенном ему уголке, должен был руководить этим движением, при этом объявлять остановки, дергать за веревку, протянутую под потолком к звонку в кабине водителя, давая сигнал к отправлению или — в неотложном случае — «стоп», не обчитывать пассажиров и сам не обчитываться, посылая билеты и монетки сдачи по рукам туда и сюда через весь вагон, прекращать раздоры горлопанов и неврастеников и самому ругаться во всё горло со всякого рода нарушителями порядка.

Первая моя книжка была — о трамвайном кондукторе.

Не помню, как она называлась.

Впрочем, мое имя на обложке не значилось.

В начале пятидесятых я подрядился, за отсутствием чего-нибудь иного, писать для издательства коммунального хозяйства брошюры от имени передовиков производства. А трамвай был по ведомству Минкоммхоза.

В трамвайном парке меня познакомили с автором книги, которую мне предстояло написать.

Это был не Паустовский. Паустовский в системе Мострамвая уже не служил.

Моим будущим автором оказалась немолодая веселая женщина с энергичными движениями и энергичной громкой речью.

Звали ее Анна Алексеевна. Фамилию опять же позабыл.

Когда я вытащил из кармана свой блокнот, она махнула рукой: «Чего рассказывать-то — соловья баснями кормить? Покатайся со мной неделю по маршруту — сам всё увидишь». Она засмеялась: «Не обедняешь. Зайцем буду возить».

Работала Анна Алексеевна на маршруте «А».

Я и в самом деле катался с ней целую неделю, и в ранние утренние часы, и в ночные, и в тяжелые часы «пик», — и в каждую такую смену население вагона являло собой иной облик Москвы: лишь в совокупности можно было представить себе многоликий образ Города.

Всякий день мы несколько раз проезжали вдоль Чистопрудного и Сретенского бульвара, и я вспоминал те далекие дни моего детства, когда мы с папой шествовали здесь, вот по этому тротуару, в кинотеатр «Хроника».

Прежде чем повернуть, наконец, к Африке, прибавлю только (ничего не могу поделывать, говорил уже: даю волю тексту и, не споря, следую за ним), прибавлю, что в ту счастливую и невозвратимую пору детства у нас во дворе была группа, три мальчика и две девочки, которую родители доверили воспитательнице (тогда любили именовать по-старинному: *бонна*), почтенной пожи-

лой даме, возвратившейся из швейцарской эмиграции. Звали даму тоже Анна Алексеевна. Мне много раз хотелось о ней написать, но сделал это я только лет десять назад, когда вдруг понял, что наша Анна Алексеевна была (упоминаемая в романе) дочь Анны Карениной (от Вронского).

10

В кинотеатре «Хроника» показывали только документальные фильмы.

В ту пору они, кажется, так и назывались: *хроника* или *журнал*.

Папа водил меня в «Хронику», заботясь о моем общем развитии. Но сам, помню, смотрел журналы с не меньшим интересом, даже восторгом, чем я. Его до старости переполняла радость узнавания нового.

Из того, что мы видели, мне всего больше запомнились две ленты: «Путешествие по Африке» и «Путешествие по Индии».

Африку и Индию я знал по картинкам в книжках.

Но картинки в книжках были неподвижны и немы. На небольшом, в два окна размером, экране кинотеатра Индия и Африка двигались и даже звучали.

Они были живые. Экран был не плоскостью картинки — окном.

Цветное кино еще не появилось, но некоторые кадры, каким-то тогдашним способом окрашенные, ошеломляли цветом.

...По желтой высокой траве бескрайней саванны шествует стадо слонов; могучие фигуры животных черным силуэтом высятся над горизонтом на фоне ярко-красного закатного неба...

11

По Индии я путешествовал еще до того, как папа начал водить меня в «Хронику».

Я побывал там вместе с героями книжки «Приключения Мурзилки и его друзей», которую очень любил.

Я рано научился читать, но эту книжку — так уж у нас повелось — папа всегда читал мне вслух. Не исключаю, что его самого сильно занимали приключения крошечных лесных человечков, эльфов.

Лесные человечки всевозможным образом (между прочим, и на ките плавали, и на ласточках летали) добирались до Северного Ледовитого океана и до жаркой Индии, оказывались в Италии и Голландии, в Германии и Швейцарии, в Париже, Лондоне, Вене и Варшаве.

Это были замечательные ребята, не похожие один на другого ни внешностью, ни характером. Среди прочих действовали в книге Знайка и Незнайка, Дедко Бородач, Скок, Чумилка, Доктор Мазь-Перемазь, Читайка, Китаец, Шиворот Навыворот и главным героем Мурзилка (совсем не похожий на подобие мягкой игрушки, каким он обернулся позже в советских детских изданиях) — бездельник, болтун и хвостун в цилиндре, фраке и с моноклем в глазу.

В книжке было много черно-белых гравированных картинок; каждый человек тщательно вырисован. Чтобы в толпе эльфов тотчас найти Мурзилку, кто-то из прежних читателей на всех картинках подкрасил стеклышко его моногля голубым карандашом.

12

Книжка была и по тем временам старинная — дореволюционная: добыть ее было непросто.

Папа приносил ее на время от своего знакомого, старого московского профессора.

Книга принадлежала внуку профессора, которого профессор усыновил.

Почему это произошло, я никогда не спрашивал. Не спрашивать лишнего я был выучен еще до того, как выучился читать. (Прибавлю: в те годы не стоило большого труда назвать несколько очевидных, прямо-таки на ладони лежащих причин того, каким образом ребенок мог вдруг оказаться без родителей.)

Профессор в своем внуке-сыне души не чаял.

Мальчика звали Игорь, ласково, по-домашнему — Гуля.

Несколько раз, когда папа брал меня к профессору, я встречался с Гулей. Он был лет на шесть-семь старше меня — высокий красивый мальчик с шелковистыми каштановыми волосами, в заграничном клетчатом джемпере. Гуля был со мной замечательно вежлив и внимателен. Он показывал мне гербарий, который собрал, когда отдыхал с дедом где-то на Кавказе, альбом с марками, где на отдельном листе была помещена крохотная марка острова

Виктории, кажется, мечта коллекционеров, и старинный глобус (после я такие только в музеях видел), стоявший на тумбочке в углу обширной столовой.

Потом Гулю убили на войне.

Когда в первый или второй послевоенный год я по какому-то папиному поручению заглянул к доживавшему свой долгий век профессору, глобуса на тумбочке не было. Вместо него там стоял серебряный поднос, на нем выложенная из мха могильная горка и сверху фотография Гули, такого, каким я его запомнил — шелковистые волосы, клетчатый джемпер...

13

Годы, десятилетия теплилось во мне неиссякаемое желание вновь взять в руки когда-то любимую книжку. Не попадалась. А я и автора не знал.

Как-то спросил всеведущего Шкловского.

Он тотчас отреагировал: «Печаталось в *Задушевном слове*».

Но с именем автора... Потер ладонью крутой затылок — и задержался. Мы уже распрощались, у него высветилось в памяти: «Хвольсон. Анна Хвольсон».

Я попробовал пошутить: «Про физика Хвольсона слышал, а вот про Анну...» «Эмигрировала», — коротко объяснил Виктор Борисович.

14

Заглянул в Интернет: на книжных страницах бесчисленно объявлений о новых изданиях и о продаже «Приключений Мурзилки».

Милые, наивные фантазии отживавшего девятнадцатого столетия, которыми наших мам в детстве потчевали, вдруг оказались нужны жесткому всезнающему двадцать первому.

Выброшенные за устарелостью и совершенной непригодностью идейно-утилитарной эпохе на «свалку истории», они вновь выхвачены оттуда руками сегодняшних детей, привыкшими к пультам компьютеров. Почти вымершие, подобно обреченным животным, на пыльных полках древних профессорских квартир, они возрождены, размножены и брошены в могучий поток нынешнего книжного рынка.

Могло ли в голову прийти простодушной Анне Хвольсон, когда она сочиняла своих Мурзилок, Незнаек и Скоков, что под ее пером возникает своего рода бестселлер начала третьего тысячелетия?

Не Гарри Поттер, конечно, но всё же, всё же...

15

А вот по Африке Мурзилка и его друзья не путешествовали.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

В Рабате на автобусной станции среди добела запыленных автобусов — один, совсем старенький, неказистый, видно по всему отслуживший уже долгие годы. На борту цветастый знак туристской фирмы. Ниже адрес: *Танжер, улица Льва Толстого, 2.*

Вдруг сделалось хорошо на душе.

2

Лев Толстой начал было писать для своей «Азбуки» рассказ про Африку.

«В Африке есть такие земли, где никогда не бывает зимы. В этих землях никогда не бывает снега, вода никогда не мерзнет и дождика никогда не бывает. В этих землях так сухо и жарко, что ничего не растет: ни травы, ни деревьев. А везде только один песок. Жить там можно только подле рек. Подле рек бывает трава и деревья. И деревья эти круглый год бывают зеленые.

В этих землях живут люди черные. Их называют неграми. Люди ходят всегда голые и живут без домов, в шалашах. Шалашаши они делают из веток и листьев. Едят они плоды с деревьев и сырое мясо зверей...»

Замечательно представить себе, как читают такой текст крестьянские ребятишки в заснеженной тогдашней Ясной Поляне, того больше — где-нибудь в Архангельской губернии или в Сибири.

3

Много лет назад я назвал в своей статье детей — *ребятами*.

Тотчас нашелся доброхот, блюститель нравственности, который пожаловался на меня начальству: *ребятами* в царское время офицеры презрительно называли солдат.

Начальство какое-никакое понимало однако, что жалобщик дурак, но по правилам того времени потребовало от меня оправданий.

Я отговорился: конечно, *ребятами* в то ужасное время называли солдат, например, «Ребята, не Москва ль за нами?», но вот Лев Толстой взял да и озаглавил статью: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят».

Лев Толстой, работая над рассказами «Азбуки» (он часто говорил: *пиша*), учился у крестьянских ребят.

4

Город Рабат, столица Марокко, стоит на берегу Атлантического океана.

Марокко, конечно, Африка, но — Северная.

Не та, где чернокожие охотники с луками и копьями преследуют льва, где гориллы и злые-презлые крокодилы, где царство Бармалея, про которое «не ходите дети в Африку гулять».

Хотя в наши дни гулять в Северной Африке детям, как и взрослым, куда опасней, чем в тропических лесных зарослях.

Арабы именуют Марокко страной самого дальнего Запада.

Когда Земля считалась плоской, а про Америку никто не слышал, страна, упиравшаяся в океан, была концом света.

Рабат находится уже за утесами Гибралтара.

5

Про Марокко Лев Толстой узнал от Александра Дюма.

Будучи в армии на Кавказе он читал очерки Дюма о путешествии по странам Северной Африки.

Очерки печатались в «Отечественных записках».

В молодости Толстой увлекался романами прославленного француза.

Часто вспоминал, как укоротил и оживил долгий путь в Казань, в университет, запасшись на дорогу восемью томиками «Графа Монтекристо».

Странно, что и в поздние годы он не разочаровался в романе.

«Монтекристо», по существу, сочинение самое антиитолстовское: апология мести, беспощадного ответа на зло злом.

6

Александр Дюма писал: «В слове *Африка* есть какое-то откровение, которое влечет нас к ней больше, чем к другим частям света».

Стоя на берегу Средиземного моря, он, по его словам, чувствовал, как одна и та же греза соединяет в его душе и воображении Африку и Европу.

Пушкин на берегу другого моря, Черного, грезил о воле, манил ветрила кораблей:

Пора покинуть скучный берег
Мне неприязненной стихии,
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

Страдал, любил, сердце похоронил, но Африка — моя!..

7

Африканцы.

Александр Пушкин — по прадеду.

Александр Дюма — по бабке.

8

Подходя к деревне Овсянниково, неподалеку от своей Ясной Поляны, Лев Толстой засмотрелся на солнечный закат. «В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный уголь солнце. Всё это над лесом, рожью. Радостно. И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем».

Домашние Льва Николаевича придумали страшного африканца *Зулу*, этакого Бармалея, который однажды ворвется в Ясную Поляну и начнет терзать, бить и обижать (а то и слопает — людоед!) ее несчастных обитателей.

Домашние изводили Льва Николаевича вопросом: можно ли отвечать такому злему *Зулу* насилием.

Толстой в то, что из Африки в Ясную забредет страшный *Зулу*, не верил.

В целях охраны имения от своих яснополянских и иных окрестных *зулу* Софья Андреевна в беспокойном 905-м году завела вооруженных стражников-черкесов.

Для Льва Николаевича это было терзание непереносимое, покрепче всяких бармалейских ужасов.

В статьях Толстой обличал разбой колонизаторов.

Кто-то из знакомых нахваливал за чаем удобство колясок на резиновых шинах.

«Еще тысячи негров убьют на каучуковых плантациях», — мрачно отозвался Толстой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В Рабате ходят по улицам высокие статные мужчины с кожей очень темной, почти черной.

Их называют *берберами*.

Берберы — коренные жители Марокко. Но сейчас они в меньшинстве: большинство населения — арабы.

Мужчины-берберы, о которых я пишу, носят цветастые восточные одежды. На груди — большой меховой мешок.

Я поначалу, когда увидел такого издали, решил, что это у него собака или ягненок.

На шее, как колокольцы, нанизанные на цепочку жарко золоченые чашки-пиалы.

Это водоносы.

Туристы редко рискуют отведать воду, которой наполнен меховой мешок водоносов, но охотно фотографируют их и фотографируются с ними.

В нашей группе был московский профессор, большой любитель кино- и фотосъемок. С головы до ног увешенный кино- и фототехникой, он на всё, что попадалось на пути, смотрел сквозь объективы своих аппаратов. Один красавец-водонос особенно ему приглянулся. Профессор запечатлевал его так, и этак, и как-то совсем по-особому. Водонос в надежде заработать монетку от него не отставал и охотно становился в разные, очевидно давно им заученные позы. Наконец настала минута прощания. Профессор знаками и улыбкой благодарил водоноса и давал ему понять, что очень доволен его помощью. Но корыстолюбивому водоносу этого показалось мало. Созерцая профессора с тревожным изумлением, он протянул к нему темную руку и коротко потребовал: «Мани!» Марокко был конечным пунктом нашего круиза. Из пожалованных нам пятидесяти долларов мало у кого оставался один-два. А если и оставался, то, как известно, последний доллар из пятидесяти не менее трудно тратить, нежели первый. Профессор сокрушенно развел руками, всем своим видом сообщая, что наличных «мани» у него не имеется. На лице собеседника выразилось возмущение; продолжая протягивать руку, он почти жалобно попросил: «Сигаретт!». Но профессор опять же улыбками и жестами изобразил, что и сигарет нет и что он вообще не курит. Упавшим голосом, но всё еще не теряя остатки надежды, водонос произнес: «Сувенир...» Профессор засмеялся и радостно выхватил из кармана значок, что-то вроде октябрятской звездочки (*когда был Ленин маленький, с кудрявой головой*); но тут абориген проворно убрал руку, гремя позолоченными чашками, отскочил назад, обвел презрительным взглядом увешанную аппаратурой фигуру профессора и произнес по-русски чисто и выразительно, вкладывая в каждое слово всю меру своего презрения: «Ёб твою мать!»... Стало очевидно, что до нас в Рабате наши соотечественники уже побывали.

«Между прочим, наименование *бербер* произведено от слова *варвар*», — разъяснил профессор, припадая лицом к одному из своих аппаратов.

С *магрибинцем* я впервые встретился в сказках «Тысяча и одной ночи».

Там действует злой волшебник, магрибинец: в отрочестве я долго так и предполагал, что магрибинцами на Востоке именуют злых волшебников.

Тот *магрибинец*, помнится, был черный. Наверно — бербер.

У меня имелось красивое детское издание сказок: густо-синий, как южная ночь, усыпанный золотыми звездами переплет, старинные гравированные иллюстрации.

Может быть, некоторые из них (если не все) принадлежали Гюставу Доре. Не помню. За несколько творческих десятилетий великий иллюстратор дополнил рисунками едва не все великие творения мировой литературы, начиная с Библии. Похоже, среди созданных им 80 тысяч графических листов есть иллюстрации и к «Тысяча и одной ночи».

Магрибинец на картинке был таинственный: коварный и красивый. Художник передал его изящное, крадущееся и вместе с тем уверенное движение.

4

Позже мне попался заграничный альбом фотографий (по тем временам — редкость!) — «Магриб». Так я узнал, что *Магриб* в переводе с арабского — Запад. Обитатели лежащего восточнее Арабского полуострова называли Магрибом страны Северной Африки, а жителей их, соответственно, магрибинцами.

В альбоме имелась фотография — возможно, она была даже помещена на обложке: останки разрушенного прошлого — посреди бескрайней пустыни недлинный строй будто выбирающихся из-под песка и вскоре снова в него уходящих прекрасных, хотя и сильно потраченных временем белых колонн. Из ниоткуда в никуда...

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!

Мощная символика фотографии совершенно меня очаровала.

По натуре я не путешественник, но мне до сладостной боли захотелось непременно добраться (в те-то годы!) до этих песков, до этого мраморного иероглифа, до этого сказочного Магриба.

На фотографии, меня заморозившей, запечатлен обломок Карфагена — нынешний Тунис.

Когда проклюнулся круиз по Средиземному морю (всё тот же, других у меня не было), желанный Тунис значился в программе.

Я, конечно, понимал, что вряд ли нас повезут в пустыню, чтобы предъявить строй вынырнувших из песка и вновь в нем утонувших колонн.

Но мечта оставляет нас еще позже надежды.

В последний момент выяснилось, что Туниса не будет: его заменили на Марокко.

Тоже Магриб.

Но — другой.

5

В Рабате нас повели смотреть королевский выезд.

Мы долго стояли в густой толпе на площади перед дворцом.

В отдалении происходило колоритное действо — будто наяву разворачивались кадры фильма-сказки на темы той же «Тысяча и одной ночи».

Золотые кареты. Кони невиданной красоты — таких, кажется, на самом деле и не бывает. Сверкающая золотом и самоцветами упряжь. Придворные в ярких, похожих на балетные, восточных одеждах, так же вдоволь оснащенных ювелирным товаром. Даже скороходы в чалмах и туфлях с загнутыми носами...

Мы совсем было разомлели от экзотики, но тут, откуда ни возьмись, выросли вокруг огромные, все как на подбор, двухметровые мужики в черных кожаных комбинезонах с современными автоматами на груди. Решительно и умело они начали отодвигать толпу подальше от дворца, пока любопытствующие туристы и аборигены не оказались запечатаны в дальних углах площади, откуда и видно ничего не было. И тогда вместо золотых карет, окруженных скороходами (всё это у меня на открытке, тут же в толпе купленной у юркого разносчика), от дворца наискось через площадь пронесли три или четыре тяжелых черных лимузина, сопровождаемые вооруженным мотоциклетным эскортом.

6

Королем Марокко был тогда Хасан Второй.

На воду он дул не даром: ему уже пришлось обжигаться на молоке.

Он пережил два покушения.

Однажды сам посадил самолет, который пытались сбить заговорщики.

Поневоле окружишь себя могучими спецназовцами в черных комбинезонах, которым, что особенно тягостно, тоже нельзя доверять.

После того, как мы увидели королевский выезд, нам показали мавзолей, который король строил себе при жизни.

Хасан Второй был хороший администратор, знал: сам не сделаешь, оставишь на потом, другим, — всё построят не задуманному, еще и разворуют половину назначенных денег и всякого строительного добра.

Мавзолей получался очень красивый и своеобразный; говорили, будто архитектором приглашен какой-то замечательно одаренный вьетнамец.

Хасану Второму оставалось жить еще семнадцать лет (времени довольно, чтобы завершить строительство), но этого, конечно, не знали ни вьетнамец-архитектор, ни мы, ни сам Хасан Второй.

7

Неподалеку от того места, где возводился новый мавзолей, стоял еще один, уже (позволю себе сказать) *действующий*, — тоже очень красивый, но не такой своеобразный. Это усыпальница предьдущего монарха, Мохаммеда Пятого, отца Хасана.

Посетителей пускали на балкон, окаймляющий ничем не заполненное прямоугольное помещение, прекрасное камнем стен и пола и самими своими пропорциями.

В немецком городе Трире имеется так называемая Базилика Константина — огромный зал, совершенно пустой, пропорции которого настолько совершенны, что, оказавшись в нем, через несколько минут погружаешься в состояние гармонии, покоя и душевного освобождения.

В мавзолее Мохаммеда некоторые из наших были разочарованы, не обнаружив привычно сопрягаемого со словом *мавзолей* стеклянного саркофага с телом усопшего. Тем более что по пути в Марокко, на каком-то острове нам показали в соборе как местную достопримечательность нетленное тело тамошнего

епископа, усопшего несколько десятилетий назад. Епископ, по какой-то причине не погребенный, в полном облачении покоился в стеклянном ящике, как новенький. Наши туристы, особенно почему-то женщины, склоняясь к самому стеклу, очень старательно рассматривали тело и позволяли себе осторожные сравнения не в пользу своего домашнего экспоната, хранимого на Красной площади.

Но королевский прах, как и положено, предан земле.

С балкона видишь гладкое пространство пола и склонившегося у низенького аналоя седого старика, читающего Коран.

8

В Касабланке — таков был план круиза — нас выгрузили с корабля, чтобы доставить в Москву самолетом.

Самолет, который должен был прислать за нами из Москвы «Аэрофлот», задерживался на пятнадцать часов.

Мы уже прошли паспортный контроль и не могли возвратиться в город.

Здание аэропорта, во всяком случае, та его часть, где находилась наша группа, было почему-то совершенно пусто — ни других пассажиров, ни персонала, ни, тем более, буфета, ни малейшего движения, обозначающего привычную для глаза деятельность авиационных служб.

Представитель «Аэрофлота», доброжелательный плотный мужчина, пообещал раздобыть для нас питье, возможно даже покормить, пока же роздал каждому красивый цветной буклет «Певчие птицы России».

Внимательно изучив портреты дрозда, зяблика, синицы, я отправился бродить по застекленным коридорам, пустынным, как во сне или остросюжетном фильме,

Неожиданно сквозь толстое стекло я увидел боковой подъезд здания, возле которого стояли черные бронированные ящики лимузинов и суетились громадные охранники в черных комбинезонах. Из их толпы вдруг появился и быстро прошел мимо меня, совсем рядом (если б не стекло, я мог бы до него дотронуться) невысокий красивый человек в белом костюме. Почти не повернув головы, он коснулся меня быстрым удивленным взглядом. Это был король Хасан Второй, отбывающий куда-то с визитом.

Летом 1999 года я узнал из «Последних известий», что Хасан Второй умер.

Сообщение меня опечалило: это был мой единственный *знакомый король*.

Мавзолей к этому времени уже достроили.

Между прочим, когда мы, прощаясь с Марокко, проходили последний паспортный контроль, чиновник приказал всем, имеющим отношение к прессе, зарегистрироваться у особого окошка. Нам объяснили, что спецслужбы следят за тем, что и как каждый из побывавших в Марокко потом написал о стране. Тот, кто напишет что-нибудь худое, визы на въезд больше не получит.

Я впервые пишу о Марокко.

Кажется, ничего плохого не написал.

Впрочем, за давностью лет я в их списках, наверно, уже не числюсь.

Не говоря о том, что до Магриба мне теперь не добраться.

Да и охота прошла.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Заканчиваю про Касабланку.

Быстро, по-южному, стемнело.

В застекленном пространстве аэропорта зажегся холодный белесый свет, от которого оно стало казаться еще более пустынным.

Ожидание сделалось совсем томительным.

Те, у кого уцелели темы для разговора и желание слушать, тихо беседовали.

Кто умел, задремывал.

Я занимал себя своей любимой игрой: мысленно из букв одного слова собирал новые слова.

Дилетанты в этой игре выбирают в качестве исходного несутветно длинное слово (вроде «виноградосоковыжимательница»)

и радуются обилию производных. Профессионалы, к которым я себя отношу, наоборот, берут слово короткое, с неходовыми буквами — и напряженной мыслительной работой стараются выжать из него всё возможное.

Так я обрабатывал два-три слова, после чего позволял себе взглянуть на часы.

И всякий раз до вылета оставалось еще бессчетно времени.

2

Вдруг в отведенной нашей группе, обособленной, как карантин, *зоне* возник человек.

Именно — *возник*.

Кажется, никто не заметил, как он появился у входа, как прошел между жесткими пластмассовыми диванами, на которых спали, дремали, лениво беседовали истомленные ожиданием туристы.

Просто: не было, и вот он — тут.

Стоит и осматривается, выбирая местечко по душе.

3

Одно время у нас в литературе *возникла* мода на это слово — *возник*.

Оно сделалось синонимом таких глаголов, как «пришел», «вошел», «показался» и проч.

Оно стало обозначать всякое *появление*, утрачивало таящийся в нем момент внезапности и даже таинственности появления. Вот это: не было — и есть.

В прежних, привычных мне постановках оперы «Фауст» (в нынешних иначе, наверно: давно не был в опере) Мефистофеля выталкивали сквозь люк из-под сцены, дьявол был как бы обитателем подвала.

У Гете, который в этих делах (как и во всех остальных) хорошо разбирался, сначала Дух возникает из пламени, затем Мефистофель появляется в обличии черного пуделя, чтобы в решающий момент возникнуть из тумана.

Прекрасно у Булгакова: «знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида».

Вообще обозначать Мефистофеля жителем подвала, подземелья несколько наивно.

«Верх», «низ» — представления нашего земного мироустройства.

Рай и ад являются верхом и низом в духовном смысле, находясь в едином пространстве.

Нищий Лазарь в раю и богач в аду после смерти так же рядом, как были на земле, когда в раю был богач, а в аду нищий. Но между ними «утверждена великая пропасть», которую невозможно перейти.

Впрочем, и в земной жизни было так же.

Люди, мечтающие построить рай на земле, стараются, чтобы уничтожить пропасть.

Сатана приходит к Богу не из подземелья: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу: я ходил по земле и обошел ее»...

Юрий Давыдов, пронизательнейший человек и писатель (не всегда совпадает), в годы войны служивший на флоте, рассказывал: когда к нам прибыли английские моряки, он впервые увидел походку свободного человека.

Человек, возникший посреди стеклянной зоны, в которой мы (наша группа) оказались заточены, был человек *штучный*.

Он был — *он*.

А мы (*группа*) были — *мы*.

Он стоял перед нами, как стоит свободный человек.

Выражение его лица, покрытого крепким красноватым загаром, его движения передавали внутреннюю независимость.

На нем была солдатская камуфлированная куртка, шорты и высокие, до колен, ботинки на шнурках.

Он показался мне похожим на Джека Николсона.

Может быть, оттого, что, увидев его, я вспомнил мой любимый фильм «Профессия — репортер».

Желание вдруг самому, по собственной воле назначить себе иную судьбу, привычно обожгло меня.

Человек еще раз оглянулся, выбрал меня взглядом и приветливо мне кивнул.

Он подошел к моему дивану, сбросил с плеч по-военному аккуратно собранный рюкзак и сел рядом со мной.

Руководитель нашей группы, в миру сотрудник горкома партии, сидевший неподалеку, выразительно на меня посмотрел. Я едва заметно ему кивнул, подавая знак, что моя бдительность на должном уровне.

6

Приветливое лицо незнакомца являло охоту общаться, но по моему виду, должно быть, он как-то сразу сообразил, что серьезного вербального разговора со мной завести не удастся.

Из глубокого кармана куртки он извлек сложенную в несколько раз (штамп требует здесь: *потертую на сгибах*), возможно, потертую на сгибах большую карту Африки и разложил ее передо мной на диване. В середине континента, от неопознанного мною пункта *А* до также неопознанного пункта *В* жирным красным фломастером была проложена пересекающая экватор причудливая кривая линия.

Незнакомец, внимательно повторяя все изгибы, провел по ней крепким тяжелым пальцем. Потом тем же пальцем ткнул себя в грудь.

Наверно, так объяснялся он с готтентотами и пигмеями, которых встречал на своем долгом пути. А, может быть, пигмеи, получившись в своих лесных школах, умели говорить по-английски, при этом, по простоте своей, не стеснялись и не опасались подтвердить это.

Незнакомец (или уже — знакомый?) начал показывать фотографии. Он добывал их одну за другой, без порядка, какая попадетсЯ, из пластикового мешка.

Фотографии были обыкновенные, любительские.

О таких говорят, что их не снимают, а *щелкают*.

Я, слава Богу, видал и получше. У меня в книжном шкафу стояли три тома «Африки грез и действительности» Ганзелки и Зигмунда, очаровательных чешских путешественников, в которых

мы были влюблены в 1950-х и от которых нас отлучили в конце 1960-х, когда в Чехословакию вкатились советские танки. Смелые путешественники не захотели отказаться от грез, обещанных Пражской весной, и согласиться с действительностью, принесенной на броне танков.

Но Африка книг Ганзелки и Зигмунда, повторенная ими на телеэкране, была для меня (в ту пору, во всяком случае) *Африка где-то*, Африка недостижимая, Африка печатных и устных рассказов, легенд и слухов, Африка детской мечты и кинотеатра «Хроника». А здесь, на этих простеньких фотографиях, *фотках*, которые держал в крепких тяжелых пальцах человек, похожий на Джека Николсона, до Африки было рукой подать, она начиналась за стеной аэропорта, в котором мы оказались заперты, сидела рядом — я вдыхал запах ее пота и пыли...

7

На одной из фотографий мой новый знакомый был запечатлен с большой обезьяной, шимпанзе. Они расположились на стволе поваленного дерева и дружески беседовали.

Давно минувшее ярко обожгло мою память.

Я указал пальцем на обезьяну и произнес наконец нечто вслух.

«Чита?» — спросил я.

Человек указал на себя и ответил:

«Тарзан»...

Мы радостно посмотрели друг другу в глаза — и рассмеялись.

8

Американец Эдгар Берроуз — один из самых читаемых в мире авторов.

В Советском Союзе его читали мало.

Не переводили. Не печатали.

А он себе писал.

Берроуз придумал своего Маугли — Тарзана. Сына лорда, украденного обезьянами и ставшего их повелителем.

О Тарзане Берроуз сочинил двадцать шесть романов.

По ним, перевирая их, во множестве снимали фильмы.

Самым знаменитым Тарзаном в кино стал Джонни Вайсмюллер, голливудский киноартист и олимпийский чемпион по плаванию.

С этими фильмами всемирно известный, уже легендарный, Тарзан был доставлен к нам в отечество.

9

После войны наш кинопрокат был наводнен зарубежными лентами, которые открывались титрами: «Этот фильм взят в качестве трофея...»

Фильмы показывали, конечно, с высочайшего разрешения и благословения.

Кино, как известно, являлось «важнейшим из искусств» (лозунг).

Нужно было заполнить пустоту на экране и пустоты в послевоенной жизни, в которой не хватало всего необходимого для удовлетворения человеческих потребностей.

Вслед за «Падением Берлина» и «Молодой гвардией» киноменеджер привозил в дальнее алтайское село «Индийскую гробницу», вестерн или «Багдадского вора».

Так началось триумфальное шествие Тарзана по городам и весям нашего отечества.

10

Красавец Тарзан (имя на обезьяньем языке означает бледнокожий) с лицом, обеспечивающим мгновенный успех у масс, и завидной мускулатурой чемпиона-олимпийца не страшился самых опасных приключений. Он был смел и благороден, был всегда прав и всегда побеждал. Его верный друг, обезьяна Чита всюду ему сопутствовала, выручая из положений, казавшихся безнадежными. Перелетая с одного дерева на другое, Тарзан оглашал лес особым, ни с каким иным не сопоставимым криком, который освоили и повторяли мальчишки всего мира. Это был торжествующий победный крик.

11

Часть моей армейской службы проходила в небольшом заполярном городе.

По воскресеньям утром нас иногда водили строем в кино.

Вообще-то фильмы пускали в части по вечерам. Лишь некоторые — их, наверно, не было в армейском прокате — мы смотрели в кинотеатре.

Почему нашему начальству пришло в голову показать нам серии «Тарзана» (разве что кто-то свыше надоумил — тоже почему?), для меня поныне остается тайной.

Возможно, фильм содержал в себе непостижимые моему цивилизованному уму качества, способствовавшие успехам боевой и политической подготовки.

Как бы там ни было, остаюсь навсегда благодарен за это нашим командирам.

12

Колонной по четыре мы весело шагали по главной улице (Ленина, наверно) к главной площади (впрочем, может быть, это она — Ленина?), где находился кинотеатр.

Предвкушая марочный крик Тарзана, мы, не жалея глоток, исполняли приказ «Запевай!». Нашими главными — парадными — песнями были «Москва — Пекин» («Сталин и Мао слушают нас...») и «Марш энтузиастов» («Слався, страна героев, страна мечтателей, страна ученых...» — так, кажется?).

Дружный шаг колонны звучал приглушенно: за ночь насыпало свежего снега.

По случаю воскресного утра на главной улице было заметно больше народа.

Город, как выше сказано, небольшой, — все доступные девушки были солдатам знакомы. Девушки смотрели с тротуара на проходящую колонну, выкрикивали имена и отпускали шутки, в то наивное время казавшиеся непристойными.

13

Зал, сплошь заполненный солдатами, являет собой особое состояние.

От края до края одинаковое серое сукно шинелей, наголо подстриженные головы, трудно различимые лица, сливающиеся в общий гул голоса, густой воздух, пропитанный запахом мужского тела, сильного, как бы слившегося в одно, общее, дыхания, табачного перегара, солидола...

У Льва Толстого — описание купающихся солдат: «Небольшой мутный с зеленью пруд... был полон человеческими, солдатскими, голыми барахтавшимися в нем белыми телами с кирпично-красными руками, лицами и шеями. Всё это голое, белое человеческое мясо с хохотом и гиком барахталось в этой грязной луже... Весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно».

В зале гас свет. В будке механика пулеметом тархтел проектор. Тропический лес вставал на ярко осветившемся экране. Смелый и благородный Тарзан, сопровождаемый верной Читой, появлялся из своих чертогов в ветвях огромного дерева, взмывал ввысь (и Чита с ним), — его радостный победный крик метался над солдатскими головами.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Которая продолжает, точнее — заканчивает, предыдущую.

Наверно, даже всю первую часть.

Речь в ней пойдет о песне.

Песня такая:

2

День, ночь, день, ночь
Мы идем по Африке.
День, ночь, день, ночь
Всё по той же Африке.
Только пыль, пыль, пыль
От шагающих сапог.
Отпуска нет на войне
Солдату...

3

Слова Киплинга.

Киплинг считался *певцом империализма*.

В строю песню, конечно, не пели.
Но официально она запрещена не была.
Ее пели на вечеринках, пели в турпоходах.

Говорили, будто она пришла к нам из какого-то заграничного кинофильма. Но подозреваю, кто-то из наших сам перевел стихи, положил на музыку. К Киплингу даже присочинили несколько куплетов про нашу войну, отечественную.

Песня мне нравилась. Она передавала и тяготы войны, и состояние солдата на войне, и нескончаемый зной африканской пустыни.

Ты, ты, ты, ты, —
Попробуй думать о другом.
Чуть сон взял верх —
Задние тебя сомнут.
Пыль, пыль, пыль, пыль... и т.д.

4

В армии мне эту песню пел Боря Симбург. На гражданке он подрабатывал аккордеонистом в ресторане; у нас служил в музвзводе. Боря с тонким лицом и миндалевидными глазами был похож на красавиц персидских миниатюр. Его голос был слишком высок и звучен для этой песни — тут нужен хриловатый, прокуренный баритон. Впрочем, Боря пел очень хорошо. Я подпевал ему молча, про себя. Певец я никудышный, поэтому пою большей частью наедине с собой. Зато наедине с собой пою охотно и много.

5

В один из субботних вечеров я получил увольнение.

Увольнение — вещь серьезная. Если не устроишь всё обдуманно, три-четыре часа нечасто даруемой воли упустишь между пальцами, как, рассеявшись, пригоршню воды.

Мой первый комбат (еще в Литве), подполковник Григорьев, маленький, проворный и решительный (кличка — *Суворов*), говорил: «У солдата личное время — лишнее время. Пустое. Чего с увольнительной в зубах по городу шастать? Поди подтянись раз шестьдесят на перекладине, пробеги километра три с препятствиями — и про баб забудешь, и выпить не захочешь».

Увольнение и в самом деле часто оборачивается пустотой: бессмысленным (в одиночку или со случайным сослуживцем) шастаньем по улицам, ста граммами опаской и украдкой, идиотической беседой где-нибудь на бульваре, где потемнее, с подвернувшейся покладистой девицей, а потом, по возвращении в казарму, хвастливым враньем (в которое сам веришь) о каких-то необыкновенных приключениях и подвигах. Это недостойно дарованного глотка воли.

Там, в Литве, если удавалось вместе выбраться в увольнение, мы с Эдиком Смирновым, втайне запасшись заранее бутылкой, банкой консервов и буханкой серого, попросту уходили в лес, чтобы разлечься вольно на мягком ковре травы и прошлогодней хвои и потолковать о том, что казалось нам очень существенным. О чем в неволе, в расписанном по минутам дне, тем более под казарменной кровлей, не потолкуешь.

Изначальный смысл слова «увольнение» — обретение воли — *освобождение*.

6

Увольнение с самого начала не задалось.

Память скребли мрачные заветы подполковника Григорьева.

Среди солдат и сержантов, получивших увольнение, я не увидел никого, с кем хотел бы провести вечер.

Солдаты и сержанты, с начищенными до блеска сапогами и пуговицами, выстроились на утоптанной площадке перед штабом. Дежурный по части капитан Рябчук неторопливо прохаживался вдоль строя, внимательно изучая, точно ли расположены по центру звездочки на наших шапках и пряжки ремней.

Капитан Рябчук был известен в полку афоризмом: «Женщины бывают или утки, или гагары». Афоризм нравился, его охотно повторяли.

Малознакомый сержант-артиллерист предложил мне пойти вместе к девушкам в общежитие швейной фабрики. Я отказался.

Я не навещал доступных девушек, потому что в то наивное время доступных девушек было неизмеримо меньше, чем солдат: девушки еще мечтали о суженых.

7

На городской площади прохаживался патруль под начальством старшего лейтенанта Подопригры.

Старший лейтенант Подопригора подзывал каждого появившегося в поле его зрения военнослужащего рядового и сержантского состава, проверял увольнительное удостоверение и вновь исследовал точность местоположения звездочки и пряжки. Во взгляде старшего лейтенанта таилось подозрение, ноздри его нервно шевелились.

У Куприна рассказывается про бывшего офицера, который по запаху дыхания проходившего мимо юнкера определял название принятого напитка.

Учитывая ассортимент винного киоска, тускло светившегося неподалеку, на боковой улочке, задача старшего лейтенанта Подопригоры была стократ проще.

Кроме водки в розлив и бочкового пива в киоске имелся только — для слабаков и эстетов — густой темно-янтарного цвета ликер, именовавшийся то ли «Северное», то ли «Полярное сияние».

8

Хочется написать что-нибудь *художественное*.

Например: что падал снег и крупные хлопья медленно пролетали мимо желтых фонарей.

Но снег — не падал. Это я точно помню.

9

У дверей кинотеатра стояла очередь в кассу.

Показывали какую-то серию «Тарзана».

Неделю или две назад нас уже приводили ее смотреть. Конечно, на утренний сеанс.

По обе стороны входа висели огромные, почти на всю высоту фасада рекламные щиты, окаймленные гирляндами лампочек. Тарзан, больше похожий на известного нашего артиста Николая Крючкова, чем на Джонни Вайсмюллера, зато, как положено, почти обнаженный, стоял, будто в чаше, на раскидистой вершине пальмы; стремительной птицей пролетал над африканским лесом. Его олимпийские мускулы, повторенные кистью местного живописца, напоминали перетянутые швами тугие пробковые пояса. Обезьяна Чита, много более чем Тарзан соответствующая подлиннику, на щитах тоже присутствовала.

Я решил отправиться в библиотеку.

Она помещалась на первом этаже четырехэтажного жилого дома, стоявшего тут же на площади, напротив кинотеатра. Дом был сложен из скучного серого силикатного кирпича. В нем жили ответственные люди города.

В библиотеке хозяйничала строгая старушка Анна Спиридоновна, постоянно ворчавшая на юных читателей (их — школьников — было обычно больше, чем каких-либо других) за не отрясенные валенки, грязные руки, грубое слово, не в меру громкий разговор. Была она маленькая, сухонькая и для жительницы Заполярья поразительно смуглая. У меня с Анной Спиридоновной сразу завязалась дружба: я получил разрешение заходить в хранилище и сам высматривать на полках желанную книгу.

Среди привычного набора — классики, русские и (меньше) зарубежные, подписные издания, творения советских авторов — в потоке наизусть известных корешков оказались две заветных полки. Давний дар или след экспроприации: редкие в ту пору дореволюционные издания, между ними розановские «Опавшие листья», с которыми я тогда впервые и познакомился.

...Библиотека в тот вечер оказалась закрыта в связи с ремонтом отопления...

Делать было нечего.
 Нечего было делать.
 Я стоял у запертой двери библиотеки.
 Кругом была бескрайняя полярная ночь.

Меня заметила проходившая мимо телефонистка Лида с городской телефонной станции.

Лида засмеялась и сказала: «Замерз, бедный!». То ли про меня, то ли про обнаженного Тарзана на рекламном щите.

Художник не поспешил на яркие краски — синяя, зеленая, солнечно-желтая...

Озаренные лампочками, африканские краски маняще светились в темноте Заполярья.

Такие краски были на картинках в книге африканских сказок, которую я читал в детстве.

«Может, в кино сходим?» — предложил я.

«Пошли», — согласилась Лида.

Лида была не доступная девушка. Однажды мы уже ходили вместе в кино. Мы сидели в темноте и держали друг друга за руки. Руки у Лиды были мягкие, теплые, чуть влажные. Потом я проводил ее до дома. Она жила далеко, на краю города, в одном из стоявших у подножья сопки деревянных барачных зданий. К себе Лида меня не позвала. Одна комната, мать, младшая сестренка. «А отец погиб».

«На фронте?».

«На руднике».

14

Мы пристроились к очереди в кассу. Сеанс только что начался, билеты продавали уже на следующий. Перед кино можно было часок погулять по бульвару. Я подумал, что непременно поцелую Лиду.

На площади снова появился исчезнувший было патруль.

Старший лейтенант Подопригора тотчас высмотрел меня.

У него был легкий, чуть пружинящий шаг.

Он снова проверил мои документы.

«О чем думаете, сержант? — сказал он, возвращая удостоверение. — Увольнительная у вас до двадцати двух тридцати, а сеанс кончается в двадцать два сорок пять». «Я раньше уйду», — пообещал я. «Не уйдете. Разомлеете в тепле — и не уйдете. Вот и девушка подтвердит».

Старший лейтенант Подопригора неприятно усмехнулся.

«Ты иди», — Лида дотронулась до рукава моей шинели.

«А ты?».

«Я постою еще. Скучно дома».

15

Ликер назывался «Северное сияние». Может быть — «Полярное».

На черной этикетке был изображен серебристый полярный медведь, окруженный расходящимися серебристыми лучами полярного (северного) сияния.

Когда продавщица в солдатском бушлате и толстых шерстяных перчатках наливала ликер в стакан, он казался густым и горячим, как расплавленный янтарь.

Я выпил всё разом, жар бросился мне в лицо, мигом разбежался по телу; даже концы пальцев полнились этим сладким пьянящим жаром.

Страх ушел из меня — и тотчас распались привычные пугающие связи с окружающим миром.

Я, не опасаясь, вышел из переулка на площадь навстречу неизбежному патрулю.

Но пьяному часто везет, так же, как новичку на бегах.

Старший лейтенант Подопригора со своей командой рыскал где-то в окрестных улицах.

В темноте на рекламных щитах ярко сияла Африка — синяя, зеленая, солнечно-желтая.

Народа у кассы уже не было. Я постоял в коротком раздумье на опустевшей площади и, радостно поддавшись внутреннему зову, свернул направо, на бульвар.

Крепко ступая по притоптанному на дорожке снегу, я весело шагал сам не зная куда — куда-то на окраину, где темная сопка темнела на фоне темного неба.

Я был одинок и свободен, как (мне еще не знакомый) путешественник по Африке.

Под покровом полярной ночи я пересекал другой континент.

Я чувствовал, как раскручивается Земля у меня под ногами.

Я шагал и пел.

Как многие люди, не одаренные способностью петь, я пою в одиночку.

Точнее: в одиночку — я пою.

Я пел, что иду по Африке, пел про пыль от шагающих сапог, пел о том, что нельзя останавливаться.

Надо мной по темному небу вселенской кардиограммой бежали, метались из конца в конец небесного простора малахитово-зеленые полосы полярного сияния.

Часть II. **Посвящается Луи Дагеру**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В 1839 году художник и изобретатель Луи Дагер выступил во Французской академии с докладом о технологии закрепления полупрозрачного с помощью оптического прибора изображения.

Дагерротип казался чудом.

Человек посмотрелся в зеркало, отошел, а его лицо — портрет — осталось на стекле.

Вскоре с дагерротипа научились делать оттиски.

Началась эра фотографии.

2

Я вспомнил про Луи Дагера, потому что случайно наткнулся на заметку о нем в здешнем русскоязычном журнале «Партнер».

Заметка напечатана в разделе памятных дат, озаглавленном звучным державинским словом: «Река времен».

3

Ожегшись о дату — 1839 — я тотчас (и не в первый раз) огорченно подумал, что Пушкин всего двух лет каких-то не дожил до дагерротипа.

Смешно, конечно, потому что дата никакого отношения к Пушкину не имеет.

Лермонтов двумя годами пережил изобретение дагерротипа (и дагерротип с него не сделали), но мне это в голову не пришло.

Привычка наша российская: чуть что, хвататься за Пушкина в надежде, что Пушкин вывезет (и — вывозит), приведет к заветной цели.

Как в Библии (перефразирую слегка из Захарии): все возьмутся за полу иудея и скажут: мы пойдем с тобою, ибо с тобою Бог.

Привычка сопрягается с однажды заявленным и охотно повторяемым: «Пушкин — наше всё».

Уравнение, частым и, как правило, неосмысленным употреблением обращенное в шумный слоган.

Твердим, не задумываясь о том, а так ли уж лестно для Пушкина быть нашим *всем*. Или: *нашим* всем.

В контексте — у Аполлона Григорьева — разъясняется, что Пушкин — первый и полный образ нашей сущности (личности, физиономии), вобравший в себя всё, что брать следовало, и отвергнувший то, что не следовало брать.

При открытии в Москве памятника Пушкину (знаменитые торжества 1880 года) весьма многие, узнав, что духовенство собирается освятить памятник, возмущались: «Нас идолопоклонству хотят учить, идола освящать»; «Пусть на него хоть бриллиантовый веночек вешают, да не освящают идола, а то вон и теперь неверы смеются: «И Пушкин будет чудеса творить — его освящают, как мощи». Что у нас за архиереи!» . Толки занес в дневник по горячему следу епископ Николай, святитель Японский; приписал: «Вот те и народный поэт!»

Вот такое — *всё*.

А не такое, как — «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

Может быть, я поторопился с названием, с *Луи Дагером* этим.

Но в первой части сочинения, названного «Трапезы теней», я писал уже, что, принимаясь за него, поставил целью ничего не обдумывать заранее, довериться тексту, предоставить ему возможность на каждом шагу расти из себя самого, развиваться по собственному хотению. (Карл Брюллов говорил: «Мысль перевернулась — и карандаш перевернулся».)

Почему-то журнал «Партнер»... Почему-то Луи Дагер (хотя та же «Река времен» несла в своем потоке и другие помеченные юбилейной датой имена)... Ничего не предполагая наперед, замороженно как-то написал название, — и тут же пришел в голову Пушкин, немного не поспевший к замечательному изобретению...

Хотя Пушкин (опять Пушкин!) определил, что «единый план *Ада* есть уже плод высокого гения». И сам весьма интересно составлял планы создаваемых творений.

Но тот же Пушкин вдруг вздыбливает корабль на гребне взметнувшей его волны: «Куда ж нам плыть?..» В черновиках перебирает едва не десяток вариантов продолжения — и все отбрасывает, так и остается, в вышине над океанским простором, — «Куда ж нам плыть?..» Творчество всегда обращено в бесконечность.

8

Старая немка, вдвоем с которой мы ежедневно совершаем недалёкие прогулки, разглядывает цветы, задержавшись возле какого-то палисадника. «Одуванчик. Незабудки. Нарцисс. Тюльпаны... Какое разнообразие форм, красок... Интересно, *Он* это для нас делает или для *Самого Себя?*..» — то ли меня спрашивает, то ли себя, то ли *Его*. Продолжает раздумчиво: — «Впрочем, *Он* не может иначе. Для *Него* существовать значит творить. Как дышать». И тут же переводит ответ в иной лексический пласт: «Идет — и сеет... Идет — и сеет...»

9

Лицо Пушкина (облик его) уже давно (лет полтора) одно из самых известных в России лиц.

Но когда осенью 1826 года Пушкин, освобожденный царем из ссылки, появился в Москве, еще мало кто мог узнать его.

Хотя все числили первым русским поэтом.

Участник тогдашнего уличного гуляния свидетельствует: «Толпы народа ходили за славным певцом Эльборуса и Бахчисарая, при восхищениях с разных сторон: “Укажите, укажите нам его!..”»

Была бы в ту пору уже изобретена фотография, — разносчики продавали бы в толпе карточки поэта, Пушкин, прогуливаясь, то и дело бы останавливался, чтобы давать автографы почитателям таланта и восторженным барышням.

Облик Пушкина сделался узнаваем для некоторого числа читателей, когда гравированный его портрет был приложен к альманаху Дельвига «Северные цветы на 1828 год» и к увидевшему свет в том же 1828 году новому изданию «Руслана и Людмилы» (определяя это *некоторое число*, не упустим из виду принятые в ту пору тиражи).

К слову: в этом же издании «Руслана» впервые появился и знаменитый пролог — «У лукоморья дуб зеленый», который несравнимо более прочно задержался в памяти, на слуху и на языке читателей, нежели основной текст поэмы.

Гравированный портрет Пушкина сделал художник Николай Иванович Уткин.

Оригиналом он взял живописный портрет, исполненный Орестом Кипренским, но, работая над гравюрой, порядком, и существенно, отступил от оригинала.

Некоторые современники из числа заслуживающих доверия «экспертов» (отец поэта, ряд близких друзей) полагают этот воспроизведенный на меди живописный портрет наиболее схожим изображением Пушкина.

Про портрет, исполненный Кипренским, лучше всего известно, что *«Себя, как в зеркале, я вижу, // Но это зеркало мне льстит»*.

Кипренский, конечно же, даже бессознательно, не намеревался льстить Пушкину. Кипренский — не гоголевский Чартков, не изготовитель светских портретов в угоду заказчику.

Здесь — встреча равных. Первых.

Кипренский несколько лет как из Италии и предполагает вскоре возвратиться туда. Его автопортрет помещен в галерее Уффици, — честь, оказываемая лишь избранным европейским мастерам. Он пишет в Рим приятелю-скульптору, что холодная невяская вода вредна для мрамора. (Пушкин будет тщетно мечтать об Италии всю жизнь.)

Кипренский писал Пушкина таким, каким видел перед собой, и вместе — каким видел его своим внутренним взглядом.

Писал *Гения Поэзии* — по его слову.

Дело было так.

Дельвиг, который заказал портрет, просил художника поставить за спиной Пушкина фигуру с лирой в руках — скульптурное изображение Гения Поэзии. Кипренский удивился: зачем? Он уже написал Гения Поэзии — *Пушкина*.

Но, поддавшись уговорам, фигуру на холст всё же поместил.

Николай Иванович Уткин ее убрал.

Мадригальные строки про зеркало, которое льстит, стали крылатым речением. Они тотчас выпархивают в памяти, когда вспоминаем пушкинское послание к Кипренскому. Но у Пушкина сначала — не про зеркало. У него иное в начало поставлено: «...*Ты вновь создал, волшебник милый, // Меня, питомца чистых муз...*»

Не воспроизведение, даже самое точное.

Пересоздание.

Создал — *вновь*.

«Дьявольская разница!», случалось, говаривал Пушкин. (Но, может быть, думал: *божественная*.)

И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.

Иной масштаб.

В рукописи послания Кипренскому (карандашом), рядом с текстом стихотворения — четыре слова: «И я бы мог...»

Эта оборванная строка возвращает нас в Михайловское: восемь месяцами раньше Пушкин уже занес ее (чуть полнее: «И я бы мог как... <далее два слова неразборчиво: тут, шут...»); рядом рисунок — виселица и фигуры повешенных.

Неоконченная строка вызвала немало предположений о возможном ее продолжении.

Но в известном смысле недописанная строка — не начало, а — окончание.

Как в сновидении, где время движется в обратном направлении: причина, вызвавшая пробуждение, успевает в этот момент стать завершающей подробностью ею же подсказанного («сочиненного») сюжета сновидения.

Раздумья о сопряжении собственной судьбы с судьбой декабристов завершаются, выплескиваются на бумагу страшным «И я бы мог...», открывающим ненаписанное стихотворение. (В любовной лирике та же мысль весело, но тем неотвязчивей: «Вы ж вздохнете ль обо мне, // Если буду я повешен», «Когда помилует нас Бог, // Когда не буду я повешен»...)

Послание Кипренскому пишется в первую годовщину казни декабристов.

В те же дни, «по соседству» с посланием рождается стихотворение «Арион»:

Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою...

Название «Арион» также повторено на рукописи послания Кипренскому.

Нет сомнения, что всё это имеет отношение и к посланию, и к встречам с художником, и к портрету.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Мне было лет шесть, когда у меня появился первый фотоаппарат.

Картонная коробочка, оклеенная голубой с разводами («под мрамор») бумагой. Простенькое стеклышко объектива с надетой на

него картонной крышечкой. Тремя пальцами осторожно снимали крышечку и долго считали вслух до двадцати пяти или до тридцати (долгая выдержка).

Так меня учили.

Не знаю, можно ли было этим аппаратом в самом деле что-нибудь сфотографировать. Несколько дней старшие, освоив сопроводительную бумажку, объясняли мне, как это делается, но я не помню, чтобы кто-нибудь зарядил кассету пластинкой (не помню даже, были ли приложены к аппарату кассеты, пластинки) и явил мне чудо запечатления действительности. А через несколько дней я, с неодолимой неизбежностью и нимало не огорчившись содеянным, сломал голубую картонную коробочку, чтобы ни разу не вспомнить о ней. Это раннее отсутствие интереса к фотографическому искусству, даже ремеслу, наверно, было генетическим: ни отец мой, ни мать в течение всей жизни не взяли в руки фотоаппарата. Исчезновения показавшегося в первый момент привлекательным подарка они, кажется, не заметили.

2

Самым лучшим фотоаппаратом времени моего детства считалась (да и была) «Лейка».

(Она и сейчас в цене.)

Легкая, удобная в обращении, ремешок на шее, коричневый кожаный футляр.

Снимки часто печатали примитивным способом, контактно — не увеличивая. В давнем, довоенном альбоме — врозь, по кадрам, иногда лентой, маленькие, четыре сантиметра на три (кажется), черно-белые (серые) оттиски с черной цепочкой эллиптических дырочек перфорации по краю.

Долго удивляла, путала русскость названия. Иной раз приходило в голову, что аппарат производится где-то на просторах родины чудесной. Пожалуй, не меньше я удивился, когда узнал, что название — просто аббревиатура: ЛЕЙтц КАмера (по имени первого изготовителя, немца Ernst'a Leitz'a).

3

В Советском Союзе скопировали камеру Лейтца и стали производить такую же свою «лейку», только хуже (всё — хуже, особенно стекла); аппарат называли тоже аббревиатурой — ФЭД (Феликс Эдмундович Дзержинский).

ФЭД — знаковая аббревиатура: она стала одним из символов режима.

Многое в стране — аппараты и паровозы, но также города, улицы, предприятия, учебные заведения, — оказались названы именем странного человека, который в юности хотел быть католическим священником, а в зрелости отстаивал *право* расстреливать невиновных.

4

Когда поэт Эдуард Багрицкий, подобно многим своим талантливым собратьям по перу искренне увлеченный революцией и столь же искренно в ней запутавшийся, искал знаковую фигуру, символ для своего стихотворения, он искренно выбрал Дзержинского.

Стихотворение называется «ТВС» (буквы латинские: «ТБЦ» — опять же аббревиатура, обозначение туберкулеза).

К изнемогающему от туберкулеза партийному активисту, большевику, видением является тень уже покинувшего этот мир организатора ВЧК (аббревиатуры так и выскакивают из-под пера), чтобы объяснить *право* революции считать врагами виновных и невиновных, ее право не считаться с нравственными ценностями человечества:

«А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руку протянешь — и нет друзей...
Но если он скажет: «Солги» — солги,
Но если он скажет: «Убей» — убей...»

Вот такая политграмма.

5

У Маяковского проще:
«Делать жизнь с кого?» — «С товарища Дзержинского».
Каламбурная рифма...

Смею привести (многие ли теперь читают Багрицкого?!) еще дюжину строк стихотворения — как бы это, которым отзываются в сознании и воображении героя *нравоучения* ФЭД:

И стол мой раскидывался, как страна,
 В крови, в чернилах квадрат сукна.
 Ржавчина перьев, бумаги клочок —
 Всё друга и недруга стерегло.
 Враги приходили — на тот же стул
 Садились и рушились в пустоту.
 Их нежные кости сосала грязь.
 Над ними захлопывались рвы.
 И подпись на приговоре вилась
 Струей из простреленной головы.
 О мать революция! Не легка
 Трехгранная откровенность штыка...

Когда писались эти строки, до 1937-го, до *Большого Террора*, оставалось рукой подать. Стихи о всесии *не-права*, о неправой правоте революции читаются отчаянной трагической увертюрой к лихой године.

Сам Багрицкий до нее не дожил (умер раньше, молодым от ас-тмы). ГУЛАГ уволок его жену, девичья фамилия которой была Суок. Этим странным изысканным именем (но уже именем, не фамилией) Юрий Олеша назвал прелестную героическую девочку-танцовщицу в своей книге-сказке «Три толстяка». Жена Олеша была тоже Суок (Ольга), сестра жены Багрицкого.

Фотоаппараты ФЭД изготовлялись в мастерских находившейся в ведении НКВД трудовой колонии для подростков, соответственно, носившей имя Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Колония воспета в очень известной в мое время книге ее руководителя А.С.Макаренко — писателя, педагога и сотрудника НКВД.

Книга называется — «Педагогическая поэма».

Некоторые восторженные читательницы готовы были послать своих детей на воспитание в эту *колонию-поэму*, как ныне посылают в Кембридж.

Памятник Ф.Э.Дзержинскому, высившийся посреди площади, носящей его имя, напротив главного входа в учреждение, им организованное и, хотя негласно, но всегда носящее его имя, был снят после провала путча 1991 года.

Совершенно непередаваемое впечатление, схваченное и остановленное тысячами объективов фото- и кинокамер: громадная фигура, сорванная подъемным краном с высокого пьедестала, на мгновение повисшая, замершая над ночной, освещенной прожекторами площадью.

Над Москвой.

Над миром — тогда показалось.

Тоже — знаковый кадр.

Долгое время фигура лежала, поверженная, возле выставочного зала на Крымском валу, понемногу зарастая травой.

Потом ее снова поставили на ноги.

Кое-кто хлопочет о том, чтобы вернуть ее на прежнее место.

Отец Дзержинского служил учителем математики в таганрогской мужской гимназии, среди его учеников был Антон Павлович Чехов.

Ни для биографии Дзержинского-сына, ни для биографии Чехова это, похоже, значения не имело.

Просто любопытный факт.

Лет через пять после голубой коробочки у меня появился уже вполне пристойный аппарат — «Турист». Черная пластмассовая камера. Выдвижная — на никелированных распорках — передняя стенка с объективом. Наводить на резкость нужно было с помощью матового стекла в задней части камеры. Потом на место матового стекла вдвигали кассету со стеклянной пластинкой размером шесть с половиной на девять сантиметров.

Этот аппарат подарил мне мой сибирский дядя Семен Александрович. Я писал о нем в повествовании «Пробуждение во сне».

Дядя приезжал в Москву в командировку и, случалось, подолгу жил у нас. В отличие от моих родителей Семен Александрович был человек технический. Он, едва принес аппарат из магазина и торжественно мне его вручил, тотчас взял его у меня обратно, долго с ним возился, что-то разбирал, собирал, читал инструкцию; на другой день он прикупил три пластмассовые ванночки — для проявителя, закрепителя (тогда говорили: «фиксажа») и воды, несколько картонных трубочек с химикалиями, красный фонарь — и объявил, что можно начать съемки.

Дядя с фотоаппаратом появился неожиданно и некстати: у меня в ту пору были какие-то другие интересы, заниматься фотографией мне совершенно не хотелось, — я старался быть искренним, когда благодарил Семена Александровича, но инструкции его слушал невнимательно. Между тем дядя, у которого там, в Сибири, был свой ФЭД, увлекся моим подростковым «Туристом» и, возвращаясь после служебных забот домой, всякий вечер делал шесть фотографий (по числу приложенных к аппарату черных жестяных кассет), а ночью проявлял их и печатал снимки.

Во всем процессе получения изображения мне нравилось только, накрывшись большим темным платком, смотреть на поверхность матового стекла и при этом слегка крутить туда-сюда объектив в поисках резкости: именно на матовом стекле изображение получалось особенно красивым, потому что было цветным, — отпечатанные на бумаге черно-серо-белые снимки разочаровывали.

Памятным свидетельством той эпохи в моей жизни остался небольшой (6,5 x 9) прямоугольник грубоватой фотобумаги: я сижу на диване и грызу яблоко. На снимке можно разглядеть круглую диванную подушку — по черному фону восточный орнамент. Подушку вышила мамина сослуживица по имени Ева Акуленок.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Пушкин не успел к изобретению дагерротипа, но Гоголю уже выпал случай познакомиться с ним.

Этот эпизод в биографии Гоголя — всё же эпизод и в биографии дагерротипа.

Встреча произошла в Риме в последних числах октября или в начале ноября 1845 года.

Дагерротипы в Риме делал французский мастер Перро.

Желающие снять свое изображение потянулись на улицу Понтефици, где в доме N 55 француз оборудовал свое ателье.

Отгисков с дагерротипа еще не делали: мастер выдавал (продавал) их досками.

Дагерротип стоил довольно дорого, и как вещь не утратил еще ценности новизны.

Осенью 1845-го Рим посетил император Николай Первый; среди лиц свиты был граф Федор Петрович Толстой, вице-президент Академии художеств, и сам (к слову) неплохой пейзажист. Русские художники, обитавшие в Риме, большими группами, по 12–13 человек, снимались на дагерротип и подносили доски в качестве достойного подарка графу Федору Петровичу, начальнику.

Гоголь запечатлен дагерротипом тоже среди художников — живописцев, скульпторов, архитекторов; всех — восемнадцать человек.

2

На этом снимке — единственном из той римской серии — присутствует женщина: Мариучча, известная римская натурщица, она много позировала Александру Иванову для «Явления Христа народу».

3

Группа выглядит театрально — чувствуется обдуманная постановка.

Прежде чем расположиться перед объективом, художники иногда набрасывали на бумаге эскиз мизансцены. Наверно, и на этот раз тоже.

Некоторые лица на снимке смотрятся очень эффектно: широкополая шляпа, плащ через плечо. Позой, движением — все они, так или иначе, по двое, по трое, связаны между собой.

Гоголь, вопреки обычной экстравагантности наряда, одет совершенно по-светски (сюртук, белая манишка, галстук), в правой руке трость; он сидит заметно ни с кем не общаясь, непричастный общему оживлению, выражение лица серьезно, даже несколько

мрачно; он смотрит в сторону, будто всё, что происходит вокруг, не имеет к нему отношения. Художники размещены на дагерротипе весьма тесно, лишь вокруг Гоголя как бы необходимо образовавшаяся при точном конструировании мизансцены пустота.

От всего этого Гоголь, и без того почтительно усаженный в центре группы, оказывается фокусом, мгновенно сосредоточивающем на себе внимание рассматривающего снимок, — все остальные, с их плащами, шляпами, позами, оживленными лицами, с их игрой в общение, превращаются в «окружающих».

Чувствуется рука великого режиссера, незадолго перед тем, поставившего *немую сцену*, которой увенчан «Ревизор».

4

«Произнесенные слова, поражают, как громом всех... Вся группа, вдруг переменивши положения, остается в окаменении...

Городничий посредине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимися к нему движениями всего тела; за ним почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявший самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гости, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выражением лица, относящимся прямо к семейству городничего... По левую сторону городничего Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнести: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»...» И т.д.

5

Гоголь — о картине Иванова «Явление Христа народу»:

«Всё, отправляя свои различные телесные движенья, устремляется внутренним ухом к речам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих различные чувства. На одних — уже полная вера; на других — еще сомненье; третьи уже колеблются; четвертые понурили глаза в сокрушенье и покаянье; есть и такие, на которых кора и бесчувственность сердечная»...

Бывают странные сближения.

Но вот что интересно: подробное описание немой сцены, венчающей «Ревизор», появляется в пору сближения Гоголя с Александром Ивановым.

В первых изданиях комедии стояло только: «Все издают звук изумления и остаются с раскрытыми ртами и вытянутыми лицами. Немая сцена. Занавес опускается».

Имеется известный рисунок, воспроизводящий немую сцену. Как она была уже написана или какой предполагалась (?). Авторство рисунка долгое время, неслучайно, конечно, приписывалось сперва самому Гоголю, потом Иванову.

Гоголь и Иванов сошлись в Риме в конце 1830-х годов.

Некоторые посмеивались над неравноправностью их дружбы: Гоголь то и дело наставлял Иванова, Иванов благоговейно ему внимал.

Гравер Иордан, близко, но не проникательно знавший того и другого, писал, что Иванов выслушивал советы и наставления Гоголя — *рабски*.

Но неравноправность — кажущаяся. Дело в несходстве натур, самоощущения и, в связи с этим, в привычке так или иначе предьявлять себя.

Тот же наивный Иордан писал про Иванова, что «упрям и своеобразен он был сильно».

Иванов выслушивал советы и делал по-своему: дорогою свободной шел, куда вел его свободный ум.

Быть свободным для подлинного художника значит полностью подчинить себя творческому началу, творческой необходимости,

без оглядки на привходящие условия и разного рода околичности. (На языке художников того времени *околичности* есть совокупность подробностей на полотне.)

Александр Иванов, претерпевая многие лишения, более двадцати лет работавший над «Явлением Христа», писал Гоголю:

«Я, наконец, привык к угрозам судьбы, сказав себе, что до последнего дня настоящей моей свободы я должен весь принадлежать картине... Я бы мог очень скоро работать, если бы имел единственно целью деньги. Признаюсь, я не вижу в остальной моей жизни ничего, лучше моего настоящего положения. Если бы картина моя осталась навсегда неоконченной, то это всё столько же было бы для меня горько, как если бы какая-нибудь деспотическая сила заставила бы меня окончить ее против моих правил и убеждений».

10

Гоголь — творец — понимал это. В жизни и работе Иванова он видел урок того, как нужно любить искусство: «...Нужно, как Иванов, умереть для всех приманок жизни; как Иванов, учиться и считать себя век учеником; как Иванов, отказывать себе во всем, даже и в лишнем блюде в праздничный день; как Иванов, надеть простую плисовую куртку, когда оборвались все средства, и пренебречь пустыми приличиями; как Иванов, вытерпеть всё...»

Но этого мало. Художник должен пройти долгий и сложный путь духовного развития, чтобы соответствовать своему творению: «Пока в самом художнике не произошло истинное обращение ко Христу, не изобразить ему того на полотне...»

11

Статья «Исторический живописец Иванов» помещена как *Письмо к гр<афу> Матв.*

Ю. В.<цельгорскому> в книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».

12

В письме Гоголь говорит о том, что подлинный художник не подчиняет себе свое творение, но меняется, растет вместе с ним.

Творение в процессе творчества творит своего творца.

Гоголь в ту пору чувствовал, сознавал перемены, в нем происходящие по мере того, как растет, развивается замысел продолжения «Мертвых душ».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В 1843 году в журнале М.П. Погодина «Москвитянин» появилась литография с портрета Гоголя, исполненного Александром Ивановым двумя годами раньше.

Хотя никто не слышал даже, что Иванов пишет портрет.

Того более: никто такого и не предполагал. Неприязнь Иванова к писанию портретов была хорошо известна.

Лишь годы спустя, Иванов поведает, что, по просьбе Гоголя, писал портрет «от всех в великой тайне».

Хотя создавался портрет *от всех в великой тайне*, Гоголь попросил художника тут же сделать копию и без всякого уведомления о секретности дела подарил оба портрета друзьям — один Погодину, другой поэту Василию Андреевичу Жуковскому.

2

Иосиф Бродский говорил, что английский язык — это «или — или», а русский язык — это «хотя».

3

Наверно, и русская натура — тоже.

Недаром замечено, что у Достоевского, проницательнейшего исследователя русской природы, в описании мыслей и поступков героев часто появляется слово «вдруг». Человек думает, действует не так, как от него ожидают («вдруг» есть динамическое развитие «хотя»).

Достоевскому очень нравилась картина художника Крамского «Созерцатель» (не самая удачная из его картин) — изображение остановившегося посреди пути мужичка, в котором зрители и критики не видели ясно найденного образа, отмечали неопре-

деленность типа, невнятность характеристики. Но именно в этом Достоевский находил особую точность и цельность: «Может, вдруг... бросит всё и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случиться и то, и другое вместе»...

4

Обнародование портрета сильно расстроило Гоголя: «Я имею свои собственные причины, слишком законные, о чем не раз объявлял этим господам и чего однако не хотел им изъяснять, имея тоже законные на то причины»...

«Объявлял» — не «изъяснял»...

Опять: «хотя».

Он и в «Завещании» отметит — отдельным пунктом (как нечто особо существенное) — и снова ничего не скажет:

«Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет. По многим причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого...»

В письме к приятелю вроде бы приоткрыл нечто: «Там я изображен как был в своей берлоге назад тому несколько лет... Рассуди сам, полезно ли выставить меня в свет неряхой, в халате, с длинными взъерошенными волосами и усами?»

Но, хотя со слезой произнесено, волосы на портрете не взъерошены — красиво уложены. И усы самые что ни на есть пристойные. Гоголь, и правда, в халате, но халат аккуратно запахнут, под ним белая рубаха с красивым отложным воротом.

Хорошее, с любовью написанное лицо. Печальные, сосредоточенно во что-то всматривающиеся глаза. На лице та самая глубокая, невеселая дума, которая постоянно томила Гоголя.

«Берлога», «неряха», «взъерошенный» — всего этого и в помине нет.

Ничего случайного: портрет написан (это сразу передается) по обоюдному соглашению.

Внимательно.

В нем ощутимо внимание портретиста и внимание портретируемого.

Иначе и быть не могло.

Александр Иванов очень серьезно относился ко всему, что делал в искусстве.

И Гоголь очень серьезно относился к тому, каким будет — *выставлен в свет*.

5

Но и в письме к приятелю, упомянув «берлогу» и «неряху», Гоголь главных причин своего сетования назвать не пожелает: «Нужно мне поднимать из глубины души такую историю, — продолжает он, — что не напишешь ее на многих страницах...»

Откуда ни подбирайся, скорее всего, не было на самом деле никакой *такой истории*.

Во всяком случае *история* не помешала Гоголю через несколько лет снова позировать Иванову, уже для карандашного портрета.

От таинственной *такой истории* тянет очередной мистификацией, которой полнятся письма Гоголя, и речи его, и поступки.

Непрестанным, много более сильным, чем у большинства землян, стремлением создавать миф о себе.

В этом стремлении он доходил до крайностей и — того более — переступал их границы.

У Ю.М.Лотмана — без обиняков: «Гоголь был лгун... Вершиной гоголевского искусства было скрыть себя, выдумать вместо себя другого человека... Принцип этот определял не только творческие установки, но и бытовое поведение Гоголя»...

6

Портрет, который поначалу соответствовал каким-то мифотворческим замыслам Гоголя (халат, волосы, взгляд — всё им заведомо обдуманно: *позировал*, и художником не случайно передано: замысел совпадал), портрет, дважды повторенный и отправленный, не бесцельно, конечно, — с намерением, и *кому (!)* — Погодину, Жуковскому, портрет этот сделался лишним, даже помехой, когда Гоголь в своем мифотворении связал с Ивановым и его творчеством иные планы.

7

Несколько потаенных портретов Гоголя находим среди бесчисленных набросков Иванова к «Явлению Христа».

Художник, например, *пробует* лицо Гоголя, когда ищет своего раба.

Раб — один из главных героев картины.

Он, конечно, неслучайно помещен ближе всех к зрителю, на переднем плане, в самой середине холста.

Всего на холсте тридцать пять *действующих лиц*.

Это не просто терминология: в том-то и суть, что каждое *лицо* на картине — *действует*.

Передает внешне внутреннюю — духовную и душевную — деятельность человека.

(См. выше строки Гоголя с описанием собравшейся на берегу Иордана толпы.)

Когда приближаешься к громадному (5,40 x 7,50 м) холсту, по большей части первыми бросаются в глаза Иоанн Креститель и раб.

Замечательная смелость мастера: господин, которому раб помогает одеваться, посажен уже совсем в центре и так же близко (даже чуть ближе) к зрителю, но — *спиной!*

Эта *психологически* необыкновенно выразительная ухоженная господская спина — бесспорно лучшая спина в русской живописи. Да и в мировой — поди, сыщи такую!..

Намеренно уродливое лицо раба — самое радостное на холсте. «Сквозь привычное страдание впервые появилась отрада», — обозначил сам Иванов.

В этом лице сошлись воедино черты самых разных, непохожих лиц, увиденных, найденных, запечатленных в этюдах Ивановым.

Но Гоголь пробы не прошел.

Натурщица Мариучча под кистью Иванова отдала рабу частицу себя, Гоголь не понадобился.

Не состоялся Гоголь и в образе «дрожащего» — тоже одного из главных персонажей переднего плана.

Невозможно представить себе (тем более зная отношения художника и писателя), чтобы Иванов «вставлял» Гоголя в картину без его ведома.

Всё, конечно, взаимно обсуждалось и опробовалось — вот тут уж действительно *в великой тайне*.

Гоголь, похоже, хотел видеть себя (идея портрета!) среди первых свидетелей Явления Христа (без кавычек: не картина — *явление*). Иванов искал ему место на холсте, не наставлениям его («рабски»?) внимая, не своевольничая, но подчиняясь верховной власти творческой необходимости. Ему нужен был не «портрет Гоголя» в толпе действующих лиц, но тот Гоголь, каким он носил его в себе, осознавал, чувствовал, данный в сопряжении с остальными лицами картины и с тем, что происходит в ней.

11

Среди подготовительных работ имеется фигура «кающегося» (как его называют) — «с головой, обращенной вниз, и характернейшим гоголевским птичьим носом... во всей его *натуральной карикатурности*» (определение Н. Г. Машковцева, известного искусствоведа).

«Кающийся», претерпев некоторые перемены в облике (но это еще — «Гоголь»), оказался на одном из эскизов картины; здесь он стал называться «ближайшим».

«Ближайший» написан совсем маленьким, он стоит в самой глубине картины, дальше всех от пророка Иоанна, зато ближе всех к приближающемуся откуда-то совсем издалека Иисусу Христу.

12

Иисус Христос на картине — самый маленький. Это сердило Вас. Вас. Розанова, не любившего ивановской картины и разделавшего ее в пух и прах. Но если бы Иванов написал «большого» Христа, то и картины бы не было; этой, во всяком случае. Впрочем, по Розанову, оно бы и лучше — он и самую тему не принимал.

13

Между прочим. Отвечаю, цитируя, на вопрос, которым нередко задаются зрители картины (и не только).

«На картине А.Иванова «Явления Христа народу» мы видим, как Иисус приходит, чтобы креститься от Иоанна в водах

Иорданских... Само слово «крещение» к слову «крест» никакого отношения не имеет, но в славянском языке эти два слова, не связанные друг с другом, стали обозначаться через один корень... Слово «крещение» по-гречески — *баптисма* («омовение»), а крест — *ставрос*, что означает «дерево»; по-латински «крещение» — *baptisma*, а «крест» — *crux*... Иоанна называют Крестителем не за то, что он вооружен крестом, а потому, что совершает крещение, омовение... Не зная этого, скульптор И.П.Витали изобразил Предтечу с крестом. И на картине А.Иванова он тоже, к сожалению (!), с крестом в руках (о.Георгий Чистяков. «Над строками Нового Завета»).

14

Продолжаю.

«Ближайший» на эскизе повернут спиной к Христу — он чувствует себя недостойным даже взглянуть на Него.

При всей скромности, неприметности «ближайшего» сравнительно с остальными персонажами, он таким образом оказывается нравственно наиболее совершенным, глубже всех понявшим, почувствовавшим значимость события.

Гоголь, не доживший до окончания картины, когда писал о ней, наверно, держал в памяти этот эскиз.

...Одежда «ближайшего» по виду и цвету напоминает халат Гоголя на ивановском портрете.

15

Перечисляя действующих лиц «Явления Христа», Гоголь называет и тех, кто «понурили головы в сокрушении и покаянии».

Таких нет в «Явлении Христа», которое мы знаем.

Есть человек в той же одежде, что «ближайший», стоящий ближе остальных к Христу.

Некоторое сходство с Гоголем осталось. Но это — не «ближайший», каким он виделся Гоголю и каким он, кажется, хотел предстать на холсте.

Иванов был «упрям и своеволен» — своевольничать с творчеством он упрямо не желал.

Халат на холсте остался.

Подлинного портрета Гоголя там нет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

...И вечно он шутит свои непостижимые, грустные шутки.

Это я про Гоголя.

(Возможно, цитирую.)

Вдруг вынырнул со своим дагерротипом, завел историю с ивановским портретом, загляделся на «Явление Христа» — и заполнил две главы.

Недаром Пушкин предупреждал, что «с этим малороссом надо быть осторожнее».

2

Ну, теперь уже делать нечего, — поговорим о Федоре Антоновиче Моллере.

3

Живописец Моллер был сыном адмирала, морского министра. Окончил Морской корпус, служил на флоте, затем в сухопутных войсках. Двадцати трех лет вышел в отставку (штабс-капитаном гвардии!), дабы всецело предаться художеству. Год учился в Академии у Брюллова, потом отправился на собственный счет в Италию и поселился в Риме. Здесь он написал картину «Поцелуй»: красивый юноша-итальянец целует красивую юную итальянку. Картина — по нынешнему обозначению совершенный *кич*, — понятное дело, принесла ему замечательный успех; он бессчетно ее повторял: покупали.

4

Александр Иванов относился к Моллеру дружески. Моллер был в числе тех немногих, с кем он постоянно встречался. В одном из писем он упоминает даже, что пособил Моллеру, «чуть было не задохнувшемуся в грязной связи с подлыми бабами». Но тут же признается, что не умеет и не хочет помогать приятелю как художнику: очень уж всё разное — и искусство, и взгляд на искусство, и требования к себе в искусстве.

И еще.

В том же письме: «К этому прибавить: Моллер принадлежит к званию аристократов, его успех толковаться будет так: «Вот посмотрите, высокородной-то взял кисть, как он вдруг отделился от грязной художнической семьи».

Если бы я не был уверен, что Лев Толстой, работая над «Анной Карениной», не читал этого письма, я был бы уверен, что читал.

В пятой части романа Вронский, выйдя в отставку, уезжает с Анной в Италию и между прочим пробует силы в живописи, которой прежде немного учился.

И там же, в пятой части, действует живущий в Риме русский художник Михайлов.

Репин, прочитав роман, убежденно скажет, что Михайлов «страх как похож на Крамского».

Это естественно: Крамской делал известный портрет писателя как раз в пору создания «Анны Карениной» (Софья Андреевна помечает в дневнике: «...Немного мешают заниматься. Зато споры и разговоры об искусстве всякий день»).

Но вот что поразительно: Толстой в своем Михайлове как бы «задним числом» во многом проницательнейше угадывает давно покинувшего наш мир Александра Иванова, с которым не встречался и книгу о котором прочитает лишь спустя годы.

Михайлову, каждой клеточкой художнику, неприятно, что граф Вронский *балует живописью*.

Аристократ Голенищев, приятель Вронского, без труда находит тому объяснение: «Положим, не завидует, потому что у него талант; но ему досадно, что придворный и богатый человек, еще граф (ведь они всё это ненавидят), без особенного труда делает то же, если не лучше, чем он, посвятивший на это всю жизнь».

И т.д. (иные подробности опускаю).

Гоголь обходился с Моллером тоже дружески.

И между прочим: без всяких сложностей — без *таких историй*, без *великих тайн*, без завещаний и изъяснений — то ли разрешал, то ли поручал Моллеру писать свои портреты.

Знакомому, заставшему его в ателье живописца, он объяснил: «Писать с меня весьма трудно: у меня по дням бывают различные лица, да иногда и на одном дне несколько совершенно различных выражений».

Гоголь хочет показать себя оригинальным, но именно этим — переменчивостью лица — ничуть не отличается от всего остального человечества.

Недаром своим высказыванием он, о том не ведая, дословно повторил Дидро, изрекшего эту немудреную истину много раньше и по тому же случаю — художник собирался писать его портрет.

Но искусство подлинного портретиста в том и состоит, чтобы запечатлеть в *единственном* портрете этого *разного человека*.

Не у самого ли Гоголя читаем: «Я узнал, что половина жизни моей перейдет в мой портрет, если только он будет сделан искусным живописцем».

А тут он будто предоставляет Моллеру возможность, даже предлагает ему переносить на холст эти совершенно различные выражения.

И того более: *придумывает* выражения лица, которые должны быть перенесены на холст.

Павел Васильевич Анненков, писатель, историк литературы, добрый приятель Гоголя, много общавшийся с ним в Риме, пишет про один из моллеровских портретов, что улыбка на нем «взята Гоголем *только для сеанса*».

8

Тут словно являет себя склонность Гоголя к игре, к маскараду — к *маске*.

Он позирует то в романтическом плаще, то в белой рубашке с широко распахнутым воротом, то в халате. (Опять-таки — в халате! А как же — «неряха», «берлога»?..)

9

Про самый — наизусть! — известный портрет Гоголя, портрет всех массовых изданий, классных комнат, районных библиотек, про этот красивенький, настоянный на сахарном сиропе портрет П. А. Кулиш, один из первых биографов Гоголя, благоговевший пе-

ред своим героем, рассказывает: «Гоголь просил Моллера написать его с веселым лицом, “потому что христианин не должен быть печален”, и художник подметил очень удачно привлекательную улыбку оживлявшую уста поэта, но глазам его он придал выражение тихой грусти, от которой редко бывал свободен Гоголь».

Привлекательная улыбка, «потому что христианин... и т.д.», тихая грусть, «приданная» в противовес («...но») улыбке...

(Впрочем, «смех сквозь слезы» здесь, кажется, всё-таки не состоялся.)

10

Художник, передающий на холсте то, что от него требует оригинал, вместо того, чтобы «следить природу в ее окончательности», изображен Гоголем в «Портрете».

Герой повести Чартков в первом варианте именовался — Чертков.

11

Приметливый современник (Н.В.Берг, историк, журналист, переводчик) сообщает некоторые подробности создания моллеровского портрета: «Гоголь повидимому думал тогда, как бы сняться (!) покрасивее, надел сюртук, в котором его никогда не видели ни прежде, ни после, растянул по жилету невероятную бисерную цепочку, сел прямо, может быть, для того, чтобы спрятать от потомков, сколь возможно более, свой длинный нос, который, впрочем, был не особенно длинен».

12

Вкус Гоголя в одежде своеобычен.

Если вообще говорить о вкусе.

Нередко что-то вызывающее, покроем, цветом: «сам изобретал какой-то фантастический наряд».

Знакомые отмечали его особое пристрастие к жилетам.

Один из них пишет, что жилеты он носил всегда бархатные и только двух цветов: синего и красного.

Но имелись также жилеты — пестрый светлый с большой цепочкой (голубой фрак с золотыми пуговицами), бирюзовый (и — яркие желтые панталоны), яхонтовый (по жилету золотая цепь)...

Самый поразительный жилет, описанный мемуаристами: при темном гранатовом сюртуке — «жилетка была бархатная, в красных мушках по темно-зеленому полю, а возле красных мушек блестели светло-желтые пятнышки по соседству с темно-синими глазками. В общем, жилетка казалась шкуркой лягушки».

13

Именно в этом фантастическом жилете Гоголь появляется на страницах рассказа Бунина «Жилет пана Михольского» (1932).

В основу рассказа положен «Анекдот о Гоголе», напечатанный писателем Иеронимом Ясинским со слов самого Михольского в журнале «Исторический вестник» четырьмя десятилетиями раньше.

Пан Михольский, провинциал, перед свадьбой приезжает из своего глухого уезда в Киев, «дабы нашить себе панталон, сюртуков, фраков и жилетов по самой последней моде». Здесь он случайно попадает на прием в честь прибывшего в город Гоголя (пану Михольскому доводилось «читать его вещички»). В зале собралось множество важных персон, но всё внимание знатного гостя привлекает пан Михольский. Дело в том, что, хотя на Гоголе жилетка, похожая на шкурку лягушки, жилетка у пана Михольского еще более удивительная и похожа на шкурку хамелеона. Гоголь, снедаемый завистью, награждает пана Михольского нелепой колкостью, отказывается от чая и тут же покидает торжество. На другое утро он подсылает к пану Михольскому человека с просьбой продать жилетку, но пан Михольский отказывается и выходит из схватки победителем.

14

Не возьмусь решать, чем привлек Бунина этот сюжет.
Может быть (чудится), веет над ним тень «Коляски».

Как бы там ни было, Гоголь смотрится здесь гоголевским персонажем.

Но у Бунина (кроме анекдота, сообщенного Ясинским) было и свое «рукопожатие», лично сближавшее его с Гоголем — услышанный в детстве рассказ гувернера, которому посчастливилось на приеме «в одном литературном доме» увидеть великого писателя.

Будущий бунинский гувернер, тогда еще совсем молодой человек, был потрясен случившимся — «точно увидел что-то сверхъестественное».

На Гоголе были необыкновенно широкие панталоны и очень узкой фрак. Он стоял в толпе, театрально закинув назад голову.

Из всего, что говорил Гоголь, в памяти осталась одна фраза: «смысл ее был таков, что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе».

Бунин хранил в душе рассказ гувернера как одно из сильных впечатлений детства.

Скорее всего, заново встреченный в старом журнале анекдот перекликнулся с этим рассказом, потребовал творческого воплощения.

Начало творчеству — «странные сближения» и «сопряжение далековатых понятий».

15

Теперь в подобных случаях принято цитировать: «Когда б вы знали, из какого сора...»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Тревожусь.

Безысходно тревожусь.

Самое безбожное дело.

Открыл Евангелие, где придется, выпало: разве можешь ты сам себе прибавить роста хоть на локоть?

Давно расту вниз, а всё тревожусь.

Кажется, Николай Гумилев говорил: не переставайте тревожиться. (Или: не уставайте?)

Тревожусь, не переставая.

Всегда находится причина для тревоги.

Или наоборот: тревожишься — и причина находится.

Не перестаю тревожиться.

Но — устаю.

Хочется убежать.

Хочется умереть.

И жить хочется.

Преимущества каждого состояния уравниваются имеющимися отдельными недостатками.

Ношу в душе осколок стекла, вроде того, в котором у Чехова отражается свет месяца (см. школьные учебники литературы).

Бунин заметил, что Чехов любит облака сравнивать с предметами.

Но я не про Чехова, я — про Бунина.

2

Бунин для меня «странно сближен» с Пресней.

Хотя (может быть, я ошибаюсь) биографически Бунина с Пресней ничего не связывало.

Бунин — это Арбат, ресторан «Прага», Тверская; в «Чистом понедельник» — соседние мои Красные ворота, Храм Христа Спасителя, Художественный театр.

3

Когда я говорю о Пресне, я имею в виду — топографически — не ту давнюю и дальнюю фабричную Пресню былых времен, которая в советские годы за революционные заслуги именовалась «Красной», не нынешнюю Пресню торговых центров, но Пресню, назовем, *ближнюю*, прижавшуюся теплым боком к Садовому кольцу.

При Пушкине место почиталось еще глухим, но он уже сюда наезжал. На Пресне жили сестры Ушаковы, Екатерина и Елизавета, — Пушкин с ними дружил, к Екатерине, похоже, питал серьезное чувство. В его стихах к ним осталось: «Ни муз, ни Пресни, ни харит», «В те дни, как Пресненское поле еще забор не заграждал»...

Ушаковы жили на Средней Пресненской улице.

В советское время ее переименовали в улицу Заморенова. В честь большевика местного значения, секретаря райкома партии.

В академическом издании Пушкина комментатор, известный ученый, но исконный петербуржец, поставил в примечании: Ушаковы жили на Средней Пресне на *Замореновой* улице.

4

У Давида Самойлова есть стихотворение: в третьем тысячелетии автор исторического романа позволяет себе кое-какие вольности, рассказывая о делах давно минувших дней, преданьях старины глубокой. Пушкин в серебристом автомобиле приезжает к Петру, чтобы прочесть царю «Медный всадник».

Стихотворение полнится прекрасной иронией, но оно передает также, что третье тысячелетие, до которого Давид Самойлов не дожил десяти лет всего, казалось нашему поколению непредставимо далеко. Оглянуться не успели — одну восьмидесятую тысячелетия уже прожили.

...В четвертом тысячелетии автор исторического романа напишет о том, как секретарь райкома, большевик Заморенов принимал в пионеры юную пушкинистку Катю Ушакову.

5

На этой *ближней* Пресне у меня свои заметы памяти и сердца.

6

В начале 19-го столетия, которое я неисправимо называю *прошлым*, здесь появился Зоологический сад, быстро ставший у москвичей одним из любимейших мест гуляния.

7

Я люблю читать и перечитывать, как Левин, завлеченный из деревни в Москву надеждой сделать предложение Кити, приходит искать ее на катке Зоологического сада. Как служитель («катальщик»), навинчивая ему на ногу каблук и конек, говорит, что после него, Левина, «никого из господ мастеров нету». Как знакомый кричит, приветствуя его: «А, первый русский конькобежец!». Как Левин катится без усилия, «как будто одною своею волей убыстряя,

укорачивая и направляя бег». Как он молится в душе, чтобы надежда его сбылась, «вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги».

8

Мой друг, страстный почитатель концептуализма, посмеиваясь надо мной, всегда припоминает именно это место романа. Левин, стараясь успокоиться, обращается к своему сердцу: «О чем ты? Чего ты? Молчи глупое», — ну, разве не смешно?..

Наверно, и правда, смешно.

Но я почему-то никогда не смеюсь, того более, всегда до слез волнуюсь, когда читаю эти строки.

9

На *ближней* Пресне, напротив Зоологического сада, прожил последние тринадцать лет один из самых долгих и верных моих спутников на земном пути Владимир Иванович Даль.

Успешно одолев службу военную и гражданскую, покончив с перемещениями по просторам отечества, оставив труды литературные, медицинские, этнографические, статистические, природо-ведческие и прочие, здесь отдался он главному от юности и до последнего дня делу своей жизни — созданию великого Словаря.

Первое издание выходило не книгами, а выпусками — по пятнадцати сфальцованных печатных листов в каждом.

Выпуск таким образом мог оборваться на полуфразе, даже на полуслове, с тем, что следующий начинался второй половиной.

В 1867 году явился на свет «Выпуск двадцать первый и последний».

Он открывался словом *вилка*. Но не потому, что алфавит нарушен. Данная *вилка* имеет пребывание в словарном гнезде «ХВОСТ». Даль, по своему обыкновению наполнять всякое гнездо словами и понятиями, перечисляет названия хвостов животных и птиц (к примеру: у коровы — *хлестун*, *махало*; у лошади — *навис*; у борзой собаки — *правило*; у гончей — *вьжлока*; у волка — *полено*; у лисы — *труба*, у медведя — *куцык* и проч., и проч.), наконец, у петуха и селезня — *косица*; у ласточки — *вилка*.

Выпуск двадцать первый и последний — от *вилки* этой до *ипостаси*, каковая писалась не с «И», а с «ИЖИЦЫ».

Словарь Даля не от «А» до «Я», а от «А» до «ИЖИЦЫ».

Дело жизни окончено, труд великий совершен, но объявление на обложке совершенно будничное: «Сим выпуском словарь окончен. Для взявших первые десять выпусков цена на последние остается та же, по одному рублю; первые ж выпуски в розницу не продаются; цена полная словарю, торговая 23 руб. 10 коп., а на дому у сочинителя (в Москве, у Пресненского мосту, дом Даля) 21 рубль»...

10

...Бунин энергично вошел в мою жизнь с *ближней Пресни* (где, если и случалось ему бывать, то, кажется, весьма редко).

На бывшей Средней Пресненской, уже переименованной в ул. Заморенова, — на *Замореновой* — жила литературовед Лера.

Лера была сильно старше меня, но с первой минуты знакомства потребовала, чтобы я называл ее только по имени.

На дворе стояло начало пятидесятых — только-только начинало светать.

11

Мы с Лерой (если вспомнить *реалиста* Писарева) «пробавлялись чистым платонизмом». Даже Платон бы удивился.

Что же до Вас.Вас.Розанова, он, узнай о наших отношениях, нас бы возненавидел.

Теперь уже никак не соображу, встречались ли мы одну зиму или, может быть, две, три, но мне чудится, что встречались мы непременно зимой.

Я приобрел в ту зиму фотоаппарат «Зоркий», — как и ФЭД, это было подобие советской «Лейки» — и в свободные часы ходил в Зоопарк (*Зоологический сад*) пробовать свои силы в фотоделе. Катка там уже не заливали.

Я сделал несколько сотен снимков, на которых запечатлены мутные зимние дни, заполненный летящим снегом воздух, белая земля под ногами и мерзнущие животные.

Мы встречались с Лерой в Зоопарке, дома у нее негде было: двухкомнатная квартира, старики-родители, какая-то родственница из Феодосии. (Был у Леры еще брат, художник, не то что бы известный, но и не вовсе безызвестный.)

На некоторых старых фотографиях той зимы (тех зим?) попадает Лера — маленькая, похожая на подростка, в запорошенной снегом шапке-ушанке.

Лера не любила снега: она красила ресницы, по ее широким мальчишеским скулам стекали черные полосы.

На фотографиях Лера почему-то часто оказывается рядом с верблюдом. Густая шерсть верблюда выбелена, как Лерино цигейковое пальцецо.

12

Однажды весной я забыл свой «Зоркий» в такси (спешил куда-то) и надолго прекратил баловство фотографией.

13

Лера писала кандидатскую диссертацию. Что-то о связях литературы с революционно-освободительным движением. Тема по тем временам считалась сложной, таила в себе идеологические ловушки. Лера жаловалась, что ей едва не на каждой странице приходится решать известную задачку про волка, козу и капусту.

14

Одним из научных консультантов Леры был известный профессор Б. Впрочем, не просто профессор — к тому же член двух академий, в одной из которых состоял членом действительным, а в другой — членом-корреспондентом.

Я не сомневался, что под его руководством Лера найдет ответ задачки, в данный момент единственно правильный

Поскольку правильность ответа всегда зависит от момента.

Абсолютная истина, учили нас, складывается из суммы относительных.

Иногда волку разрешают слопать козу, иногда — предлагают грызть капусту.

Профессор Б. был великий знаток того, какая истина подобает моменту.

Однажды я спросил его: «На протяжении четверти века вы, кажется, четыре раза писали о пушкинской “Полтаве”, и всякий раз оценивали поэму с новой, подчас даже противоположной, чем раньше, точки зрения».

Профессор Б. отвечал мне, новичку, с благодушием мастера: «Милый, но как же иначе? Наука ведь развивается. Когда я впервые писал о “Полтаве”, физики были убеждены, что атом состоит из ядра и электронов, а теперь, смотрите, что делается. Синхрофазотрон, элементарные частицы и всякая такая штука. Наука развивается, милый! Наука развивается!».

Много позже, еще четверть века спустя, профессор Б., уже пенсионер, добровольно примчался на конференцию, где «обсуждалась» брежневская «Малая земля» (многие рады бы уклониться — не удалось). Он сообщил с трибуны конференции, что лишь два творения русской литературы по масштабу мысли и совершенству слога сопоставимы с сочинением генсека (не им, добавим, написанным) — «Медный всадник» и «Война и мир».

Наука продолжала развиваться!..

Лидия Яковлевна Гинзбург записала по горячим следам:

«Выступая на созванной в институте конференции для канонизации художественной прозы Брежнева, Б. сравнивал эту прозу с пушкинской. Это в чистом виде действие социальных механизмов. Он знал, что <...> ему решительно ничего не угрожает, если он не сравнит Брежнева с Пушкиным и даже если вообще откажется выступать <...>.

Что же оно такое? — только сталинских времен привычка к бесстыдству. Страх искоренил стыд. Люди без защитных покровов, голые — и никто никого не стыдится».

А ведь было, было... Интересные мысли, неожиданные наблюдения, находки... Особенно в ранних работах. Да и позже, даже когда греб лопатой песок, в нем, в гуще подгнивших водорослей, вдруг высвечивались кусочки янтаря.

Но движение «в ногу со временем», с моментом, всё больше освобождало профессора от свободы видения, чувствования, думания, пропитывало его состав инфекцией этого страха и бесстыдства...

Я жалел профессора Б.: болезнь сделалась уже неизлечимой.

В пору хрущевской «оттепели» Б. захватил из общего воздуха живительного кислорода и написал книгу о мастерстве Пушкина. Какую (скажем так) двумя годами раньше писать бы не стал. Я читал рукопись — и диву давался: тут, там вдруг потянулись ввысь свежие ростки — эти самые мысли, наблюдения, находки.

Книге Б. предпослал вступительную «От автора».

Вступительная («От автора»!) начиналась так: «В приветствии Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Второму Всесоюзному съезду советских писателей сказано...» И следом — цитата: та самая навязшая в зубах пустая каша, которой десятилетия подряд забивали нам уши, рот, голову, душу.

Я сказал невежливо: «Мастерство Пушкина — это навсегда, а съезд писателей снова созовут через год-другой, и будет новое приветствие».

Б. поднес листок с текстом к глазам, укрытым за толстыми, в палец, стеклами очков, поводит им перед лицом, будто обнюхивая, — и цитату оставил.

Когда книга увидела свет, я с ужасом обнаружил на последней странице еще одну — заключающую! — цитату того же разбора, призывающая советских писателей писать хорошо. Цитату, а с ней и книгу о мастерстве Пушкина завершила монументальная указующая ссылка: «*Правда*», 1954, N 256/13189.

19

Можно написать комедию.

Но я бы написал — драму.

20

Лера, по указаниям консультантов, правила диссертацию, оснащала необходимыми цитатами.

Взамен момента истины ловила истину момента.

Поскуливала. «Глаза над буквами скользят, а мысли далеко...»

Она показывала рукой, как далеко мысли. Трех точек для этого в многоточии мало.

Далеко.....

«Вот, если бы...» — мечтала Лера.

Но, как в анекдоте, и в те годы уже не новом: *да кто ж ей даст!..*

21

Это я снова поворачиваю к Бунину.

22

Михаил Рощин вспоминает — как раз о времени, о котором веду речь:

«В Литинституте мы учились вместе с Юрием Казаковым. Именно я принес ему как-то Бунина, хотя сам, весьма начитанный московский юноша, лишь в 20 лет обнаружил, что есть такой писатель, настолько Бунин был в запрете. Казаков, как известно, еще более всю жизнь был “ушиблен” Буниным, собирался написать о нем книгу. К сожалению, не успел».

23

После войны в СССР была создана целая система по заманиванию Бунина обратно на родину.

Система серьезная: Министерство иностранных дел, Внешняя разведка, Союз писателей, конечно. Должностные лица, официальные и неофициальные представители разных рангов, легальные информанты и законспирированные «источники».

Но Бунин не в холодном раздумье (это — не его), но чутким осердеченным умом и столь же чутким умным сердцем великого художника понимал (чувствовал), что его возвращение в отечество — не через казенные мышеловки. Что оно неизбежно, исторически предопределено — *силой вещей*.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Лера сказала: «В Париже Бунин умер. Ночью по радио сообщили».

Я ночных известий то ли не слушал, то ли слушал и — *прослушал*.

Лера сказала: «Всё сообщение — пять (пять!) слов».

Но дело не в количестве слов. Я — внутренне прослушал. Душа не отозвалась.

Можно бы кивнуть на время (момент), конечно.

Вот ведь и Рошин.

И Казаков.

Но рядом со мной стояла Лера, в мальчишеской шапке-ушанке с оттопыренными наушниками, в потраченной, припорошенной снегом цигейке. В серых лериных глазах с подведенными ресницами томилась печаль потери. Я стоял перед женщиной как студент на экзамене, вытянувший не тот билет.

«Обречены с тобой мы оба // На грусть в сем мире лжи и зла...» — сказала Лера.

В эту минуту я еще не знал, что это — Бунин.

Что это — *грамматика любви*.

Лера впервые сказала мне «ты».

2

Мне повезло больше, чем Мише Рошину: у нас в институте Бунина, хоть и не «проходили», но всё же — упоминали. В обзорной лекции.

Один из тех, кто замыкал прославленную литературу века минувшего, чтобы с залпом «Авроры» (обращаюсь к символу) раствориться в неизвестности.

Бунин говорил, что в советской России его числят давно умершим. Всякое его слово, если встречаются, — посмертным.

Наша добрая преподавательница, стараясь, кажется, не пробудить в нас лишнего интереса, в своем обзоре кратко обозначила *идейный смысл* рассказа — «Антоновские яблоки».

Чтение текстов не предполагалось.

Да и где прочитать?

В библиотеке — поди получи.

В книжном магазине — в помине нет.

3

«...Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи,

тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип колес...»

Не прочитать такое — невосполнимая утрата в жизни.

Но, оказывается, можно и не читать. Лишь бы знать (не читая), что Бунин идеализировал уходящий в прошлое дворянский, помещичий быт, но, будучи реалистом, не мог не показать, что быт этот уходит в прошлое.

«...Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге...»

4

В яблоках Бунин толк знал.

Орловская губерния, где у Буниных родовое поместье, — яблочная.

По соседству, у Ивана Сергеевича Тургенева отменные яблоневые сады. Севернее, в Тульской губернии, — у Толстого Льва Николаевича (с которым отец Бунина встречался во время Крымской кампании в осажденном Севастополе) — тоже.

Бунинская генетика замешана на яблочном духе.

Уже за границей, подготавливая рассказ к переизданию, он снимает открывавшие текст исповедальные строки:

«...По вечерам я читаю старых поэтов, родных мне по быту, по душе и даже по местности — средней полосе России. А ящики моего письменного стола полны антоновскими яблоками, и здоровый аромат их — запах меда и осенней свежести — переносит меня в помещичьи усадьбы, в тот мир, который скудел, дробился, и теперь уже гибнет, о котором через пятьдесят лет будут знать только по нашим рассказам...»

5

«Антоновские яблоки» написаны тремя годами раньше чеховского «Вишневого сада».

Бунин и Чехов были уже хорошо знакомы.

Можно бы сказать, что они были *друзьями*, но в натуре того и другого была какая-то особенная сдержанность, обособленность, которая остерегает произнести это слово.

«Друзья Пушкина» почему-то легко выговаривается, «друзья Чехова» — труднее. «Друзья Бунина» — совсем трудно.

Бунин любил Чехова. Вряд ли кого любил он в жизни больше. Если вообще любил.

Его воспоминания «О Чехове» полнятся этой, единственной любовью.

В воспоминаниях приведен список лучших, по мнению Бунина, сочинений Чехова.

В списке только одна пьеса — «Чайка» («лучшая», «единственная»).

«...Пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него...»

6

К «Вишневному саду» отношение особенно неприязненное.

Он отказывает Чехову даже в знании материала.

Чехову, который неизменно покоряет, поражает его жизненным опытом, зоркостью глаз.

«...Называли последним из тех, которые *воспевали* погибающие дворянские гнезда, меня, а затем *воспел* погибшую красоту *вишневых садов* Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах, помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего *Вишневого сада*»...

«Вишневый сад» посягнул на территорию сада яблоневого. Который им, Буниным, уже утвержден как своего рода знак дворянской усадьбы.

«...Вопреки Чехову нигде не было в России садов *сплошь* вишневых: в помещичьих садах бывали только *части* садов, <...> где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, *как раз возле* господского дома...»

(Часть покушается на место целого.)

И (далее — больше) «ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно корявых, с мелкой листвой, с мелкими листочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре)».

Ни на одну другую не похожая страница книги воспоминаний — бунинского объяснения в любви.

А он уже разогнался — никак не остановится, насмешничает, до издевки.

Бунинская обидная неумная запальчивость известна.

7

И рядом — с осязаемым удовольствием приведенная чеховская надпись на даримой книге:

«Ивану Алексеевичу Бунину с восторгом и благоговением».

Не мог не почувствовать в словах Чехова улыбку, но чувствовал, что это — слова любви.

И (похоже, с гордостью) — надпись на фотографии:

«Милому Ивану Алексеевичу Бунину от коллеги».

8

Жена Бунина, Вера Николаевна, рассказывает: «В последний год жизни он почти лишился сна, — делал заметки на обрывках бумаги, иногда даже на папиросных коробках, — вспоминал беседы с Чеховым»...

9

...«Вот, — Лера протянула мне книгу, завернутую в серую грубую бумагу. — Из родительской библиотеки».

У Леры были большие серые глаза, обведенные зубчатой полоской сильно подведенных ресниц.

«Не разворачивай на улице, — сказала Лера. — Снег»...

Ну, конечно, я и тогда, шесть десятилетий назад видел эти Лерины глаза, но почему тогда не замечал их? Почему они не тревожили меня тогда, как тревожат сейчас?..

«Ресницы не потекли?» Она слегка приблизила ко мне лицо.

«Вот здесь немного».

«Сотри». Она вытянула из рукава платок.

Я старательно стер с ее скулы черную полоску.

Ну, конечно, я должен был поцеловать ее.

Почему тогда мне не пришло это в голову?

Я пишу, я вспоминаю, волнение душит меня, сжимает мне сердце. Я задыхаюсь, представляя себе этот поцелуй, которого не было...

10

Но может быть, это нарабатанная с возрастом и в трудах привычка думать и вспоминать сюжетами?..

11

Бунина сердил вопрос об автобиографизме сюжетов «Темных аллей».

Сюжеты были не то, что он пережил, а то, о чем он мечтал.

Иногда он объяснял грубее: сюжеты рассказов — размышления о *неиспользованных возможностях*.

Но когда из этих размышлений вырастают рассказы «Темных аллей», память о неиспользованных возможностях пресуществляется в *мечту*.

12

Книга была переплетена по-домашнему: простая ткань без тисненного или написанного по ней названия.

Она напоминала небольшой холст, которого еще не коснулась кисть живописца и потому таящего бесчисленное число неначатого.

Это был сборник — дореволюционного (конечно) издания — ранних бунинских рассказов.

На титульном листе, в самом верху, ясным и легким почерком, каким в мое время уже не писали, черными чернилами (с чуть зеленоватым оттенком), какими писали тоже уже в минувшие времена, было обозначено: «Изъ книгъ.....» — и Лерина фамилия.

Родительская библиотека.

Я, волнуясь, перекинул страницу...

13

«Таньке стало холодно, и она проснулась...»

Я проснулся вместе с Танькой и заново взглянул *около себя*.
В моей жизни начался Бунин...

Несколько лет спустя уже не щедрая Лерина рука — та самая *сила вещей* отворит дверь Бунину, возвращая его в отечество, в жизнь общую.

Двери еще долгие десятилетия будут скрипеть, отворяясь: «идейная ограниченность», «пессимизм», «отстранение от всякой партийности» (собственное бунинское признание), «ущербные настроения» и «антидемократические высказывания», ну, и, конечно же, «убыль творческой силы» и «моральный ущерб, нанесенный его литературному имени» оттого, что выбрал эмиграцию взамен «родины, ставшей советской» («реакционер, белоэмигрант»), — двери еще долго будут скрипеть, но — 1950-е едва перешагнут за середину — в приложении к официальнейшему и всенародно читаемому «Огоньку» начнут печатать, тиражом в четверть миллиона экземпляров, первое в СССР пятитомное собрание сочинений Бунина.

Помню особенное нервное воодушевление, пронизавшее в ту пору воздух под сводами редакции этих самых приложений. Хотя и не положено было до выхода в свет, там то и дело появлялись разные люди, чьи-то знакомые или всем известные, чтобы, не дожидаясь печати, тут же на месте, пусть бегло, наспех, пробежать, если позволят, в машинописи, в гранках, тот или другой текст, которым наделят. И Галя С., редактор, большая, красивая, эдакая молодая боярыня, счастливая от богатства, которое на нее свалилось, рискуя службой, *наделяла* — давала почитать.

Когда пошли «Темные аллеи», помню, сидел со стопкой полученных от Галки гранок в уголке за чьим-то незанятым столом, будто подхваченный потоком, весь там, в этих *аллеях*, не видя и не слыша ничего, что происходит вокруг.

С Лерой мы уже не встречались.

Той самой *зимой*, которая сохранилась на моих «зоологических» фотографиях, она вдруг исчезла.

Именно исчезла: была — и нет.

У меня даже остался на руках очередной, третий или четвертый по счету, томик в сером холстинковом переплете и с надписью «Изъ книгъ.....» на титульном листе.

Переждав какое-то время, я позвонил по телефону.

«А ее нет, и когда будет, неизвестно», — сообщил, или, точнее, ничего не сообщил мне стариковский тонкий голос.

Я испугался по привычке.

«Книга?.. — переспросил старик. — Что ж, будет время и охота, занесите. А то пока себе оставьте. Вам нужна, должно быть».

Года через два появилось огоньковское издание. Я водрузил на полку пять новых книг в светло-синем переплете, а Лерин томик, уступая вечной нехватке места, притулил позади, к стенке, да и позабыл о нем.

Какой-то случайный знакомый рассказал про Леру:

«Уехала куда-то на периферию. Вроде бы замуж вышла. Дама-то не первой молодости. Нашла кого-нибудь — и ффьють... Знаете, как у них, у женщин...»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нежданно получил письмо.

От женщины.

В последний раз мы виделись с ней более полувека назад.

Встречались раза два-три в доме общих знакомых.

Она носила не слишком принятые в те годы длинные юбки, предьявляя только лодыжки, — зато лодыжки тотчас удерживали взгляд: замечательной, просто музейной красотой.

Письму я обрадовался.

Замечено, что в старости из записной книжки всё чаще вычеркиваются прежде занесенные имена.

В моей записной книжке есть буквы (две), под которыми имен уже не осталось.

Фамилия женщины, приславшей письмо, как раз на одну из этих букв — я оценил редкую в старости возможность восстановить действующую страницу.

2

В письме женщина вспоминает наш *роман*.

Но романа не было.

Было доверительное (конечно же, тайно разогреваемое любовным) влечение друг к другу, которое может при случае перерасти в роман или заменяет его.

В гостях, после общего застолья мы уединялись в уголке на диване и негромко весьма откровенно беседовали на разные темы; всего больше каждый, понятно, говорил о себе самом.

Я не мог удержаться и то и дело посматривал на прекрасные лодыжки собеседницы, — она как-то так умело усаживалась, что они неустанно напоминали о себе.

3

Женщина между тем походя, будто нечто несомненное, пишет о том, как мы отправились однажды вдвоем к каким-то ее родственникам, имевшим дом на берегу канала Москва-Волга, неподалеку от Яхромы, и несколько дней собирали там бруснику.

За давностью лет у меня нет причины таиться, но такого никогда не бывало.

Женщина, вспоминая, выстроила сюжет вокруг неиспользованных возможностей.

Забавно, но я и в самом деле ездил однажды под Яхрому (в деревню Орево) собирать бруснику. Но не с этой женщиной ездил, а с Н. Это были безмятежно счастливые дни нашей жизни. Использованные возможности.

Женщина, автор письма, об этом, конечно, понятия не имеет. Но, выстраивая сюжет мечты, шестым чувством угодила в сюжет реальный и обосновалась в нем.

4

...Посылаю сигнал в бескрайние просторы Вселенной в надежде отыскать близкое уму и душе существо: открываю в компьютере всезнающий *Google* и набираю имя Леры.

Пока писал последние главы, Лера, давно забытая, стремительно и властно завладела, — нет, не памятью моей, — моим воображением. Несостоявшееся прошлое претворилось во мне почти физически ощущаемым вымечтанным настоящим. Я заново проживаю прожитое, но, Боже мой, как не схоже оно с тем давним, осевшим на неумелых фотографиях из Зоопарка.

Верблюд, почти непрременный персонаж фотографий, смотрит на меня с них (мне чудится), не скрывая насмешливого презрения.

5

Почему я ни разу не попытался даже поцеловать ее?..

Она стоит передо мной, похожая на подростка.

Распахнутая в ворота цигейка, шапка с не завязанными, торчащими в стороны ушами.

Невысокая, она смотрит на меня снизу вверх.

Когда говорит или слушает, смотрит мне прямо в глаза, — кажется даже, не мигая.

У нее прекрасные серые глаза (сейчас мне кажется, что я никогда больше в моей долгой жизни не видел таких). На скуле тонкая черная полоска от поплывшей ресницы. Лера вынимает из кармана платок, слюнявит кончик и просит меня стереть. Я осторожно вожу платком по ее щеке. (Когда сегодня я смотрю со стороны на себя тогдашнего, я понимаю презрение верблюда и со сжавшимся сердцем кричу себе: «Дурак! Дурак!».)

Но воспоминания не удерживают меня. Они тотчас перерабатываются в мечту.

Прошлое оборачивается настоящим, а от несбыточности — будущим.

Это в мои-то годы...

Совсем не помню, смуцал ли меня *тогда* Лерин возраст.
Сейчас мы оба стремительны, решительны, горячи, свободны.
 Молоды.
 Или, похоже, — вне возраста.

Google отчаянно метался по уголкам Вселенной в надежде выловить отзыв на мой сигнал.

«Мир ловил меня, но не поймал», — радовался, подводя итог жизни, давний философ. (Интернет в его время еще не был придуман.)

Лера вроде бы тоже укрылась надежно.

Но в наше время интернет уже придуман.

Я вспомнил про Лериного брата, художника, того самого, не слишком известного, но и не вовсе безвестного, и снова попытал счастья.

Брат-художник откликнулся несколькими строками *Википедии*.

Из них, кроме дат рождения и смерти, я узнал, что был художник пейзажистом, много путешествовал и обогатил отечественную живопись ландшафтами Дальнего Востока, Средней Азии и даже Крайнего Севера; про Леру, конечно же, ничего сказано не было.

Но к статейке оказался счастливо прицеплен текст воспоминаний сына художника (и тоже художника, но уже «заслуженного»).

Ознакомив читателей с разного рода любопытными сведениями о днях и трудах родителя, заслуженный сын завершает свой мемуар сообщением, которое я так жаждал найти.

Он пишет:

«Старшая сестра отца, Валерия, филолог, неожиданно отказалась от успешной научной карьеры и отправилась учительствовать в деревню. Она навсегда обосновалась в Нижегородской области, вблизи тех мест, где когда-то в небольшом имении, доставшемся по наследству ее матери, провела первые годы жизни. Там она уже в глубокой старости и закончила свое земное существование как раз на рубеже тысячелетий».

Вот такой «Чистый понедельник».

Хотя Лера до интернета дожила, мир ее, похоже, не поймал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Расстаюсь с Буниным (в пределах этого текста, разумеется) не на «сомнительной» для него Пресне, а в местах, ему свойственных: «Жил я на Арбате, рядом с рестораном “Прага”, в номерах “Столица”».

Здесь, совсем возле, из окна видать, с 1909 года, в течение с небольшим полувека, стоял андреевский памятник Гоголю, странный памятник, ни на какой другой не похожий, единственный, *по мне* несравнимо лучший из всех когда-либо воздвигнутых в России монументов: не памятник даже — некое *существо*, ибо не напоминает — *живет*, и на пьедестале — без имени, инициалов, эпитетов — ГОГОЛЬ, образ мира в слове явленный. Гоголь — и другой Гоголь.

2

Ты вновь создал.

3

Вас.Вас.Розанов — тогда же, в 1909-м, — по горячему следу отзывался: «Памятник хорош и не хорош; и очень хорош и очень не хорош...»

Поразмыслив, всё же назвал статью — «Отчего не удался памятник Гоголю?»

Но «не удался» здесь не *хорош* или *не хорош*.

Не удался потому что — *не мог удалться*.

Гоголь *невоплотим*.

4

Но в том-то и суть, что Андреев и создал *невоплотимого Гоголя*.
Его — *невоплотимость*.
Невоплотимость, которую «передать» невозможно.
Только — *вновь создать*.

5

Если рассматривать андреевскую скульптуру, постепенно обходя ее, видишь с изумлением, как непрерывно изменяется поза Гоголя, как разительно изменяется его лицо... И смех, и слезы, и величие, и надломленность, и пристальный острый взгляд, и погруженный в свою глубокую скорбную мысль опущенный долу взор.

«Видишь множество картин, изображающих одного и вместе разного Гоголя», — пусть несколько наивно заметил один из первых (на редкость пронизательных) зрителей:

6

Лев Толстой однажды сформулировал: «Человек текуч». Потом охотно повторял.

7

«Художник должен передать душу человека, а ему нужно лепить его задницу».

Тоже — Лев Толстой.

Он сказал это, осматривая андреевского Гоголя.

Художников и скульпторов Толстой навидался.

Андреев несколькими годами раньше тоже был в Ясной Поляне, лепил его.

Несмотря на то, что вокруг многие устно и печатно ругали памятник, Толстому он понравился. Он «понял, что художник хочет выразить».

8

Вокруг андреевского создания, так же, как вокруг самого Гоголя (1909 год — столетний юбилей), — в печати, в обществе, в ученых, литературных, партийных спорах и схватках шла непримиримая война.

Вместо того, чтобы обходить фигуру вокруг, каждый смотрел на нее со своей точки.

Не сознавал *цельность неуловимости*.

Текучести.

Андреевский Гоголь был слишком неожидан не только для тех, кто его не принимал, но и для тех, кто хвалил.

От такого Гоголя становилось не по себе.

9

«Когда взвился и слетел закрывавший его долго чехол, первое впечатление этой почти страшной фигуры, прислонившейся к грубой глыбе камня, точно ударило. Большинство ждало образа, к которому привыкло. И вместо этого явно трагическая, мрачная фигура, голова, втянутая в плечи, огромный, почти безобразящий лицо нос и взгляд — тяжелый, угрюмый, выдающий нечеловеческую скорбь. В сумерках и лунной ночью он будет прямо страшен, этот бронзовый великан на Арбатской площади, замерший в позе вечной думы...» (Из тогдашних газет).

10

«Если бы сейчас среди нас жил Гоголь, мы бы относились к нему так же, как большинство его современников: с жутью, с беспокойством и, вероятно, с неприязнью; непобедимой внутренней тревогой заражает этот единственный в своем роде человек, угрюмый, остроносый, больной и мнительный.

Источник этой тревоги — творческая мука, которой была жизнь Гоголя...

Только способный к восприятию нового в высшей мере, мог различить в нем новый нерожденный мир, который надлежало Гоголю явить людям».

Александр Блок написал это в те самые гоголевские юбилейные дни весной 1909-го.

11

Здесь и судьба самого Гоголя, и Гоголя андреевского.

«Образ, к которому привыкли...»

Но, как к самому Гоголю, так к Гоголю андреевскому привыкнуть невозможно.

В советское время, когда разноголосицу мнений сменила «единственно верная» догма, андреевский памятник сильно мозолил глаза.

Самого Гоголя, перетолковывая, укорачивая, как бы приручали, приноровляли под планку. Перекраивали в Гоголя, к которому привыкли или к которому хотели приучить.

Вспоминаю, как руководящее издательское лицо выговаривало автору книги о Гоголе: «Это не тот Гоголь, *который нам нужен*».

Но скульптуру не перетолкуешь, не укоротишь. Не приноровишь.

Памятник, кажется, особенно раздражал вождя, который, едва не ежедневно, проезжал мимо него своим арбатским маршрутом.

В роковом 1937-м, волею Сталина, андреевскому Гоголю был вынесен смертный приговор: без широкой огласки, «для специального пользования» издали сборник материалов по изготовлению нового памятника Н.В.Гоголю в Москве.

В обвинительном заключении сказано: «Образ великого русского писателя-реалиста трактован Андреевым глубоко (!) ошибочно в мистико-пессимистическом плане».

Приведение приговора в исполнение, хоть это и не в обычаях 1937 года, несколько затянулось (еще и война помешала). Только полтора десятилетия спустя на Арбатской площади появилась сработанная дежурным ваятелем советской эпохи Н.В.Томским скучная, не цепляющая ни ума, ни сердца, для всех привычная до совершенной незамечаемости фигура в крылатке, радостно прижимающая к груди томик собственных сочинений.

По-своему знаменательно: творение Андреева отметило столетие со дня рождения Гоголя, фигура, сработанная Томским, — столетие со дня смерти.

Андреевский Гоголь прожил на Арбатской площади как раз срок жизни самого Гоголя.

15

На пьедестале возведенной Томским фигуры — высочайше утвержденная (скорее даже — высочайше сочиненная) безликая и бездушная, как сама фигура, казенная резолюция: «Великому русскому художнику слова от правительства Советского Союза» (по-своему замечательно это — «от правительства»).

16

Гоголь, который *нам нужен*.

Не им — *по их мнению*, нужен.

Им никакой не нужен. Разве что строчка в очередном докладе: «Нам, товарищи, Гоголи и Щедрины нужны» — во множественном числе (бурные аплодисменты в зале).

17

До свержения монумента Андреев не дожил.

Хотел написать — «на его счастье». Не посмел.

У него мог быть свой счет.

Умер в славе.

Но эта финальная, как и посмертная официальная слава куплена не Гоголем.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Когда-то я писал книгу об Андрееве.

Не написал.

Я писал книгу о художнике, у которого будущее оказалось позади.

Гоголь андреевский — прорыв, иное миропостижение, открытие.

Непостижимость и неповторимость.

Повторять такого Гоголя бессмысленно, потому что невозможно.

Сделать нечто иное, сопоставимое, почти невозможно.

Андреев не смог.

2

Да и обстоятельства изменились — времени, места, соответственно, образа действий.

После революции появились интересные Герцен и Огарев, поставленные Андреевым возле здания Университета на Моховой. Мощный Островский, крепко усаженный перед входом в Малый театр.

(У меня свое пристрастие: небольшой — еще начала века — бюст Гааза во дворике бывшей больницы, где служил и жил святой доктор. Я проходил через этот дворик, сокращая и без того недальний путь от моего московского дома к Курскому вокзалу. На пьедестале знаменитое гаазовское: «Спешите делать добро». Здесь, в Германии, я навещаю в старинный, обнесенный крепостной стеной городок Мюнстерайфель: там на берегу узкой речки, протекающей посреди главной улицы, стоит небольшой дом, в котором двести с лишним лет назад родился доктор Гааз.)

Были хорошие, серьезные, интересные работы, но не явись в жизни и судьбе Андреева его Гоголь, — это совсем другой художник.

Книга, которую я хотел написать, был «не тот Андреев, который нам нужен».

Но я оставил ее не только поэтому.

После того, как я написал про Гоголя, всё остальное казалось пресно.

3

Биография Андреева, «который нам нужен», строилась как восходящая линия от «не нашего» Гоголя к работе над образом «нашего» Ленина и венчались круто взмывающей ввысь *Ленининой*, как бы вершинно итожащей жизнь и судьбу художника.

Андреев — великолепный мастер графического портрета. Один из лучших в русском искусстве.

Ленинана началась множеством натуральных набросков. (Счет не на десятки — на сотни.)

Андреев рисовал Ленина в рабочем кабинете, на различных заседаниях и собраниях, куда был допущен.

Биографы сообщают, что никакому другому художнику не было предоставлено возможности столь близко и долго изучать Владимира Ильича.

Ленин на рисунках стоит, сидит, идет, пишет, разговаривает, спорит.

Думает.

Выступает — Ленин на трибуне.

4

Интерес художника к Ленину можно понять.

Тем более, что и внешность вождя была выразительна.

У Пастернака:

Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет... И т.д.

То, что написал Пастернак, хорошо видно в старых кинохрониках. Небольшой человек на трибуне, раскачиваясь, как бы падает то в одну, то в другую сторону, делает выпады, нанося словесные удары.

5

Артист Борис Шукин, первый сыгравший Ленина, подробно расспрашивал людей, много общавшихся с вождем, собирал «по кусочку» его движения, жесты, мимику. На первых репетициях, пробах он показался некоторым чересчур эксцентричным, но эти самые свидетели, много с Лениным общавшиеся, находили его даже более, чем следует, сдержанным.

Внешность Ленина во всей ее подвижности и выразительности хорошо передают фотографии.

Снимали Ленина много.

Но это ничуть не мешало властям заботиться о живописных и скульптурных портретах вождя (вождей).

Мысль (устрашающая) о конце живописи, пламенем взметнувшаяся с первыми успехами фотографии, вскоре сама собой угасла. История обозначила фотографии свое место и свою роль среди искусств.

Ленин придумал план монументальной пропаганды: определили длинный список революционных деятелей прошлого и начали ставить им памятники. Многие делали наскоро, временные, из плохого материала, — они быстро разрушались (зато потом не пришлось сносить).

Живописные и скульптурные портреты вождя (вождей) тоже были монументальная пропаганда, важная часть общения власти с народом.

Рядом с Андреевым работал в Кремле ныне забытый художник Иван Пархоменко.

Его так и называли — «художник Кремля».

Добротный мастер (учился и у Н. Н. Ге), он был известен хорошо сработанными портретами видных писателей и политических деятелей.

До революции написал Блока, Бунина, Вяч. Иванова, Вас. Вас. Розанова.

Льва Николаевича Толстого тоже написал.

После Октября Луначарский нашел его где-то и поставил изготавливать портреты вождей, центральных и периферийных.

Ленин позировал ему, работая, прямо у себя в кабинете; того более, переходя из кабинета в зал заседаний совнаркома, брал его с собой, чтобы работа не прерывалась.

Пархоменко вспоминал, что оказался таким образом свидетелем весьма секретных совещаний, на которые даже не всякий из «верхов» был допущен.

Это была своего рода высокая оценка пропагандистской роли искусства.

(Позже, когда у вождей и с вождями начались сложности Пархоменко на несколько лет угодил в Бутырки; свою тюремную жизнь он сумел облегчить, делая портреты уголовных «авторитетов».)

Иван Пархоменко между прочим, хоть и безымянно, увековечил себя самым растиражированным изображением Ленина: нарисовал по фотографии детский его портрет, который поместили на октябрятской звездочке. Миллионы советских детей, поколение за поколением, носили значок-портрет на груди.

8

Вечность, впрочем, понятие относительное.

Некогда к какой-то круглой годовщине Октябрьской революции в Ялте на тесной площадке возле базара поставили невысокую вертикальную плиту, названную по-античному *стелой*. Текст на передней, гладко отполированной стороне плиты извещал население, что на памятную стелу *навечно* занесены победители социалистического соревнования в честь юбилея Октября, коллективы... Далее следовал перечень: ...Гастронома N 1, санатория «Шахтер». СМУ-5 и еще что-то в том же роде.

Шли годы, смертные люди пробегали мимо камня, не замечаемого приезжими и примелькавшегося старожилам. Новые победители соцсоревнований давно потеснили увековеченных. Стела понемногу трескалась и осыпалась, особенно сзади, где она не была отполирована и даже толком обколота и обтесана и напоминала оттопыренный женский зад. Наверно, и гастроном давно приватизирован, и санаторий сдан в аренду или выкуплен нынешними богачами, и строительное управление ликвидировано. А скорей всего и вовсе не существует ни гастронома, ни санатория, ни управления...

А стела — «навечно занесены» — стоит еще, со всех сторон оклеенная записками — объявлениями о купле-продаже всего, чего угодно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

О том, что Ленин охотно допускал художников делать его портреты, находим в воспоминаниях Юрия Анненкова. Ленин дал ему несколько сеансов по два часа каждый, любезно беседовал с мастером.

В одной из бесед он откровенно высказал знаменательное суждение, которое теперь нередко цитируют.

Всё же не могу удержаться и привожу его.

«Я, знаете, в искусстве не силен... Искусство для меня, это... что-то вроде интеллектуальной слепой кишки и, когда его пропагандистская роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! — вырежем. За ненадобностью. Впрочем, вы уж об этом поговорите с Луначарским, большой специалист. У него там даже какие-то идейки».

2

Опять же не удержусь («своя рубаха») и сообщу еще одно из записанных Анненковым откровений вождя.

Некогда *мой* Владимир Иванович Даль был оспорен, освистан и повсеместно осужден (один лишь Лев Толстой поддержал его) за статью, в которой посмел сказать, что от распространения грамотности без образования умственного и образования нравственного много пользы не прибудет. Противники Даля, очень на него сердясь, твердили прекрасные слова про «времечко», когда мужик «Белинского и Гоголя с базара принесет». Мало кто угадывал, что между времечком, мужиком и тем, что принесет он с базара, сопряжение неизмеримо более сложное, нежели представлялось в энтузиазме.

Ленин, не кивая приветливо в сторону Белинского и Гоголя, одним выпадом рапиры объяснил сентиментальным народолюбцам пользу грамотности без образования.

«Вообще к интеллигенции, как вы, наверно, знаете, я большой симпатии не питаю, и наш лозунг *ликвидировать безграмотность* отнюдь не следует понимать, как стремление к народождению новой

интеллигенции, — объяснил он Анненкову. — *Ликвидировать безграмотность* следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель — вполне практическая. Только и всего...»

3

Оба суждения, по существу, — об одном и том же.
Портрет Ленина — та же «пропаганда», что декрет.
Большого ни от искусства, ни от грамотности не требуется.

4

Андреев с годами, если и не принимал ни умом, ни чувством, то профессиональным чутьем угадывал установку.

5

От графики он, конечно же, перешел к скульптуре.
Лениниана, в особенности после смерти вождя, стала для Андреева чем-то вроде профессии в профессии.
Пропагандистская роль искусства в стране не то, что не кончалась, — набирала силу.
Статуи, бюсты, памятники требовались во множестве.

6

Скульптурные работы *Ленинианы* принято обобщать в три группы: «Ленин за работой», «Ленин на трибуне», «Ленин — вождь».

Именно в таком порядке.

По официальной табели о рангах это было восхождение.

От социалистического реализма, к которому пришел художник, завершая свой путь *Ленинианой*, — к вершинам социалистического реализма.

Главная задача которого (цитирую справочник) «изображать грандиозные процессы и явления настоящего».

Об этом и предлагалось писать (и писали), когда в статьях и книгах вели речь о скульпторе Николае Андреевиче Андрееве.

Но писать об этом не хотелось.

Это был путь вверх по лестнице, ведущей вниз.

Чем «выше» от «Ленина за работой» (обычно — пишущего) к «Ленину — вождю», тем меньше жизни. Тем меньше живого Ленина и (скажем так) живого мастера: чувства, волнения, которое увлекало его когда-то при встрече с оригиналом.

Обобщение (*грандиозное*) оборачивалось безликостью.

И *дух*, и даже *задница* (по терминологии Льва Толстого) заменялись набором узнаваемых примет: жест руки, «ленинский огромный лоб» (или — фуражка, которая могла быть и в руке), борода и проч.

Кто рассматривает памятник Ленину на городской площади, в помещении вокзала, дворца культуры или иного общественного здания?

Вместо того чтобы тревожить память, а с нею чувство, мысль, такой памятник растворяется в окружающей обстановке.

Вывеска, витрина, афишная тумба, не говоря уже об уличных часах, неизмеримо чаще привлекают наш внимательный взгляд.

Андреев сделал около ста скульптурных памятников Ленину.

В его бумагах сохранились письменные указания, которые он давал своим помощникам: голова N 18 на корпус N 7.

Что-то вроде.

У меня нет при себе моих архивных тетрадей — в номерах могу ошибаться.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Ходили слухи, будто андреевского Гоголя уничтожили, но оказалось, нашлись добрые люди: сокрыли от всевидящих очей на кладбище Донского монастыря (на бездействующем — бездействующем), где тайком пережидали злое время и некоторые иные неугодные властям создания отечественной скульптуры.

Семь лет спустя, в пору «оттепели» и реабилитаций Гоголя возвратили по амнистии в центр столицы и определили ему местом

жительства — неподалеку от Арбатской площади, где монумент был установлен когда-то, — маленький замкнутый дворик дома, в котором умер великий писатель.

2

Однажды, уже в восьмидесятые, поздно ночью, возвращаясь откуда-то, мы с Юрой Овсянниковым, моим другом, писателем и издателем, поднимались по Гоголевскому бульвару к Арбатской площади — и вдруг застыли в недоумении. Высокий постамент «от советского правительства», где, предполагалось, обязан неотлучно находиться «великий русский художник слова», был пуст.

Сюжет совершенно гоголевский.

Мы подошли ближе. Фигуру, то ли для профилактики, то ли для ремонта, сняли с пьедестала. Почему-то маленькая, жалкая, обмотанная рваными тряпками, утратив заказной оптимизм «нужного нам», она уныло торчала на площадке.

Хотелось смеяться — и не смеялось.

Такое убожество.

«Заглянем теперь к твоему Андрееву, покурим там на скамеечке...» — предложил Юра.

3

Редко замечаемый с улицы торопливыми пешеходами, андреевский Гоголь манит к себе тех, кто знает о нем. Назначение его как бы переменилось: теперь не толпа (как некогда на площади) общается с ним — каждый общается один на один. Сюда, в уединенность, отгороженность тесного дворика, кажется, заполненного молчаливой тревожной думой, излучаемой монументом, человек приходит — вырывается, прерывается — в столь необходимый в жизни каждого час, когда среди «деловой» суеты настагает его неодолимая потребность остановиться, оглядеться — одуматься...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

«И поставил Авраам семь агниц из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: на что здесь сии семь агниц, которых

ты поставил особо? (Авраам) сказал: семь агниц сих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому он и назвал сие место: Вирсавия»...

Вирсавия = Беер Шева = Колодец семи (или: Колодец клятвы).
Начало библейской Истории: Книга Бытие, глава 21.

2

Я впервые попал в Израиль в начале 1989 года.

Дипломатические отношения еще не восстановлены, но эмиграция — полным ходом, и в гости по приглашению пускают.

3

В Беер Шеву я приехал вечером.

Утром, только рассвело, отправился искать этот самый Колодец Авраама.

Родственники, у которых я переночевал, о Колодце ничего не знали. Или, может быть, забыли.

Они переселились в Израиль уже давно, большинство — вообще тамошние уроженцы; жизнь непростая: работа, заботы, дети, дом в кредит, коммунальные платежи и проч. — какой Колодец!..

Улицы были пустынные, как пустыня, посреди которой стоит город.

Суббота, день седьмой: «в этот день не совершал Бог никакой из работ Своих, которыми занимался прежде и которые намеревался совершить после того».

Первый встречный, который мне попался, был заведомо из наших — свежий советский переселенец, не израильтанин.

Я понял это еще издали, как только его увидел.

На нем были синие с белыми лампасами — динамовские — тренировочные штаны и белая майка без рукавов, в них не заправленная.

Но дело не в лампасах, не одежде: может быть, в том, как ее носят, в походке, в жестах, в выражении лица, а, может быть, не только в этом, или вообще не в этом, а в ином чем-то, что я не умею передать в словах. Просто: мы — узнаваемы.

Мы — узнаваемы.

Вот и он тотчас — тоже издали — узнал меня и, приблизившись, поинтересовался — по-русски, — не найдется ли закурить.

«Я тогда две возьму, — сообщил он, ковыряя пальцем в протянутой пачке. — Такое царство гребаное: в шабат не то, что сигареты, дыма не сыщешь».

Я спросил про Колодец.

«А у меня — водопровод»,

И — засмеялся.

Это он пошутил.

Солнце пекло всё жарче. Небо, сначала яркое, быстро теряло цвет, наливаясь зноем.

Я прошел еще два квартала и увидел старика, араба или бедуина, — он погонял палочкой осла с переброшенной через спину поклажей в полосатом матрасном мешке. Возможно, старик был не старше меня, но очень уж сверкала седина бороды и усов на его смуглом, изрезанном морщинами лице. Голова старика была обмотана клетчатой кефией.

В наказание за дерзкую попытку наших предков возвести Вавилонскую башню, Бог наказал нас со стариком неспособностью словесного общения («Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого»).

Я жестом остановил старика, так же, жестом, показал, будто пью из поднесенного двумя руками к лицу ведра, и на всякий случай прибавил: «Авраам».

Вспомнил про Вавилонскую башню — и поправился: «Ибрагим».

Старик смотрел на меня, будто меня не видя, будто перед ним ничего и не было. Крушение башни разобщило не только языки. Стоя рядом со мной, старик как бы обитал в ином пространстве. Я был ему неинтересен.

Он отмахнулся от меня скучным движением, каким отгоняют дым.

Мне было всё равно, куда идти. Я направился в ту сторону, куда, отгоняя меня, как бы указал старик.

4

Я свернул на какую-то улицу.

В отдалении темнела и шевелилась толпа.

Стояли автобусы.

Я предположил неведомый мне местный обычай устраивать рано утром свадьбу. Или — назначать похороны.

Я приблизился.

Это был Колодец Авраама.

5

Колодец был отгорожен от улицы железной оградой.

Он, как выяснилось, находился во дворе какого-то ресторана. Ворота во двор по случаю раннего часа (тем более — суббота) были закрыты.

Национально-историческое чувство во мне возмутилось смешением библейского, высокого и будничного, низкого. Хотя самого Авраама такое соседство, скорей всего, вполне бы устроило: Бог, как известно, «расплодил» Авраама, сделал отцом «множества народов», и всех надо было кормить.

Помню, у меня даже явилась мысль написать протест (тогдашнему) премьер-министру Израиля Шамиру; но у него и без того были какие-то сложности, я решил не донимать его лишними проблемами.

6

Люди — человек около ста, — густой толпой прижимавшиеся к ограде ресторана, все были японцы, вооруженные фотоаппаратами. Уступая один другому место, они просовывали объективы камер между прутьями решетки. Многие для удобства съемки взобрались на бетонированное ее основание. Некоторые, казалось, карабкаются, цепляясь за прутья, еще выше и, того гляди, вот-вот вообще перемахнут через ограду.

Всё это напоминало лихо выдуманную Эйзенштейном сцену, которую со временем стали считать документальной: ночью 25 октября 1917-го революционные матросы и красногвардейцы, штурмуя Зимний, взлетают на решетчатые ворота арки Генерального штаба.

Вдруг, в мановение ока, всё вокруг опустело. По какому-то сигналу, мною незамеченному, японцы бросились к автобусам, зашумели моторы, — только бензиновый дымок остался на память от недавних гостей.

Так стая перелетных птиц, прерывая путь, опускается в неведомо кем предназначенном для них месте: птицы тотчас плотно облепляют деревья и кровли, шумят, галдят, возятся, занятые своими неотложными заботами, — и вдруг, по неуловимому нами сигналу, разом взмывают в небо, и вот уже черная тучка, быстро уменьшаясь в размерах, устремляется к горизонту.

7

Передо мной лежал пустой прямоугольник двора; низенькое заграждение помечало яму колодца, над ней, на опорах, высилось полуразрушенное колесо ворота, контуром напоминавшее подъемник на старинной шахте.

8

Говорят, японцы фотографируют больше всех остальных обитающих на нашей планете народов.

9

В Гейдельберге я, наверно, битый час не мог пристроиться, чтобы схватить в объектив старый замок, «самые знаменитые руины Германии», как его именуют.

Не помню, удалось ли в конце концов схватить, как хотелось.

Замок стоит на горе над городом.

В некотором отдалении от него природа даровала фотолюбителям весьма обширную площадку, откуда знаменитые руины можно запечатлеть во всем их могуществе.

Площадку плотно заполняли японцы.

Они накатывали волнами. Одна волна отступала, и на ее место тотчас устремлялась другая.

Японцы снимали замок, друг друга в разных сочетаниях на фоне замка, наконец, сменяясь, всю группу, опять же, конечно, на его фоне.

То и дело появлялись многолюдные свадебные группы с женихом в черном фраке и невестой в белом платье... В Москве молодожены отправляются к могиле Неизвестного солдата, в Киеве — к памятнику Богдана, а тут, надо же, мальчик из Киото и девочка

из Осака вместе с родными и близкими преодолевают в паломничестве полсвета, чтобы удостоверить брачный союз фотографией перед гейдельбергскими руинами.

Повсюду на площадке звучала японская речь с ее странной певучестью и кажущейся непривычному уху неоконченностью фраз.

В волнообразном движении групп, повторяющемся ритуале фотографирования было что-то конвейероподобное, индустриальное.

Я не знал тогда, что это своего рода «хадж». Что гейдельбергский замок — едва ли не самая почитаемая японцами, едва ли не самая привлекательная для них европейская достопримечательность, обязательную встречу с которой необходимо увековечить с помощью фотообъектива.

10

Моя добрая приятельница, японка, тоже часто присылает мне в письмах фотографии.

Портреты. Виды. Интерьеры. Исторические достопримечательности,

Фотографии в ее письмах часто не сами по себе и не иллюстрация к тексту, а часть текста, продолжение его.

(В литературе схожую роль фотография играет у В.Г. Зебальда.)

Иногда текст письма японки так же естественно перемежается стихами.

Такими, например:

Я на небо взглянула:
Ведь дождик уже перестал,
Отчего эти звуки?
Всё просто: сквозь тучи сочась,
Лунный свет обращается в капли.

Это: Идзуми-Сикибу, жившая в конце десятого — начале одиннадцатого столетий. (Перевод Виктора Сановича.)

11

«Вы спрашиваете, зачем люди фотографируют и фотографируются, — пишет моя японская приятельница. — Ну, для то-

го, наверно, чтобы поделиться впечатлениями с родными и знакомыми. Чтобы надолго сохранить свежими собственные воспоминания. Чтобы согреть душу в старости, пересматривая давние фотографии. Чтобы оставить для потомков своего рода историю семьи».

Цель, к которой стремишься (осознанно или неосознанно), когда всего-то нажимаешь на спусковую кнопку аппарата, набирает масштаб и, наконец, сопрягается с историей.

С — Историей.

12

Такая цель непременно предполагает культуру рассматривания.

По крайней мере — привычку к нему.

Альбомы.

Время, которое не жалко потратить на рассматривание.

Интерес.

История фотоальбомов — тоже история.

Тоже — История.

13

Семейные альбомы прошлого столетия (понемногу привыкаю называть мое столетие — прошлым) можно купить в Берлине (и не только) на блошином рынке, Flohmarkt'e.

Истории семьи (фрагменты Истории) продаются здесь вместе с другими ненужными владельцу, старыми и вышедшими из употребления вещами.

Просят недорого.

Побольше, конечно, чем за поношенные джинсы, но несопоставимо меньше, чем за старинную пивную кружку или барометр в медном футляре.

Мой друг, художник Вадим Захаров собирает такие альбомы.

Если рассматривать их внимательно и любовно и дать при этом простор воображению, поневоле становишься автором своего рода саги.

Иногда надписи на обороте фотографий подсказывают имена героев.

Людей моего поколения в гостях еще развлекали, часами показывая семейные альбомы и вспоминая при этом разного рода события, связанные с возникновением того или иного снимка.

А в давнее время, которое еще в полной мере застали мои родители, тяжелые альбомы в бархатных переплетах лежали на столике в приемной зубного врача.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Интерес к альбомам у нас, россиян, обострился, когда гражданам стали разрешать туристские поездки за границу. Мы жадно рассматривали фотографии, привезенные знакомыми откуда-нибудь из Болгарии или ГДР. Человек, пересекший границу отечества, был для нас, тогдашних россиян, казалось, отмечен знаком какого-то достоинства. Так оно и есть. Пересечение границы неизбежно отзывается вызреванием чувства внутренней освобожденности.

2

Пушкин — в «Путешествии в Арзрум»:

« ... “Вот и Арапчай”, — сказал мне казак. Арапчай! наша граница! Это стоило Аарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня нечто таинственное; с детских лет путешествия были моею любимую мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё еще находился в России».

3

Пушкин был совсем невыездной.

Даже на поездку из Петербурга в Москву ему требовалось разрешение.

Просился у царя в Италию, во Францию, даже в Китай, — не пустили.

В Полтаву попросился, повидаться с Николаем Раевским, — и в Полтаву не пустили.

Известный пушкинист М.А.Цявловский писал о тоске Пушкина по чужбине.

На Кавказский театр войны, в Арзрум, он уехал, не спросясь.

4

Когда я был в Израиле, меня нашел там Натан: «Я звоню тебе из Милана».

(Перед моим отъездом — «Расстаемся надолго. Всякое бывает» — взял у меня телефон израильских хозяев.)

Нежданно услышав в трубке его голос, я испугался: «Случилось что-нибудь?»

«Конечно, случилось. Еще как — случилось! Я звоню тебе из Милана!».

«Что случилось?»

«Как — что? В самом деле — не понимаешь? Я — звоню — тебе — в Иерусалим — из Милана!»

5

До последних советских лет Натан Эйдельман был невыездной.

Совсем невыездной.

Как глубоко и преданно любимый им Пушкин.

Огромный ум Натана, проницательное понимание происходящего, трудный опыт советской жизни не мешали ему, по-своему, оставаться наивным.

Наивность совместна с высокой и чистой душой.

Он писал прошения руководителям Союза писателей — подробно перечислял, какие счастливые находки возможны в том или ином европейском и американском архиве. Он был искренно убежден, что сокровища, которые он предполагал добыть и привезти в отечество, однажды окажутся для писательского начальства дороже мнения спецслужб и «первого отдела». Ему отвечали отказом или не отвечали вовсе.

На другой берег (он любил эту формулу — с другого берега)
Натана вынесла не милость властей.

Свободу даровала ему опять же — сила вещей.

Определение, сродное Пушкину и любимое Натаном.

«И скоро силою вещей // Мы очутились в Париже...»

В Париже Натан, кажется, не очутился. Не помню уже. Кажется — не успел.

Он вырвался впервые из пределов необъятной России едва ли не в те самые весенние дни 1989 года, о которых я рассказываю.

Может быть, я слегка ошибаюсь в датах. Время у Натана было настолько творчески заполнено, что трудно укладывается в привычное летосчисление.

Но что точно — времени у него оставалось мало.

В последние дни осени того же года Натан отправился в свое последнее путешествие.

Он лежал на больничной койке; в его руке был том Пушкина, открытый на стихотворении «Андрей Шенье»...

6

Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь.....

7

Натан говорил друзьям, что умрет пятидесяти девяти лет.

В датах он никогда не ошибался.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Апрель, а холодно.

Улыбчивые прогнозисты на телеэкране называют зиму бесконечной и тепла не обещают.

Поднимаю взгляд от компьютера, смотрю в окно, чтобы сверить то, что там происходит, с тем, что пишу,

За оконным стеклом лениво летают белые мухи.

Я пишу медленно (о чем сожалею), — может быть, к тому времени, когда я буду заканчивать эту главу, на дворе возьмется уже хозяйничать весна, береза под окном оденется зеленью.

«Смотри, как листьям молодым стоят обвеяны березы...» (Тютчев).

Но — пока не обвеяны.

Ветки по-зимнему черные, жесткие; цвет воздуха не густеет в ветвях предвестием весны.

2

Японская приятельница, желая скрасить мое ожидание, прислала мне танку:

Там, где фиалки цветут, —
У жаворонка в опочивальне
Попросила ночлег,
И так ей в полях полюбилось,
Что весна там все дни проводит.

Фудзивара-но Тэйка, автор стихотворения, окончил свои земные дни за пятьсот шестьдесят два года до рождения Тютчева.

3

Наша переписка началась семь лет назад.

Вначале, довольно долго, мы пользовались услугами обычной почты.

Я доставал из почтового ящика непохожие на остальные конверты с красивыми марками.

На марках чаще всего были изображены цветы, для европейского глаза несколько необычные.

(Я тоже выбирал покрасивее.)

Иногда письма были даже написаны — от руки.

Как юные влюбленные поначалу убеждают друг друга в необходимости хранить невинность, так и мы старательно находили до-

воды в пользу обычной почтовой переписки: личность пишущего, стиль передаются и раскрываются в ней несопоставимо полнее, нежели в виртуальных каблограммах.

И, как у юных возлюбленных, достаточно было только один раз — преступить.

4

Что-то вдруг срочно понадобилось — спросить, сообщить.

Спешно.

По делу.

И снова — по делу. Спешно...

Еще какое-то время уговаривали каждый сами себя и друг друга, что компьютер для нас лишь приложение, деловая необходимость, что главное по-прежнему эти исписанные листы, эти конверты, марки, но соблазн века уже властвовал в нашем составе.

5

Я уже умею обходиться без конверта и марок, по которым, признаюсь, всё же ещё скучаю, как скучаю по сложенному вчетверо листу бумаги, который извлекаю из конверта и, волнуясь, разворачиваю. Который не отделен от меня стеклом экрана. Который держу в руках и оттого он становится продолжением меня самого, как говорил Шкловский о своих ботинках.

Я уже привык к тому, что фотографии (вокруг меня, по крайней мере) почти перестали хранить в альбомах, что они обитают в каком-то непонятном мне, реально как бы отсутствующем пространстве, откуда нажатием клавиши их можно вызвать на экран любого компьютера, даже если компьютер находится в другом полушарии.

6

Я не ворчу и не жалуясь.

Наверно, я немного печалюсь о Времени, которое стремительно от меня убегает (или: я из него убегаю).

О мире, который становится для меня всё более незнакомым, для которого я становлюсь всё более чужим.

О словах, которые не успею сказать, а, если скажу, которые мало кто услышит.

Я не жалеюсь.

Я радуюсь.

Радуюсь, что сейчас, среди ночи, переключу программу и увижу плетения иероглифов, обозначающих имя и адрес отправителя: это моя японка в круговращении уже подступающего у них к середине нового дня приветливо стучится в мой компьютер.

Она обладает прекрасной способностью как-то явить себя, не утратить и в нескольких строках электронной записки.

Выбор слов.

Душевная наполненность.

И по-прежнему — стихи.

Ему бы смотреть
Зорко за полем созревшим,
Жильцу шалаша...
Он же всматривается: о, как близко
Гуси над ним кричат...

Фотография.

Белесое небо и темное облако сквозь переплетение ветвей. Бурый, кристаллически оgranенный камень. Высокая желтая трава. Странные белые и бледно-лиловые цветы.

То ли выхваченный из необозримого пространства фрагмент необыкновенной, неведомой моему глазу природы. То ли внимательно запечатленный уголок сельского двора.

Может быть, и то, и другое.

К изображению должна быть приложена японская культура рассматривания (о которой я упоминал).

Не знаю, как нынче, но еще недавно (помню, где-то это вычитал) японцы умели часами сосредоточенно сидеть перед одной-

единственной фотографией, картиной, картинкой, пронизательно постигая подробности и осмысляя целое, до малой частицы вбирая ее в себя и одновременно в нее погружаясь.

При таком рассматривании уголок двора открывается необозримым пространством природы, а природа воплощает себя в укромном уголке двора.

11

Не исключено, что такая способность рассматривания ныне утрачивается.

Картинка в компьютере не то что картинка сама по себе: компьютер во многом берет на себя ведущую роль в процессе рассматривания. Мысль о тысячах самых разных изображений, которыми набит плоский ящичек ноутбука или лэптопа, отнимает у каждой данной картинки уникальность единичности. Возможность корректировать изображение мешает беспредельно уверовать в его законченность. Да и поверхность экрана совсем не то, что поверхность холста или бумаги (даже фотобумаги). В ней нет тепла. Тепла материала. И тепла прикосновения человеческих рук. И тепла, обретенного хождением среди людей, общением с ними.

12

Я не посылаю моей японке ответных картинок.

Я давно не фотографирую, а внуки не слишком щедро запускают меня в кладовые своих лэптопов.

Добавлю также, что, к стыду своему, я всё никак не научусь переправлять фотографии по компьютеру.

13

В ответ на ее письмо я только что набрал несколько строк тоже старинных — наших, российских — виршей, которые, того не замечая, часто бормочу сам себе. Вирши эти и смешат меня, и вместе неизменно меня трогают.

14

Худо тому жити,
Кто хулит любовь.
Век ему тужити,
Утирая бровь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

В своих воспоминаниях Софья Андреевна Толстая под 1860 годом записала:

«Когда мне было лет 16–17, привез нам какой-то студент-грек Кукули фотографический аппарат. Тогда фотография была очень сложная. Надо было стекло обливать коллодиумом, потом класть в серебряную ванну, укреплять сулемой, сушить; и то же надо было проделывать с альбуминной бумагой. Этот Кукули, который не играл никакой роли в нашей жизни, был скучен и молчалив, научил меня фотографировать, оставил мне свой аппарат и уехал. Я всё лето страстно увлекалась фотографией... и бросила это занятие, потому что начала писать свою первую повесть».

(Сообщаю об этом потому, что Софья Андреевна таким образом оказалась среди первых, или, скажем, ранних отечественных фотолюбителей.)

Скучный, молчаливый Кукули (даже имени не сохранилось) свою роль в жизни Толстых сыграл.

Имеется хорошая по переданному выражению фотография Льва Николаевича 1862 года, на которой рукой Софьи Андреевны помечено: «Самь себя сняль». Автофотопортрет, опять же согласно помете на бланке, сделан в Ясной Поляне. Таким образом, отправляясь тотчас после свадьбы на постоянное жительство в деревню, среди самых необходимых вещей захватили и «фотографию».

Помощь Льву Николаевичу в его трудах, семейные, материнские, домашние заботы, самые разные, которые смело возложила на себя Софья Андреевна, надолго отвлекли ее от трудного и увлекательного занятия. Она вернулась к нему четверть века спустя и, начиная с 1890-х, систематически и настойчиво (как ей было свойственно) фотографировала Толстого.

Конечно, и аппаратура, и технология обработки снимков были уже другие.

Все новшества и тонкости дела Софья Андреевна постигала сама. Природа наделила ее способностью (обозначая формулой В. И. Даля: он так о себе говорил), «зацеплять всякое знание, какое встретиться на пути».

В начале девятисотых постоянно фотографировать Толстого начал и Владимир Григорьевич Чертков.

Он взял себе в помощники профессионального фотографа, англичанина Томаса Тапсея.

Чертков работал с новейшими тогдашними аппаратами.

Они позволяли делать быстрые — моментальные — снимки.

Чертков придумал: делать скрытой камерой несколько портретных снимков подряд.

Получалась своего рода «лента»: видишь, как непрерывно меняется замечательно выразительное лицо Толстого.

«Где бы он ни появился, тотчас выступает во всеоружии нравственный мир человека, и нет больше места никаким низменным житейским интересам», — это у Репина об особенной «обуревающей» толстовской атмосфере.

И у Вас.Вас.Розанова — о встрече с Толстым: «Я видел перед собою горящего человека с внутренним шумом, бесконечным интересующегося, бесконечным владевшего, о веренице бесконечных вопросов думающего».

Это передалось в чертковских «лентах».

Последний прижизненный снимок Толстого сделан Софьей Андреевной 23 сентября 1910 года.

Сорок восьмая годовщина их совместной жизни.

Софья Андреевна завела правило в этот день фотографироваться вдвоем с Львом Николаевичем.

Выбирала место, наводила аппарат, назначала экспозицию и — становилась рядом.

Кто-нибудь из присутствующих по ее счету закрывал объектив.

Она будто хотела удержать на фотографии то, что жизнь уже развела и разводила всё дальше.

Для фотографирования Софья Андреевна надевала белое платье.

Лев Николаевич на снимках мрачен, отчужден.

В 1910 году фотография, сделанная день в день, вообще не получилась.

Два дня спустя Софья Андреевна захотела повторить.

В «Дневнике для одного себя» Толстой пометил: «Опять просьба стоять для фотографии в позе любящих супругов. Я согласился, и всё время стыдно».

Софья Андреевна на снимке стоит, прижавшись к Льву Николаевичу плечом, держит в руке его большую руку, хорошо улыбается.

Но на обороте снимка написала коротко и страшно: «Не удержишь».

О чем она думала? Что предчувствовала?

А жить Льву Толстому оставалось сорок два дня.

Не удержишь...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

Сижу с правнучкой.

Все поразбежались, кто куда, — оставили нас вдвоем.

Правнучке пятый год.

Смышленная.

Со мной ей скучно

Я не умею занять ее.

С внуками (у меня их пять) я всегда находил, о чем поговорить, чем заняться.

Я находил в них пространство и время для продолжения себя.

Я отдавал им то, чего не додал их родителям, то, чем сам не успел овладеть.

Внуки ощущались как мое продвижение в будущее.

Правнучка — это явление будущего ко мне.

Века, в котором меня не будет. Уже нет.

Внуки — наследники.

Правнучка — вестник.

2

От нечего делать правнучка без конца фотографирует меня, держа в руке мобильный телефон.

Я погружен в свои мысли, или вовсе ни о чем не думаю. Она застаёт меня врасплох: наверно, я получаюсь смешным, нелепым, девочка смотрит на экран аппарата — и заливается смехом; мне она изображений не показывает.

А для меня смешна и нелепа — и вместе полнится какой-то тайной грустью — сама ситуация: фотографирование телефонной трубкой.

3

Я еще помню время, когда телефон был не расхожим, самоценным предметом. Не говорю о провинции, и в Москве-то у большинства горожан его еще не было. Домашний телефон был признаком социальной значимости или просто везения. Наш дом, например, был построен в конце двадцатых и сразу телефонизирован. (Приятель отца, старый хирург, обитавший в доме по соседству, с извинениями заходил к нам, когда случалась острая необходимость позвонить; иногда нам звонили из его клиники с просьбой срочно передать что-то.) Чтобы позвонить к нам, надо было снять трубку с рычага, дождаться отзыва телефонистки и назвать номер: (24–21): «Девушка, дайте 24–21» (а еще раньше было принято — «барышня»: «телефонные барышни»). Потом построили автоматическую телефонную станцию (АТС), к номеру добавили букву: К–24–21. Следом еще и цифру, обозначающую район: К–7–24–21. Такой номер продержался у нас до самой войны.

4

Столетие, даже больше, изобретателем телефона считался Александр Белл. Десять лет назад изобретение передали другому автору (Антонио Меуччи), при этом телефону прибавили возраста: датой его рождения вместо 1876 года стал — 1860-й.

Споры между сторонниками Белла и Меуччи не утихают, но ни тот, ни другой, изобретая способ передачи звука на расстояние, конечно же, представить себе не могли, какие возможности обнаружит моя правнучка в карманном аппарате, сохранившем старинное имя «телефон».

Девочка наводит на меня (в самый неподходящий момент) телефонную трубку, нажимает что-то и хохочет, разглядывая изображение.

Совсем недавно с ее отцом, моим внуком, мы, волнуясь (получилось? не получилось? и — что получилось?), распечатывали конверт со снимками, полученный в мастерской Кодака.

Девочке неведома тайна отснятой, но непроявленной фотографии.

Неведомо огорчение из-за навсегда пропавшего сюжета (передержка, недодержка, вовсе засвечено), который так хотелось сохранить не только в памяти, но и перед глазами. Неведома радость, когда обнаруживается, как бы даже вдруг, что глаз, рука, камера, пленка не подвели, когда из кодаковского конверта извлекаешь пойманное и остановленное тобой заветное нечто, о котором моя японка написала с надеждой, что согреет душу в старости.

Девочка никогда не была в фотографическом ателье, где кумиром высится поставленный на могучий штатив ящик из полированного красного дерева со сверкающими медью подробностями, не видела старого мастера, забирающегося под таинственное черное покрывало и обещающего, что из объектива сейчас вылетит птичка: чтобы изготовить снимок на медицинскую страховку, ее просто посадили на табурет в тесной кабинке против сверкающего стеклышком отверстия в серой скучной стене.

Ей неведомо, что при бессчетности кадров, набираемых в телефонную трубку, по-иному дорожишь ценой единственного.

Эпоха Дагера, ее начало, бурный и, казалось, надолго замахнувшийся расцвет и неожиданно быстрый закат, уложилась в недолгие для Истории годы, равные двум срокам прожитой мною доныне жизни.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Я был убежден, что уложусь со своей хронологией жизни в век пишущей машинки.

Но теперь читаю о ней в справочных изданиях, что это печатное и множительное устройство широко использовалось в конце 19-го и 20-м веке.

В прошедшем времени.

Сами машинки, даже недавно до зависти модные, красящая лента (черная, лиловая, двухцветная), копирка, разные приспособления для ухода за машинкой и машинописной работы обретают статус музейных экспонатов.

Профессия машинистки, без которой еще недавно было не в силах обойтись ни одно учреждение, ныне, похоже, сделалась такой же редкой, как машинист паровоза.

2

Верный мой друг, еще с пятидесятых, ГДР-овская «Эрика» в желтом кожаном («под кожу») прочном чехле с позолоченным замочком, захваченная с собой при отъезде из отечества как нечто для жизни самое необходимое, уже годы пылится, бездействуя, под диваном.

Недавно художник Юра Альберт одалживал ее у меня, когда ему было необходимо явить в работе нечто анахроническое.

3

А ведь я еще полной мерой застал армейских писарей.

Помню их почерк, крупный, ясный, но притом, подчас в меру, а подчас и не в меру, приукрашенный кудрявыми, «парикмахерскими», завитками.

Десятилетиями я получал в домоуправлениях, бухгалтериях и разных иных конторах (старательно или как придется) написанные от руки справки.

Когда я был студентом, у меня, помнится, единственного на факультете, была дома собственная машинка — старый, тяжелый, крепко справленный из металла трофейный «Ideal» с замененным на русский шрифтом.

4

(Сноска. Один из моих друзей рассказывал: когда ему дали возможность ознакомиться с делом арестованного и расстрелян-

ного в 1937-м отца, он увидел справку о приведении смертного приговора в исполнение, наспех написанную чернильным карандашом.)

5

(Еще сноски. Недавно в Германию приезжал журналист-африканец из республики Чад. Он сотрудничает в небольшой газете какой-то христианской миссии. Работает на пишущей машинке, при керосиновой лампе.)

6

Первые русские стихи о пишущей машинке написал Всеволод Гаршин.

Однажды он зашел к Черткову, когда того не оказалось дома, впервые в жизни увидел пишущую машинку, и отметил это событие оставленным на листке бумаги четверостишием:

О ты, явивший мне писательну машину,
Поведай мне, как ею управлять,
Дабы я мог чувствительну стихину
Тебе на той машине написать.

7

Стишок написан в 1886-м или 1887 году.

Пишущая машинка только начала привлекать к себе внимание.

Долгое время считалось, со слов самого Марка Твена, что первое литературное произведение, напечатанное на машинке, — «Том Соьер». Ныне ученые сдвинули дату на семь лет позже: отдали первенство книге того же Марка Твена «Жизнь на Миссисипи». Это — год 1883-й.

Так что стихи Гаршина вполне злободневны.

8

Возможно, Чертков и завел машинопись в отечественной литературе.

Во всяком случае, в Ясную Поляну привез машинку именно он. Это сильно поспособствовало сохранению и приумножению толстовского архива.

Машинка была типа «Ремингтон».

«Секретарская» комната, где находилась машинка и перепечатывались рукописи, стала называться так же и «ремингтонной».

9

Иосиф Бродский даже в девяностые годы не работал на компьютере — в поездки брал с собой две машинки: с русским и латинским шрифтом.

Друг Бродского, Бенгт Янгфельд, шведский писатель и переводчик, комментирует: «Для Иосифа стук машинки и печатание черных букв на белой бумаге было чуть ли не священным ритуалом».

(«С годами, — рассказывает Янгфельд, — некоторые буквы стали грязными и настолько трудночитаемыми, что московский друг Андрей Сергеев пенял ему на это по телефону, Когда Бродский промямлил что-то в свою защиту, тот ответил вопросом, сильно рассмеявшись Иосифа: А зубы вы чистите?»)

10

У того же Янгфельда находим.

Отношение Бродского к прошлому отличается ностальгичностью. Если будущее вообще что-то значит, говорил Бродский, то это «в первую очередь наше в нем отсутствие. Первое, что мы обнаруживаем, в него заглядывая, это наше в нем небытие».

11

Последний в мире завод, производивший пишущие машинки, закрылся два года назад, в 2011-м.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1

Здесь я, пожалуй, поставлю точку.

Хотя предыдущая фраза нашептывает самые разные продолжения, каждое из которых по-своему заманчиво.

Но какое-то сокровенное чувство всё настойчивее удерживает меня.

Чувство, что выходишь за пределы соразмерности и сообразности.

Пределы, именно тебе и только тебе кем-то заданные.

Начинаешь чувствовать тяжесть атмосферы.

Вместо того, чтобы слышать голос и записывать за ним, затеваешь с ним диалоги.

2

Хотелось бы закончить этот текст — ничем.

Окончить тем, что — не окончить.

Как у Пушкина (о, Господи! — опять Пушкин!) — вдруг расстаться: «И здесь героя моего... // Читатель, мы теперь оставим // Надолго... Навсегда...»

Вдруг умел расстался с ним — и предложил нам вечно догадываться, додумывать, спорить: что стало, что станет, что могло бы стать...

(Еще цепляюсь за надежду, которой обернулась недавняя ясная вера, что Пушкина будут читать — вечно.)

3

Подобно тому, как момент пробуждения обратным движением времени организует сюжет сновидения, окончание текста (финал) как бы заново создает его.

Конечно, финал произведения (если имеем дело с подлинным творчеством) непременно органичен, но, может быть, не так жестко безусловен, как может показаться.

4

Работая над «Воскресением», Толстой однажды разложил пасьянс. «Если получится, Нехлюдов женится на Катюше». Потом, на вопрос дочери, Татьяны Львовны, ответил: «Пасьянс получился, но Нехлюдов на Катюше не женится».

Это шутка и — не шутка. Игра и — не игра.

Вариант с женитьбой Нехлюдова обдумывался и пробовался всерьез.

Как обдумывалось и соблазняло продолжение романа. «2-я часть Нехлюдова», где герой оказался бы в крестьянской общине, переселившейся на необитаемые прежде сибирские земли.

Но роман был закончен так, как он закончен. И продолжения не было.

5

После того, как прожито всё то, что составило содержание романа, Нехлюдов, оставшись один, читает Евангелие.

И — впервые понимает «во всем их значении слова, много раз читанные и незамеченные».

«Да неужели только это?» — вскрикивает он, пораженный простотою того, что открывается ему.

И сам себе отвечает: «Да, только это».

6

Финал романа тотчас вызвал и до сих пор продолжает вызывать многочисленные возражения.

О «марксистско-ленинском» литературо(толсто)ведении не говорю.

Критикуя финал, принято (оно и прилично) ссылаться на Чехова.

Чехов роман хвалил, некоторые страницы «читал с замиранием духа — так хорошо!», — но: «конца у повести нет, а то, что есть, нельзя назвать концом». И следом: «Писать, писать, а потом взять и свалить всё на текст из Евангелия, — это уж очень побогословски».

У Чехова конец повествования был бы, конечно, совсем иной.

7

Можно было и вовсе не писать последнюю главу (номер XXVIII), в которой «ничего» не происходит, кроме того, что Нехлюдов читает Евангелие («Да неужели только это?» — «Да, только это»). Текст к тому же обильно приправлен цитатами.

Можно было остановиться на предпоследней главе: Нехлюдов, закончив «дела», расставшись со всем, что на протяжении последних месяцев составляло содержание его жизни (и, соответственно, составило содержание романа), и не представляя себе еще, как сложится его жизнь дальше, садится в свой экипаж...

«И здесь героя моего, // В минуту, злую для него, // Читатель, мы теперь оставим...»

Хороший, открытый финал.

Но, при том, что всё в книге осталось бы нетронутым, это был бы другой роман.

8

Вопреки всем суждениям, Толстой говорил задорно: «Я весь роман “Воскресение” только для того писал, чтобы прочли его последнюю главу».

9

Он рассказывал — о себе:

«...Я методически, шаг за шагом стараюсь разобрать всё то, что скрывает от людей истину, и стих за стихом вновь перевожу, сличаю и соединяю четыре Евангелия. Работа эта продолжается уже шестой год... Но я уверен, что работа эта нужна, и потому делаю, пока жив, что могу. Такова моя продолжительная внешняя работа над богословием, Евангелием. Но внутренняя работа моя была не такая... Это было мгновенное устранение всего того, что скрывало смысл учения и мгновенное озарение светом истины».

В последней главе романа вырвалось на свет это однажды пережитое и после постоянно переживаемое чувство, с которым Толстой писал «Воскресение».

10

В «Воскресении» Толстой вспоминает слова физика и астронома Лапласа (он, по забывчивости приписал их другому ученому, Араго), который на вопрос Наполеона, почему в его теории происхождения солнечной системы не упомянут Бог, отвечал, что не нуждался в этой гипотезе.

Через несколько лет после окончания романа Лев Николаевич, наедине с собой обдумывая свою жизнь, вновь вспомнит остроумный ответ — и прибавит: «А я бы сказал: Я не мог никогда делать ничего хорошего без этой гипотезы».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

1

Сижу, перебираю старые фотографии.
Прощаюсь с Луи Дагером.
Новых снимков почти не имеется.
Новые упрятаны в компьютерах и аппаратах внуков, друзей, знакомых.
Сам я давно перестал снимать.
Мой фотовек закончился с веком Луи Дагера.
Наверно, я мог бы помаленьку освоить новую технику.
Но мне не хочется.
А вылезать нынче с моей «мыльницей» — всё равно, что ползти в потоке сегодняшнего уличного движения на трехколесном велосипеде с деревянными колесами.

2

Нет, я не стесняюсь славно мне послужившей «мыльницы».
Просто мы с ней уже отжили свое.
Сторонимся на обочине, пропуская уличный поток.
Обочинность, которая в молодые и зрелые годы может быть чем угодно, от застенчивости до оригинальничания, ныне неизбежная принадлежность моей старости.
Приноравливаться к новому уже нет охоты.
Особенно, когда чувствуешь, что это новое — не твое.
Что, обретая его, ты некоторым образом уже — не ты.
Сам не свой.
Вышел из себя.
(В позапрошлом веке говорили: вне себя пришел.)

3

«...Иду по городу, который обречен быть моим настоящим и никогда — прошлым, и картины иных, давних времен, будто не-

жданно, без всякой связи с тем, что вижу вокруг и о чем только что думал, с поразительно точными, тревожащими до боли подробностями, “околичностями”, как говаривали старые русские живописцы, встают передо мною...»

Так я писал, уже — когда-то.

4

Уезжая, ты захватила два пластиковых мешка, до отказа набитых старыми фотографиями. Тебе чудилось, что в мешках мы берем с собой наше прошлое, картины которого сможем потом складывать, как пазл, из этих прямоугольных кусочков бумаги.

Но оказалось, что прошлым до отказа набиты наша память и воображение.

Впрочем, наверно, даже наоборот: что мы памятью и воображением большую часть еще отпущенного нам времени проводим в пространстве прошлого.

Что память и воображение — лучшая фотоаппаратура, не сравнимая ни с какими ФЭД'ами и «Сапоп'ами».

Что, выудив из кучи снимков любой наугад, мы, взглянув на него, всеми шестью чувствами воссоздаем образ мира, незапечатляемый самой совершенной аппаратурой.

5

Размышляя об обратном движении времени в сновидении, о.Павел Флоренский приводит пример, ставший классическим.

Человек видит себя во сне участником великой французской революции. С ним происходят разнообразные происшествия. Его долго преследуют, наконец — схватывают, приговаривают к казни, тащат на гильотину. Страшный стальной нож падает, касается его шеи, — человек в ужасе пробуждается. Оказывается, у него голова сползла с подушки и он коснулся шеей металлического края кровати.

6

Случайная старая фотография — как это стальное лезвие гильотины.

С его прикосновением события, предшествующие запечатленному и — в отличие от сновидения — последующие, выстраиваются, перестраиваются, сцепляются в сюжеты.

7

Предполагая в сновидении своего рода творческий акт, Лев Толстой с его страстным мышлением заговорил вообще об условности пространства и времени:

«Понятия пространство и время суть бессмыслицы и противны требованиям разума. Время должно указывать пределы последовательности, а пространство пределы расположения вещей, а между тем ни то, ни другое не имеет пределов. Я не знаю более точного определения времени и пространства, как то, которое я мальчиком еще 15-ти лет сделал себе, а именно: время есть способность человека представлять себе много предметов в одном пространстве, что возможно только через последовательность, пространство же есть способность человека представлять себе много предметов в одно и то же время, что возможно только при рядом стоянии вещей».

8

Ты даже намеревалась засесть однажды и разложить фотографии по хронологии и по темам.

Внести историзм в эти пластиковые мешки, набитые хаосом. Упорядочить вольные и произвольные озарения памяти — историей.

Даже — Историей.

Конечно, ты так и не принялась за дело.

Пространство и время не были над тобой властны.

Всё, что даровала нам жизнь, ты, осмысляя и переживая, располагала как-то по-своему, не подчиняя ни хронологическому порядку, ни тематическому.

Ты и книги никогда не читала, двигаясь от первой страницы к последней.

Открывала, где придется, тут, там, заглядывала в конец, бралась за начало — и снова туда и сюда перекидывала страницы, отыскивая что-то, однажды уже овладевшее вниманием.

Я немного встречал людей, которые, читая, так пронизательно и точно схватывали в прочитанном самое существенное..

Когда мы попадали в прежде незнакомый город, ты, после долгой прогулки (на долгую часто не хватало сил), устраивалась где-нибудь в сквере, на лавочке у входа в музей, за столиком уличного кафе, даже на вокзальной площади (помнишь, в Эдинбурге?). Я носился со своей «мельницей» по улицам. Ты сидела тихо, смотрела, слушала, дышала воздухом, которым был настоян этот город. Через несколько часов я возвращался, мои карманы топырились катушками отснятой пленки. Ты рассказывала мне о городе, каким почувствовала его и поняла, и в том, что ты говорила, всегда оказывалось нечто самое значимое, что тотчас оживало во мне, когда я после, уже дома, перебирал отглянцованные прямоугольники с изображениями монументов, дворцов, набережных, уличной толпы...

10

Археологический взгляд: в черепке увидеть сосуд.
 Дом.
 Город.
 Мир.

11

В частном — целое.
 И — цельное.

12

« — ...Чуть узенькую пятку я заметил.
 — Довольно с вас. У вас воображенье
 В минуту дорисует остальное...»
 Сказано по другому поводу. Но, в общем, — о том же.

13

...Лежа на своем диване, ты молча смотришь в окно на небо, на верхушки деревьев.

В руке у тебя любимый шарик из душистого сандалового дерева.

...Шарик еще теплый.

Я кладу шарик в невысокий шкаф, притулившийся возле твоего дивана. Туда же я кладу легкий шерстяной платок, в который ты куталась. Томик Пушкина, неизменно сопровождавший нас в наших перемещениях по свету. Твой молитвенник. Твою синюю кружку. Картинку, которую ты любила и держала на спинке дивана, — ежик в тумане... Я кладу в старый шкаф два пластиковых мешка, туго набитых прошлым, и «мельницу», которая давно мне не нужна.

Резная дверца старинного шкафа изъедена временем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1

Такие шкафы назывались горками.

Верхняя часть с обтянутыми сукном полками застеклена, нижние полки (пошире) прикрыты дверцами.

В горках хранили посуду.

В.И.Даль, толкуя в Словаре горку, прибавляет: щегольскую посуду.

То есть — дорогую, напоказ.

Я помню такие горки в состоятельных домах и в домах, где старались не утратить меты семейной традиции, благополучного прошлого.

В верхней части шкафа, за стеклом, на виду, стояли чашки, вазы, статуэтки хорошего фарфора, хрустальные графины и бокалы; внизу, за дверцами, хранили дорогие сервизы, которыми пользовались редко.

Горка была не предметом столового употребления.

В зависимости от вкуса хозяев, которым принадлежала, она могла быть средством украшения, витриной благосостояния или обозначать эстетику дома.

2

Шкаф, обитающий в нынешнем нашем пристанище, сильно разрушен временем и перипетиями долгой жизни.

Верхняя — застекленная — дверца отвалилась вовсе. Сукно на полках потерлось, да и не нужно нам оно: посуды, которую держат в горках, у нас не имеется, копится на полках что придется, свидетельства не основательно устроенного житья.

Вот — кто-то подарил красивую морскую раковину. Вот — маленькая нефритовая черепашка (откуда она у нас?), игрушка правнучки. А это — какие-то старые квитанции: всё забываю разобраться или выбросить. Толстая книга — нашумевший немецкий бестселлер: года два уже, или три, время от времени, когда не занят ничем другим, я продолжаю его читать, — черепашьям шагом переползаю из главы в главу, волоча за собой радужно-пеструю полоску картона, закладку из книжного магазина Mayersche.

Немногим лучше уцелела и нижняя часть шкафа. Дверцы, хотя и держатся в петлях, как сказано, трачены прожитыми годами. Дерево, уже начавшее крошиться, похоже на пористый ржаной хлеб. Замки на дверцах вывалились, выкрошились. Резной барельеф местами осыпался. Полка внутри, взамен сукна, оклеена плотной черной бумагой...

3

«А ты знаешь, Люба, сколько этому шкапу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкап сделан ровно сто лет тому назад. Каково? А?..» (А. П. Чехов. «Вишневый сад»).

4

Шкафу, вдвоем с которым, под одной кровлей, я доживаю свой век, перевалило за сто.

Кого только он не перевидал, чего не наслушался.

Хорошо бы засесть однажды и рассказать его жизнь.
Получилась бы занятная книга.
Может быть, даже бестселлер.

5

...После подписания Веймарского мира шкаф оказался в просторной квартире при райхсканцелярии. Там провел он интересные, полнящиеся событиями и встречами годы, пока квартиру не облюбывал для себя и не обставил по-своему новый жилец, назначенный германским канцлером 30 января 1933 года.

6

Но это уже — другая история.
Новая История.

7

Дорогой, многоуважаемый шкаф!..

.....
.....

Часть третья.
Грустный солдат. Мечта

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

«Именем его императорского величества государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!».

2

Редко, когда писателю посчастливится так начать текст.
Так энергично. Так захватывающе. Тотчас забирает и уже — не отпускает.

Так многозначно.

3

Перечитываю Всеволода Гаршина.
«Красный цветок».

4

Требуется большое умение, чтобы хорошо *начать*.
Впрочем, про Гаршина, пожалуй, не скажешь: *умение*.
У него это как-то само собой получалось — хорошо, сильно начинать.

Может быть, от предельной искренности.

Когда главное, то, что мучает, не дает покоя, рвется наружу, требует воплощения в слове, когда *такое главное* не утаивается в гуще и круговращении слов и фраз — выговаривается тотчас, полнясь мучительной, жгучей любовью к тем, к кому оно обращено, к нам, и такой же мучительной, жгучей болью, оттого, что сумасшедший дом, в котором нам выпало обитать, устроен скверно, требует немедленной ревизии.

5

(«Лицо почти героическое, изумительной искренности и великой любви сосуд живой», — это Горький о Гаршине. Хорошо сказал.)

6

Вот и письмо к графу Лорис-Меликову, всесильному диктатору последней поры царствования Александра Второго. Гаршин и письмо так же начал — сразу суть, сразу на самой высокой ноте:

«Ваше сиятельство, простите преступника!..»

Это он убеждал диктатора простить революционера, террориста, несколькими часами раньше в него, в Лорис-Меликова, неудачно стрелявшего.

«Простите человека, убивавшего Вас!»

Всего-навсего!..

(Письма Гаршину показалось мало. Жизнь и творения у него всегда в одном русле — продолжают, обгоняют друг друга. Ночью, накануне казни террориста, он чудом пробился к диктатору на квартиру — плакал, требовал, убеждал, умолял совершить подвиг милосердия. Лорис-Меликов, чтобы от него отделаться — всё же известный писатель! — чуть ли не пообещал пересмотреть дело. Утром покушавшегося повесили, конечно...)

7

И начало единственной встречи Гаршина с Толстым тоже предельно неожиданно и необычно.

Почти невероятно.

Вечером, уже в сумерках, Гаршин появился в Ясной Поляне. Попросил позвать хозяина.

Лев Николаевич вышел к незнакомцу.

«Что вам угодно?»

«Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки».

«Прекрасное лицо, большие светлые глаза, всё в лице открыто и светло...» (будет много позже вспоминать Толстой).

...Глаза Гаршина были черные, но *светлые глаза* у Толстого — не цвет, а нечто иное. Не цвет, а свет (внутренний). В «Холстомере» находим: «глаз — большой, черный и светлый»...

Лев Николаевич пригласил нежданного посетителя в кабинет.

Они вместе обедали, потом долго беседовали. Почти всю ночь.

Гаршин вспоминал: эта ночь была *лучшей, счастливейшей* в его жизни.

Толстой не сразу понял, что перед ним — *писатель*.

Тот самый Всеволод Гаршин, молодой, недавно начавший, но уже снискавший имя и всеобщую любовь. (Толстой несколько его рассказов прочитал — да и появилось всего несколько, — они ему понравились.)

Писателей по повадке Лев Николаевич не сильно жаловал.

Сын Толстого, Илья Львович, сказал как-то (Бунину): у них, в Ясной, на *писателей* смотрели «вот как» — и, нагнувшись, провел рукой где-то на уровне низа дивана.

А тут (самого Толстого впечатление): *писателя* видно не было — «просто добрый, милый человек».

Для него — очень дорого!

Встреча произошла 16 марта 1880-го, через три недели после казни революционера, стрелявшего в Лорис-Меликова.

Всё это время Гаршин в сильном возбуждении, оставив Петербург, бродил по Московской, Орловской, Тульской губерниям (он и в Ясную Поляну пришел пешком). Его поступки подчас поражали окружающих.

Гаршин с юных лет был душевно болен: всякое его действие, не соответствующее общепринятой *норме*, проще всего считать «безумием».

Появление в Ясной Поляне (без предупреждения, не вовремя, пешком в распутицу, «рюмка водки и хвост селедки») подчас включается в цепь «безумств» Гаршина после роковой для него ночи накануне казни и рокового утра казни свершившейся.

Если так, если встреча, о которой речь, всего лишь — «безумство», то она не имеет существенного значения ни в биографии Гаршина, ни в биографии Толстого.

Того более: вовсе значения не имеет.

Но вряд ли проницательнейший Толстой проговорил бы всю ночь с безумцем, позвал бы и семейных его слушать, детей с учителем, и десятилетия спустя, уже не помня подробностей беседы, повторял бы убежденно, что Гаршин был ему близок, что он, Толстой, одобрял и приветствовал его начинания, что Гаршин «был полон планов служения добру», и — «это была вода на мою мельницу».

Илья Львович Толстой, подростком присутствовавший в тот вечер в отцовском кабинете, вспоминал, что никому из участников встречи и в голову не пришло, что перед ними человек больной, возбужденный надвигающейся болезнью.

12

Всё дело в том, где проводятся границы *нормы*, обозначается ее уровень.

13

В конце 1870-х — начале 1880-х — у Толстого окончательно складывается система представлений, которые скоро назовут его — толстовским — *учением*. Переворот, духовный перелом, совершившийся в Толстом (по слову современников — «обращение»), уже для всех очевиден. Друг Толстого, философ и литературный критик Страхов сообщал ему из Петербурга, что «обращение» понимается там многими как нечто противное разуму.

(Письмо написано как раз за неделю до появления Гаршина в Ясной Поляне.)

14

Да и близкие (Софья Андреевна — первая) смотрели на эту обжигавшую Толстого потребность переустройства жизни, прежде всего собственной, как на *болезнь*.

Сообщая брату о том, что продолжает работать над религиозно-философскими сочинениями, Лев Николаевич писал: «Я всё так же предаюсь своему сумасшествию, за которое ты так на меня сердишься... Постараюсь только впредь, чтобы мое сумасшествие меньше было противно другим...»

Одна из дневниковых записей этой поры (после того, как услышал разговор домашних о происходящем в большом мире и в своем мирке, домашнем): «Кто-нибудь сумасшедший — они или я».

Замысел рассказа о человеке, решившем повернуть свою жизнь от служения себе к служению другим людям, называется в рукописях то «Записками сумасшедшего», то «Записками несумасшедшего».

15

Годы спустя Нехлюдов в «Воскресении», взглянув *окрест себя* возжелавшими *видеть* глазами, повторит: «Я ли сумасшедший, что вижу то, чего другие не видят, или сумасшедшие те, которые производят то, что я вижу».

16

Нужна ревизия себя, ревизия своего духовного и душевного Я («чистка души», — называют это Толстой и его герои, Нехлюдов — тоже), чтобы объявить *ревизию сему сумасшедшему дому*.

17

Через два месяца после встречи Толстого с Гаршиным широко праздновалось открытие в Москве памятника Пушкину (событие, по составу участников, по речам, на торжествах произнесенным, вошедшее в историю русской культуры).

Толстой на чествование ехать решительно отказался: оно представлялось ему чем-то неестественным — «не скажу — ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям».

В дни пушкинского праздника среди собравшихся литераторов и ученых разнесся слух, что Толстой помешался.

Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что... Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел».

И на другой день: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно менее двух суток. Но я не поеду, хоть очень бы любопытно было».

18

Достоевский, хотя бы из любопытства, а не поехал.

Гаршин поехал (пошел) не из любопытства.

Для него как раз то и важно, что Толстой «обратился», «помешался».

Он это понял, почувствовал, не дождавшись, пока среди литераторов пошли слухи.

Сам он едва не от рождения из таких «обращенных», «помешанных». Трагическое событие, которого он оказался участником, распалило его «помешательство», потребовало от него переустроить свою жизнь, искать для нее новые пути.

19

Известный психиатр Сикорский, знакомый Гаршина, писал о «Красном цветке», что в рассказе замечательно точно передан характер болезни героя. У таких людей в маниакальном состоянии устремления по большей части соответствуют их обычной логике, но обретают в поступках особенную силу и остроту.

Не знаю, насколько такое положение соответствует взглядам сегодняшней психиатрии, но у Гаршина дело обстояло именно так.

20

«Война решительно не дает мне покоя... Нервы, что ли, у меня так устроены, только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действие гораздо более сильное, чем на окружающих», — признается герой гаршинского рассказа «Трус» (речь о русско-турецкой войне конца 1870-х).

Герой этот — не устремленный к великому жертвенному подвигу *безумец* «Красного цветка», а «смирный, добродушный, моло-

дой человек» (говорит он о себе). Его ревизия *сему сумасшедшему дому* в том, что он добровольно идет на ненавистную ему войну, уносящую жизни других людей, и погибает в первом же бою.

21

«Мамочка, я не могу прятаться за стенами учебного заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули. Благодарите меня».

22

Это: Всеволод Гаршин — матери (весна 1877-го).

Может не идти.

Студент (Горного института).

Болен.

Но: *не* может — *не* идти.

Когда другие... под пули...

23

«Война есть общее горе, общее страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится»... Это — один из его героев всё о той же войне.

24

Еще ни в чем не преуспел студент Горного института Всеволод Гаршин.

Учебные занятия — оставляют желать лучшего.

Любовь, — похоже, оказалась не тем, чего искал, чем почудилась поначалу.

Быт — трудный, с заботой о набойках на сапоги.

Литература — мечта, им владеющая («я должен идти по этой дороге во что бы то ни стало»), — пока лишь один никем не отмеченный газетный очерк о земском собрании (текст в духе прозаиков-публицистов тех лет), плюс такой же немного значащий газетный отчет об очередной художественной выставке, да несколько рукописных стихотворений, которые и послать-то куда-нибудь стыдно.

Он идет лоб и грудь подставлять под пули, добровольно расставаясь с самой дорогой из всех возможных жизнью — с жизнью, еще — *не начатой*. Полной надежд.

25

«Если меня пустят, прощайте, моя дорогая; живой я, должно быть, не вернусь»...

Это он, собираясь на войну, — девушке, которую, ему кажется, что любит.

«Не смейся над моей пророческой тоскою. // Я знал: удар судьбы меня не обойдет...»

Одно из любимейших его стихотворений:

С этим знанием — что *«не обойдет»* — он всю жизнь прожил.

27

Он выдержал тяготы похода, храбро сражался, получил свою пулю.

Правда, не в лоб, не в грудь, — в ногу.

Удар, с которого судьба — *началась*.

28

«Рядовой Всеволод Гаршин примером личной храбрости увлек вперед товарищей в атаку, во время чего и ранен в ногу», — сказано в полковой реляции о сражении 11 августа 1877 года под Аясларом (в Болгарии).

Личная храбрость, спору нет, но — не только.

Когда их рота начала было отступать, Гаршин увидел на полоске ничьей земли тяжело раненого солдата, обреченного вот-вот упасть в плен к туркам.

И — не мог не броситься.

Не мог, чтобы другие подставляли вместо него лбы и груди под пули.

Он бросился вперед — и *свою* пулю получил.

29.

Он отправился воевать, убежденный, что война есть общее горе, общее страдание.

На войне он понял, что она еще и — *общее зло*.

Что на войне не только лбы подставляют, но и целят другим в лоб.

30

В военном госпитале он написал рассказ.

Русский солдат, раненый в ногу, четыре дня, никем не замечаемый, лежит на тесной, огороженной высокими кустами поляне рядом с убитым им солдатом вражеским.

Рассказ не о себе, но — от первого лица.

От — *Я*.

«За что я его убил?.. Чем же он виноват? И чем виноват я, хотя я и убил его?»

Под знойным южным солнцем труп убитого быстро разлагается, а убийца — *Я* — пьет теплую воду из его фляги: «Ты спасаешь меня, моя жертва!..»

31

Рассказ тотчас напечатали «Отечественные записки», *главный* тогдашний журнал.

И — как принято обозначать — *проснулся знаменитым*.

Его — *начало*.

Имя Всеволода Гаршина, вчера никому неведомое, восторженно повторяла читающая Россия.

В фотографическом заведении, где он недавно снимался, на-расхват разбирали портрет молодого человека в серой солдатской шинели.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Мне пришло в голову написать книгу о Гаршине задолго до того, как я взялся ее писать.

Это не было решение. Это была — мечта.

Время, о котором речь, не побуждало меня принимать такое решение.

Воздух вокруг сгущался, тяжелел, — я чувствовал это.

Советский Союз испытал ядерное оружие.

Меня направили из части, где я тогда служил, на офицерские курсы — сдавать лейтенантские экзамены.

Я боялся, что после присвоения звания меня домой не отпустят — оставят в кадрах.

Начальник курсов, полковник Каныгин, лицом замечательно похожий на маршала Жукова, в дружеской беседе меня успокаивал: войну лучше начинать не дома, а у себя в части. Из дома тебя выхватят и швырнут, куда попало, а в части ты уже на своем месте — все тебя знают и ты всё знаешь.

2

...Темной полярной ночью я полз на брюхе по заснеженной равнине тундры от Камня в сторону Научного Центра.

Центр располагался у подножия северных гор, в стороне от города, в котором стояла наша часть.

Нужно было доехать на автобусе до конечной остановки и оттуда пешком еще километра полтора по хорошей дороге. Но можно было сократить путь: сойти несколько раньше — у Камня — и отшагать те же полтора километра проложенной напрямик через тундру тропой.

Я ездил в Научный Центр к моему московскому приятелю Грише Б., биохимику. По окончании института Гришу распределили работать на Север. По тем временам хорошее распределение: платили полярную надбавку, на комнату в Москве давали бронь.

3

Гриша был уверен, что похож на Маяковского: высокий, широкоплечий, четкие, несколько резкие, черты лица.

Маяковского он обожал: знал десятки его стихов на память, читал со сцены и в компании, то и дело цитировал, маленькую красную книжечку сочинений поэта постоянно носил в кармане, как благочестивый проповедник Евангелие. Теперь бы его назвали *фаном*, в ту пору такого слова в нашем языке еще не было. Таких фанов Маяковского появилось много среди молодежи в тридцатые годы, после самоубийственного выстрела. В сороковые, тем более —

в пятидесятые число их поубавилось: поэт изымался из личного обожествления, будучи назначен одним из центральных образов государственного идеологического иконостаса.

4

Я рвался к Грише не для того, чтобы обсуждать подробности жизни и творчества Маяковского.

Хотелось поговорить по душам.

В те годы плакат «Не болтай!», напоминавший нам о повсеместно затаившихся врагах, стал также правилом межчеловеческого общения. Было большой удачей и радостью обрести собеседника, с которым можно без боязни откровенно размышлять вслух (негромко, конечно) о том, что происходит в мире вокруг и в тебе самом. Возможность откровенно *поболтать* была добрым зарядом кислорода.

5

Исправным исполнением обязанностей я выслужил увольнение на сутки.

Несказанная удача! Не скудные три часа — безмерное пространство времени с вечера субботы до исхода воскресения.

В ожидании субботнего вечера я мысленно прикидывал темы наших с Гришей бесед, отлично сознавая, что с первых же слов разговор зацепится за что-нибудь, вовсе непредвиденное и, перескакивая от одного к другому, устремится вовсе не туда, куда я заранее предполагал его направить.

Каждая минута предстоящей встречи ощущалась бесценным даром, который никак невозможно было утратить.

Я отправился в путь около восьми вечера. Автобусы шли редко. Хорошо, если в час — один. Пассажиров — по пальцам пересчитать: на дворе холод, тьма. Горожане после трудового дня разбрелись по своим норам. Только на городской площади, у кассы кинотеатра еще толпился народ. Весь день мело. Дорога не расчищена. Автобус полз еле-еле: мне казалось, что пешим ходом я бы его обогнал. Я продул себе на заиндевевшем стекле пяточок и смотрел, как медлительно тащатся навстречу дома, заборы, бараки окраины; наконец город остался позади, — только полоса снега, выхватываемая из

темноты фарами автобуса, неторопливо разворачивалась за окном. Я то и дело взглядывал на часы, — бежавшая по круту стрелка одну за другой крала у меня принадлежавшие мне драгоценные минуты. В автобусе было холодно. Садило в окна, в щель между створками неплотно прикрывавшейся двери задувало снег. Кроме меня, никто из немногих пассажиров, похоже, не спешил. Одни дремали, другие тихо переговаривались, припоздавшие домой женщины устало думали о чем-то своем, прижимая к животу туго набитые авоськи. Водитель, дымивший едкой папироской, неподвижно держал руку на рычаге переключения передач и то и дело прижимал ногой педаль тормоза.

До Камня вместо двадцати пяти минут ехали все пятьдесят.

6

Остановка у Камня была по требованию.

Камень стоял посреди тундры: ни жилья человеческого, ни каких-либо иных строений вокруг не было.

Что-то вроде огромного обломка скалы, — возможно, напоминание о древнем ледниковом периоде.

Я попросил водителя остановиться.

Он недовольно посмотрел на меня:

«Куда? За день, гляди, намело — не пройдешь».

«Как-нибудь!» — отозвался я с деланной лихостью.

«Как-нибудь и котенка не сделаешь... — Водитель пыхнул папироской. — Ну, смотри, сержант. Дело хозяйское».

Дремавшая на переднем сиденье женщина в солдатском бушлате с тугой авоськой на коленях открыла усталые глаза, прислушиваясь к нашему разговору, и тут же снова задремала.

7

Я спрыгнул на дорогу.

Дорога шла по насыпи, повыше уровня равнины, ветер здесь сметал снег. Мне показалось, что он лежит достаточно плотно.

Перед машиной снег ярко сверкал под лучами фар, по борту на снегу лежали светлые четверугольники окон..

Ночь была ясная. Надо мной, от одного края земли до другого, раскинулось огромное черное небо, усыпанное яркими звездами.

Водитель, помедлив, закрыл дверь, автобус тронулся. Он уезжал прочь от меня неожиданно быстро. Воздух померк, будто кто-то передвинул рычажок выключателя. Мигнул вдали красный фонарик и исчез. Я остался один посреди необозримой ночи.

Мне стало жутковато и весело — вместе.

Я любил «погружаться в неизвестность», — чтобы никто на всем белом свете не ведал о моем местонахождении.

Теперь, в старости, это прошло.

Появились страхи.

Страх — не выбраться.

Остаться найденным.

8

Я стоял на дорожной насыпи, спиной к Камню.

Передо мной, насколько хватало взгляда, расстелилось белое полотно тундры.

Очень далеко, над самым горизонтом скромным неярким созвездием светились огоньки Научного Центра.

Я мысленно провел прямую из точки А, где стоял, до точки В, помеченной этими огоньками.

Поймал взглядом на небосклоне три ярких звезды пояса Ориона — Небесный Охотник всегда приносил мне удачу — и весело сбежал с насыпи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1.

Мне было показалось, что мои ноги нащупали тропу, но шаг, другой — я уже стоял по колени в снегу. Третий шаг — и провалился по пояс.

Я был неопытным северянином, но мне уже приходилось на учениях в заснеженном поле рыть ходы выше человеческого роста.

(Однажды по делам службы я заночевал в одноэтажной служебной постройке — к утру ее завалило по самую крышу. Чтобы помочиться, я долго нажимал плечом на отворявшуюся наружу дверь, вдавливая ее в снежный пласт, пока наконец не образовалась узкая щель.)

Теперь я стоял по пояс в снегу среди разбежавшейся во все стороны тундры, у меня было на два выбора меньше, чем у витязя на распутье, и так же, как у него, лишь один возможный — вперед.

Не возвращаться же на дорогу, чтобы ждать обратного автобуса, который еще Бог весть, пойдет ли? Не отказываться же от всех прелестей редкостного суточного увольнения потому только, что сдуру выпрыгнул из автобуса прежде времени? Не признаваться же самому себе, не говоря уже о водителе с его папироской, когда он поедет обратно, что выпрыгнул сдуру?

Я был еще достаточно молод, чтобы не предаваться отчаянию.

Высоко надо мной сияли бело-голубые звезды Ориона («голубые песцы»?). Впереди, у самого горизонта, мерцали теплые огоньки Научного Центра.

Я опустил на брюхо, выпростал из снега ноги — и пополз.

2

Я люблю мечтать.

Когда со стороны кажется, будто я глубоко задумался или, того скорее, будто вовсе ни о чем не думаю, я — мечтаю.

Мечтать я люблю о неисполнимом.

Неосуществимом.

В мечте о том, что может исполниться, осуществиться, особенно же о том, что сам при известном старании способен осуществить, есть очевидная неполнота.

Оттенок плана.

Ты лишь поднялся на воздушном шаре над землей, над сегодняшней своей реальностью, чтобы заглянуть подальше, увидеть будущие возможности.

Настоящая мечта — это прорыв в иное пространство.

В котором нет неисполнимого. Потому что всё — изначально неисполнимо.

Где невозможное — возможно.

Точнее будет, если переставить слова: где возможно невозможное.

Возможно — всё.

3

Про воздушный шар я написал потому, что в эту минуту, за моим окном плывут по небу семь (нет, восемь) красивых, разно-

цветных монгольфьеров. В двух или трех, что поближе, даже на расстоянии различимы фигурки пассажиров, вдруг ярко взблескивающий огонек горелки.

Здесь нередко, особенно по праздничным дням, предлагают желающим такие воздушные путешествия.

Шары надувают и запускают недалеко от дома, в котором я обитаю, — с широкой поляны в Декштайне. Однажды, прогуливаясь в тех местах, я видел, как раздается в объеме, обретает круглоту, поднимается над землей, толкается, пытаясь оторваться от нее, огромный ярко-желтый лимон; небольшая группа воздухоплателей дождалась, пока команда подготовит шар к полету.

Н. очень хотела совершить такое путешествие. Я побаивался. А она не то, чтобы смелая была (слишком скромна для смелости) — просто бесстрашная.

Я несколько раз обещал ей «покатать на шаре», но всё было недосуг. Потом, когда болезнь заперла ее в четырех стенах, она смотрела в окно на проплывавшие над домом желтые, красные, зеленые шары, — полет сделался уже мечтой. Настоящей. Неисполнимой.

4

Часто ползать по-пластунски мне в армии не приходилось. Разве что в первые месяцы службы, когда мы, начинающие солдаты, отданы были под власть старшины Николаева, известного в полку плодотворным умением превращать штучных людей в безличный личный состав.

Старшина Николаев особенно охотно приказывал нам ползти в плохую погоду, когда земля под ногами была залита лужами и отзывалась на тяжелые солдатские шаги сочным чмоканием. Если неподалеку от дороги или поля для занятий оказывались гражданские лица, тем более молодые особы женского пола, приказ ползти следовал почти неукоснительно.

Я очень благодарен старшине Николаеву. Неделя, другая: я вдруг почувствовал, что приказ ложиться в грязь и ползти уже не вызывает во мне негодования. Ложусь и ползу, не думая о шинели, штанах (колени!), сапогах и иной одежде, которую не успеешь ни просушить, ни отчистить, ползу не замечая смеха и шутивных приветствий зрительниц, коли таковые имеются, и тем более вовсе за-

бывая о разных высоких материях, вроде соображений о справедливости и гуманности. Уроки смирения никогда не бывают напрасны и оказываются необходимы на всем протяжении жизни.

5

Первые полсотни метров ползти было нетрудно, даже весело. Но вскоре я почувствовал, что задал себе нелегкий урок.

Снег залезал за ворот, набивался в сапоги, таял в них; ноги горели и мерзли одновременно. Спина взмокла от жаркого пота. Пот струился (*катился... лился...* — не люблю описывать движение, суета глаголов меня утомляет), пот тек со лба, тотчас застывал ледяной корочкой на бровях, тяжелил инеем ресницы. Плечи болели, спина... Я приподнимал голову: огоньки Научного Центра мерцали по-прежнему далеко, будто я полз на месте. Я устремлял взгляд в небо: яркие звезды Ориона возвращали мне надежду...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

...Давно не писал.

Месяц, наверно. Или больше.

Немало, если писать за долгие годы стало такой же потребностью, как дышать, есть, пить, спать, видеть небо, любить.

Если жизнь неполна, когда на протяжении дня не подошел *к верстаку*.

Неполнота жизни — как болезнь (а болезнь непременно неполнота жизни).

Работа томила неосуществимой мечтой и мучила неосуществимостью.

Мысли в голове, пусть не всегда *волновались в отваге*, но ворочались, подчас даже шустро, и *пальцы просились к перу*, но — за работу не принимался.

От старости, должно быть, я разучился объединять работу пером с суетой дня.

Прежде, если выпадали всего полчаса какие-нибудь, я спешил к письменному столу...

Абзац — хорошо. Строка — тоже неплохо.

С течением лет я разучился работать урывками.

Мне необходимо теперь пространство времени.

И к нему особого рода спокойствие, без которого (опять вспоминая Пушкина) *ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского.*

2

(Пушкинские эпиграммы на Каченовского и в самом деле отмечены раздражением и дерзостью «журнальных драк». Суетой дня.

Михаил Трофимович Каченовский в разные годы занимал в Московском университете кафедры всевозможных историй — русской, всеобщей, славянских литератур, а также кафедры археологии, теории изящных искусств, статистики, географии. Человек был образованный. Его лекции — по общему признанию, утомительно скучные — охотно, однако, слушали Герцен, Кавелин, Гончаров, Сергей Соловьев (историк).

В литературных вкусах образцовый старовер, Каченовский молодую литературу не жаловал. Пушкина принялся критиковать, едва имя поэта засветилось на горизонте отечественной словесности. Появление «Руслана и Людмилы» сравнил с втершимся в Благородное собрание мужиком с бородою, в армяке и лаптях, закричавшим зычным голосом: «Здорово, ребята!» Пушкин отвечал на критики Каченовского эпиграммами, подчас грубыми. Ни на кого так много эпиграмм не сочинил.

Но, когда, уже в 1830-е годы, дело дошло до избрания Пушкина в члены Российской Академии, Каченовский подал за него голос. И об «Истории Пугачевского бунта» отозвался определенно (уже после смерти Пушкина): «Один только писатель у нас мог писать историю простым, но живым и сильным, достойным ее языком. Это Александр Сергеевич Пушкин...»)

4

Но я не про Каченовского, я про — *Дубулты.*

Пишу курсивом, чтобы отличить некое знаковое понятие в моей жизни от географического названия.

Дубулты я то и дело вспоминал, пока не работалось.

Именно потому вспоминал, что там — *работалось*.

Хорошо. Как-то по-особенному хорошо.

Одно слово — *Дубулты*.

Дубулты, собственно, для того и были созданы, чтобы там — работать.

«Творить».

Всё же смешно: парк — культуры, дворец — науки, дом — творчества.

5

Серое пятиэтажное здание с большими окнами на берегу залива.

Когда, задумавшись, поднимаешь глаза от бумаги, видишь за окном неяркое балтийское небо, серую неторопливо качающуюся воду, светлую песчаную полосу берега.

Рижское взморье.

6

После раннего завтрака разбрелись по комнатам.

В комнатах стояли письменные столы, манявшие простором.

Всю жизнь любил просторные письменные столы.

Широкая, ничем не загроможденная столешница. Как футбольное поле.

Или — как чистый загрунтованный холст, манящий мастера бесчисленными возможностями.

Мечтал дома иметь такой. Не получалось. Для *такого* стола жил тесновато. В пространстве тесновато и — во времени.

Стол у меня дома был старинный, достался мне от отца.

Я — редкий москвич: прожил все шестьдесят шесть лет, до отъезда сюда, в Германию, в тех стенах, где родился.

Может быть, первое, что я увидел на этом свете, как раз отцовский письменный стол. Его ящики были набиты осколками памяти нескольких семейных поколений. Зеленое выцветшее сукно было пропылено минувшим. Редко сменяемые фотографии под стеклом, схваченные взглядом, тотчас раскручивали ленту воспоминаний.

(Ныне маленький непонятного назначения стол, приспособленный мне под письменный, тулится в уютной кладовой. По левую руку от меня — старый диван, на котором стелят захвачившим

с ночлегом гостям; работая, я раскрываю на нем книги, раскладываю бумаги. По правую — стенной шкаф с бельем и одеждой, мне не принадлежащими, и высокая гладильная доска; хозяйничая в кладовой, я заменяю уют на доске чайником с крепко заваренным чаем. Зато прямо передо мной — схваченное мелким переплетом старинной рамы окно; за ним — веселая листва уже на моих глазах вымахавшей ввысь березы, широкое небо, едва не всякий вечер поражающее новой и неожиданной красотой заката, высокие черепичные крыши города, о котором я сказал однажды, что он никогда не станет моим прошлым.)

7

За письменным столом в *Дубултах* вольно дышалось. Наполненный кислородом, свежий воздух залива приносил нужные слова.

8

Ровно в полдень звонил Юра Овсянников: приглашал на чашку жасминового чая.

Отведенные Юре покои размещались этажом ниже.

Настоящий китайский жасминовый чай был тогда редкостью.

Юра, выключив кипятильник, старательно колдовал над заваркой.

Казалось немного странным, что вместо привычного густого черного чая тонко дымится бледно золотистая настойка с нежным цветочным запахом.

За чаепитием говорили о работе.

Я всегда был скрытен, когда разговор касался того, что я пишу. Может быть, моя склонность к суеверию нашептывала мне, что не следует много распространяться о деле еще не завершеном. Впрочем, тут причиной, наверно, моя неуверенность в себе: я втайне опасался, что замечания собеседника вместо того, чтобы помочь, вовсе отобьют желание продолжать.

Юра, наоборот, любил спрашивать совета: спорил, соглашался, обсуждал возникавшие варианты. Иногда, наоборот, он предлагал послушать текст, не вызывавший у него сомнений, по собственному суждению, ему удавшийся: он читал его вслух, весело, радуясь, вкусно выласкивая интонацией точно найденное слово.

Беседа распалила охоту скорее возвратиться к столу. Мы, молча, торопливо допивали уже остывшую душистую настойку и разбегались до обеда.

9

Я был в *Дубултах* осенью.

В свободные от занятий часы отправлялись на долгую прогулку по берегу.

Особенный балтийский воздух дарил телу, мыслям, движениям энергию кислорода. Будто не по земле шагаешь, не по светлой полосе влажного, плотного песка, а паришь над серой холодной водой, как корабль с набитыми крепким попутным ветром парусами. Идешь, идешь, сменяются выстроившиеся вдоль залива городки Взморья, а стремление идти не оставляет, и усталость какая-то особенная, не утомляющая, бодрая.

Вечером, в темноте, выходили *своей* компанией на прямую, протяженную улицу, ниткой ожерелья пронизывающую и соединяющую все эти городки: шатались туда и обратно, то по одной стороне улицы, то по другой, болтали дело и безделицу, шутили, смеялись, флиртовали, перекликались с встреченными знакомыми, пили непременно рижское пиво. (Я не любитель пива, мне больше оказались по душе у нас, в Москве, тогда неведомые, да и позже тоже не прижившиеся, рюмочные: вам подавали на тарелке рюмку водки и к каждой обязательную закуску — бутерброд с селедкой или иной какой соленой рыбкой.)

Там, в *Дубултах*, как-то само собой сложились эти *свои* компании: давние друзья и знакомые — и новые, только тут появившиеся. В каждой компании, опять же само собой, возникала своя иерархия, своя система отношений, и опять же система отношений между компаниями, как между государствами, от дружески единомысленных до прохладно нейтральных, — замкнутый мир *Дубултов*, время существования которого для каждого его обитателя исчислялось указанным в литфондовской путевке сроком, отведенным для творчества.

Вот, пишу, вспоминаю тех, с кем прожил в этом мире доставшийся мне трех- или четырехнедельный (точно уже не помню) век, и все, кого вспоминаю, кажутся теперь людьми замечательно интересными и привлекательными, а дамы — еще и прекрасными. И кого ни вспомню, никого уже нет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Я лежал ничком, слегка приподняв голову, и однообразными сильными движениями рук будто старался поглубже протолкнуть под себя заснеженный земной шар.

Житель Ориона (если бы таковой там нашелся), наведя совершеннейший оптический прибор на нашу Землю, наверно, очень бы удивлялся, разглядывая нелепую черненькую фигурку, неведомо зачем одиноко переползавшую пустынное белое поле. Впрочем, вряд ли в тот вечер я думал об этом, но на своем пути я то и дело старался, слегка повернув голову налево, схватить краем глаза сияющие на черном небе светила любимого созвездия: касание их лучей дарило мне, как язычнику древности, хмель мужества и силу безоглядно продолжать движение.

Иногда ветер пробегал по низу, разом стирал пот со лба, слепил колючим снегом, морозил лицо. Огоньки Научного Центра, по-прежнему, казалось, бесконечно далекие, вовсе исчезали из глаз.

2

Может быть, я вспоминал известную картину В.В. Верещагина «На Шипке всё спокойно» — наивный публицистический триптих: метель на трех холстах засыпает снегом солдата-часового; на последнем, третьем, он уже вовсе, с головой, укрыт сугробом.

(Но, может быть, и не вспоминал: я был молод — душа не была еще искажена опытом страха.)

3

Название картины взято из рапорта одного из генералов русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

Четыре слова генеральского рапорта, преобразованные Верещагиным, наполнились иным смыслом.

Благодаря Верещагину фраза стала крылатой.

Она и поныне таит в себе глубокий смысл, одним разом не исчерпываемый.

Крылатая фраза ей под стать явилась уже в двадцатые годы только что минувшего столетия: пять слов (в немецком оригинале — четыре) будничной военной сводки, преобразованные в заглавие романа.

«На Западном фронте без перемен».

Тоже своего рода — формулы войны.

Герой Гаршина, тяжело раненный, лежит на крошечной, отгороженной от мира высокими кустами поляне.

Лежит, забытый, рядом с трупом убитого им человека.

«Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собою только маленький кусочек земли. Несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы — вот весь мой мир...» Потом ему удается перевернуться, и он видит «звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе».

Небольшое, хотя и мучительно давшееся движение тела уводит его от травинки, муравья, кусочков сора — в иной мир. В бесконечность.

Он пьет теплую воду из фляги лежащего рядом трупа — и братается с убитым им человеком.

Он знает, что скоро умрет.

«Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительны: ранено столько-то, убит рядовой из вольноопределяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут, просто скажут: убит один».

На Шипке всё спокойно.

И на всех фронтах — без перемен.

Рядовой из вольноопределяющихся Гаршин сражался на той же войне, с которой знаменитый живописец-баталист Верещагин привез свою «Шипку».

Тремя годами раньше Всеволод Гаршин рассматривал на выставке Верещагина в Петербурге картины, привезенные с другой войны — туркестанской.

«Я не увидел в них эффектного эскизца, // Увидел смерть, увидел вопль людей, // Измученных убийством...»

Это — из его наивных стихов (впечатление от выставки), искренних и неумелых.

Ничего он, конечно, еще не увидел, исполненный сострадания к людям гимназист выпускного класса.

Хотя картины у Верещагина страшные.

Отрубленные солдатские головы, насаженные на колья или брошенные к ногам победителя. Смертельно раненный, который, сжимая кровавую рану на груди, еще бежит навстречу неприятелю («Ой, убили, братцы!.. убили...» — надпись на раме). И другой раненый — забытый в знойных песках; он еще жив, но вороны уже кружат над ним...

Страшно.

Но это пока — чужой опыт.

На войне Гаршин был однажды послан на поле недавно минувшего боя — убирать трупы.

Его забытый герой вспоминает, как убил человека, из фляги которого пьет спасительную воду: «Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало...»

Выставку Верещагина венчал знаменитый плакатный «Апофеоз войны» — гора черепов посреди неоглядной пустыни: белые, дочиста оглоданные временем черепа, выжженный

солнцем песок и выгоревшее небо над ним (надпись на раме: «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим»).

Герой Гаршина, укрытый от глаз людских густым, колючим кустарником, день за днем поневоле осужден наблюдать, как под палящим солнцем разлагается лежащий рядом труп. «Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда... Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война, — подумал я: — вот ее изображение»».

11

...Я пишу это в мире, терзаемом войнами.

Наверно, потому и пишу.

Под окном, по темной пустой улице проезжает на велосипедах стайка разгулявшихся юношей и девушек. Несмотря на ночной час, они шумно звенят звонками и поют веселую песню.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Я всегда с интересом читал Шкловского; теперь — часто вспоминаю, цитирую.

Шкловский говорил: «Я не вру, я придумываю».

«Придумывать» и «сочинять» — возможные синонимы. «Врать» и «сочинять» тоже могут таковыми оказаться. Но когда работаешь, должен чувствовать оттенки, иногда решающее различие синонимов.

2

Сейчас, когда я пытаюсь воспроизвести в памяти и передать на бумаге, как такое получилось, что полярной ночью, в тундре, передвигаясь ползком от давно укрывшегося в темноте Камня в сторону мерцающих всё еще где-то очень далеко светляков Научного Цен-

тра, я вдруг начал мечтать, что однажды, невесть в каком будущем, напишу книгу о Всеволоде Гаршине, мне не хочется ни врать, ни придумывать.

Сочинять тоже не хочется.

Просто я вижу, как ползу, обливаясь потом, захлебываюсь холодным воздухом, цепляюсь за снег окоченевшими до боли руками в трехпалых перчатках, ворочаю мокрыми ногами, — и неожиданно это *какое-то*, лишенное точных обозначений будущее. Вообще — *будущее*. Даже не мираж в пустыне, а сама пустыня, с беспредельной протяженностью земли и неба, и в этой оглушительной пустоте — я с моей книгой о Гаршине.

3

Время было — не *гаршинское*.

Да и было ли когда в истории *гаршинское время*, время грустных солдат, которые идут на войну, чтобы умереть вместе с другими, а не для того, чтобы убивать других.

«Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил?..»

Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться... Я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули».

Время, по обыкновению, было — не *гаршинское*.

«Из сотен тысяч батарей... За нашу родину огонь! Огонь!..» — ревели мы лужеными глотками, истязая подметками плац. «Гремя огнем, сверкая блеском стали...» — рычали мы, строем шагая в столовую к помятой миске с водянистым супом.

«Ведь грустным солдатом нет смысла в живых оставаться», — сказал поэт.

4

Я учился пять лет на редакционно-издательском факультете.

На *литературном* отделении.

В нашей программе русской литературы Гаршину места не нашлось.

Время на дворе стояло мрачное, глухое — конец сороковых.

Нам лгали с трибун и кафедр, приучая нас неверно мыслить. И лгали — умолчанием.

(Это у Льва Толстого в рассуждениях о исторической науке: *ложь умолчанием.*)

«Архискверный» (глубокое ленинское определение) Достоевский в программе тоже отсутствовал. В билетах для государственного экзамена автору «Братьев Карамазовых» был дарован единственный вопрос: «Статья тов. В.В.Ермилова об ошибках в мировоззрении Достоевского». Что-то вроде.

(Ермилов этот — деятельный присяжный критик и литературовед, которого если ныне кто помнит, то по предсмертному письму Маяковского: «Жаль, с Ермиловым не доругался».)

5

Но дома, на отдельной полке, среди старых книг, в семье особо почитаемых, прижался небольшой томик в красном переплете — Полное собрание сочинений В.М.Гаршина.

Издано в 1910 году приложением к журналу «Нива».

Было уже само то удивительно, что полное собрание — и в одной скромных размеров книжке, где к тому же, кроме сочинений самого Гаршина, еще и подборка воспоминаний о нем.

Годы спустя, когда начну писать о Гаршине, я буду беспощадно повторять в зубах у всех навязшее «Томов премногих тяжелей». (Спохватывался бывало — и оставлял: очень уж точно ложилось.)

Я рано обучился читать и, едва обучился, был допущен родителями (великое им спасибо!) своевольничать по собственному усмотрению на книжных полках (половину которых, отмечу вдобавок, занимала медицинская литература). Путешествуя по библиотеке, я добирался и до красного гаршинского томика. Любопытно было перечитывать знакомые по детским изданиям «Лягушку-путешественницу» и «Сигнал» во *взрослой* книжке — плотно набитые текстом страницы, без картинок, «еры», «яти», «десятиричное i».

«Лягушка-путешественница» выходила в Детгизе в серии «Книга за книгой», для самых младших читателей; «Сигнал» — для читателей постарше (забыл название серии).

(Один из парадоксов, или, может быть, одна из шуток Истории: в тридцатые годы, когда даже в надписи на папиросном ко-

робке искали идеологическую диверсию, для детей печатают «Сигнал» — прекрасную и чистую дань Гаршина учению и проповеди Л.Н.Толстого. Между тем с толстовством тогда расправлялись круто. Да и Гаршина публиковали редко и осмотрительно.)

В красном гаршинском томике была для меня еще одна приписка: весь разворот форзаца, сверху донизу, был исписан ровным папиным почерком. Черные выцветшие чернила, мелкие, узкие, тесно поставленные буквы с наклоном вправо, — до поры я не умел прочесть написанного. Текст, мною непонимаемый, тревожил меня. Всякий раз, когда книга оказывалась у меня в руках, я принимался разбирать его. Но годы прошли, пока однажды он вдруг начал поддаваться мне. Это было любовное письмо к маме, своего рода письменное предложение руки и сердца. Под текстом стояло: «Семипалатинск. 1918».

В Семипалатинске в 1918-м волею судеб сошлись пути-дороги будущих моих родителей. Полк, в котором папа служил врачом, был направлен с фронтов Первой мировой на переформирование в Уфимскую губернию, и оттуда двинулся к Колчаку; мама — тоже врач в военном лазарете, но на Кавказском фронте, в Турции, — своим ходом, как умела, пробиралась в Сибирь, где обитало ее семейство (она была исконная сибирячка).

6

На письменном столе у папы стояла старинная бронзовая лампа в виде свечи в подсвечнике, накрытая оранжевым матерчатым абажуром. Стены комнаты были оклеены красноватыми обоями, на диване лежал ковер темного винного цвета. Вечером или темным зимним утром, когда зажигали лампу, комната наполнялась густым теплым светом.

Папа сажал меня к себе на колени и, среди многого прочего, чем на всю жизнь меня одарил, *рассказывал мне Гаршина*.

Про героя «Красного цветка», который счастлив погибнуть ради того, чтобы уничтожить зло в мире.

Про гордую пальму, которая ломает решетки оранжереи, потому что не в силах жить в неволе.

Про железнодорожного сторожа, который смочил в собственной крови платок и сделал из него красный флаг, чтобы остановить летящий навстречу крушению поезд.

В гаршинском рассказе «Ночь» мальчик живет с отцом в каком-то уединенном имении. В комнате, где они спят, красноватым пламенем горит печь, которую топят соломой. Слегка колеблется красный огонек свечи на столе. Над отцовской постелью — красный ковер, в его причудливых узорах воображение мальчика угадывает контуры цветов, зверей, птиц, человеческие лица. Отец читает с мальчиком Священное Писание.

Рассказ «Ночь» я прочитал уже в зрелом возрасте, он оказался важной вехой в моих духовных исканиях.

Теперь мне уже трудно понять: комната, заполненная густым, теплым красноватым светом, лампа, ковер, проникающий в душу разговор мальчика с отцом — всё это сценой из прошлого укоренилось в памяти, или перебралось туда со страниц рассказа, или — то и другое вместе?

7

В «Ночи» я нашел одно из самых замечательных определений детства: в детстве «красное так и было красное, а не отражающее красные лучи».

8

Гаршин был папиным любимым писателем.

Бунтарь Мейерхольд, человек папиного поколения, выходя в большую жизнь, сменил свое немецкое имя Карл Казимир Теодор — на Всеволод. В честь Всеволода Гаршина.

Для моего поколения Гаршин был еще значим.

Моя первая книга о Гаршине появилась в начале 1960-х и была принята как книга — *шестидесятых*.

Следующая — *главная* — книга о нем — «Грустный солдат» — увидела свет в первой половине 1980-х.

Мне представляется — недавно.

В 1980-е она — прозвучала.

Но большая часть нынешнего российского населения в те годы, кажется, и родилась.

В предисловии к «Грустному солдату» незабвенный Юрий Давыдов написал: «Сказано: *Он взял на себя наши немощи и понес болезни*. Давно сказано и не о Гаршине, но напрямую и вплотную соотносимо с Гаршиным».

Юрий Давыдов лестно для меня написал, что мои избранники не бронзовеют: «Они даны в движение внутреннем и умении трудно жить».

Герои самого Юрия Давыдова не бронзовеют и трудно живут оттого, что для них стремление заново переустроить жизнь и высокая нравственность — две вещи нераздельные.

Перелистываю сегодняшний книжный каталог, бестселлеров Юрия Давыдова («Бестселлер» — к тому же название одного из значительнейших его романов!), тем более сравнительно с недавно отошедшими годами, почти не видно.

Ныне — новые бестселлеры.

9

Представить себе Гаршина «в бронзе» невозможно.

Он не забронзовел. Просто ушел из нынешней нашей жизни — то ли вовсе ушел, то ли оказался отгеснен далеко за обочину дороги, по которой вызывающе шумно и лихо несется эта нынешняя жизнь.

Один из столпов нашего сегодня создал в насмешку над ему *не* подобными отменный, как раз ко времени, афоризм: «Скромность — кратчайший путь к безвестности».

Это — и про Гаршина тоже.

10

Рад бы, да не смею предположить, что нынешний студент литературного отделения заметит (болезненно отметит) отсутствие Гаршина в программе.

Еще менее могу предположить, что, одетый в солдатскую шинель, он, переползая по-пластунски снежное поле, вдруг замечается в неведомом, непредсказуемом будущем писать книгу о Гаршине.

Пишу не о своих отличиях, а о различии времен.

11

Я не помню, чтобы в ту ночь, когда я переходил — переползал — свое поле, желание взяться *когда-нибудь* за книгу о Гаршине явилось у меня, во мне итогом каких-либо логических построений.

Каких-либо серьезных размышлений о жизни его и созданиях. Или воспоминаний о том, что в моей жизни так или иначе было с ним связано.

Я совершенно убежден, что желание это вспыхнуло во мне внезапно, вне всякой связи с предшествующими или попутными мыслями и чувствами.

Ничего — и вдруг пьянящая неисполнимостью мечта!..

Разве что звезды Ориона наворожили...

12

Я полз и взахлеб сочинял свою несбыточную книгу.

13

Через полчаса я доберусь до места, поднимусь со снега и, мне покажется, забуду о ней.

Останется в памяти лишь смешной случай, о котором не всякому и расскажешь.

Ну, не дурак ли: полярной ночью невесть почему выпрыгнул из автобуса, чтобы полтора километра ползти на брюхе по снегу?..

Десять долгих лет пройдет с той ночи, десять лет, нагруженных событиями огромной в моей жизни важности, пока судьбе не угодно будет снова привести меня к краю поля и показать на далекие огоньки у горизонта.

Я выпрастаюсь из плотных десяти годовых колец, крепко стянувших меня всем прожитым и пережитым, обстоятельствами, опытом, — и поползу снова.

Возьмусь за мою первую книгу.

О — Всеволоде Гаршине.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1.

Научный Центр возник вблизи неожиданно, будто это не я к нему полз, а он, не желая долее дожидаться, как некий плавучий остров двинулся ко мне навстречу и пришвартовался прямо передо

мною со своими служебными зданиями, застекленными оранжереями, двухэтажными жилыми домами и немногочисленными уличными фонарями.

Я выбрался на утоптанную дорогу, ведущую к шлагбауму, всегда поднятому и никем не охраняемому, и встал на ноги. Колени у меня дрожали. Портянки и шерстяные носки хлопали в сапогах жидкой кашей. Мокрая от пота спина, едва я выпрямился, тотчас начала мерзнуть. Сукно шинели на груди смотрелось сталью доспехов. На ресницах и бровях налипли кусочки льда.

Я мысленно поблагодарил старшину Николаева за науку, вспомнил, как он, вдоволь усладившись нашими пластунскими успехами, не давая отдышаться («Встать! Бегом!») бросал нас в атаку, и, спотыкаясь (мне казалось, что — браво), зашагал к Гришиному дому.

2

Дверь отворила Клавдия Аггеевна, соседка Гриши по двухкомнатной квартире.

— А Григория твоего дома нету. В клуб наладился — Маяковского рассказывать.

Клавдия Аггеевна работала в Центре кладовщицей. Сильно пожилая (так мне тогда казалось), крепко сбитая женщина, будто изготовленная из плохо тесаного камня. Сотрудники между собой называли ее «скифской бабой» и пошучивали над Гришей. Сам же Гриша (вполне в духе эпохи) считал ее стукачкой, во время наших заветных бесед то и дело показывал мне знаком, чтобы я говорил тише, иногда бесшумно подходил к двери и рывком отворял ее. За дверью никогда никого не обнаруживалось, а из комнаты Клавдии Аггеевны раздавался раскатистый, как камнепад, храп.

— Ты где ж это так выгваздался? — удивленно оглядела меня Клавдия Аггеевна. — Набрался, что ли?

Она подтянула кверху рукава своего серого байкового халата.

— Давай, снимай всё: на кухне у плиты повешу; до утра просохнет.

Я сбросил ей на руки шинель, присел на табуретку и начал стаскивать сапоги.

— Штаны тоже снимай, — сказала Клавдия Аггеевна. — Что я, мужика без штанов не видела?.. Я тебе сейчас чаю с сухой ягодой заварю.

— А покрепче ничего не найдется?
— Не держу. Я свое отпила, — отказала Клавдия Аггеевна. — Ты иди, поспи. Григорий пока еще наговорится. Говорить-то мастер.

3

Гриша пил мало и что придется.

На стеклянной полке серванта, который в нижней своей части исполнял роль платяного шкафа, я нашел только непечатую бутылку «Розового ликера» с цветком розы на этикетке. Я торопливо выковырял пробку. В комнате запахло вокзальной парикмахерской. Ликер был тягучий, как глицерин.

Я налил сразу полный стакан.

Вошла, не постучавшись, Клавдия Аггеевна и поставила на стол дымящуюся кружку с чаем и тарелку, на которой теснились кусок жареной трески и три-четыре картофелины.

Но есть не хотелось.

Я перелил в себя ликер — сразу весь стакан — и запил его горячим чаем, напоенным ароматом леса.

В последнем слове, когда я печатал его, я сначала вместо «леса» набрал — «лета».

Фрейд утверждал, что случайных описок не бывает. В данном случае он был прав.

Чай был напоен ароматом леса и лета.

...Одно мгновение — и всё вдруг исчезло куда-то из моей памяти: бесконечный снег, звезды Ориона, усталость, темы предвкушаемых разговоров с Гришей, книга, которую я собрался когда-нибудь непременно написать.

Я не заметил, как перебрался на Гришину кровать, как свалился на нее поверх одеяла.

Гриша разбудил меня уже утром, громко хохоча и выкрикивая какие-то строки из Маяковского.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Всеволод Гаршин умер 24 марта 1888 года.

Папа умер 24 марта 1968 года.

Восемьдесят лет спустя, день в день.

Если не ввязываться в неизбежное выяснение отношений григорианского календаря с юлианским (у нас, в России, это обозначается проще: *новый* и *старый* стиль).

Конечно, между обоими календарями определены точные соответствия.

Но, кроме точности дат, есть еще магия чисел.

2

Лев Толстой писал:

«Я родился в 28-м году, 28 числа и всю мою жизнь 28 было для меня самым счастливым числом... И в математике «28» — особое совершенное число, которое равно сумме всех чисел, на которые оно может делиться. Это очень редкое свойство».

В беседе он признавался:

«Мне приятно играть цепочкой часов и наvertывать ее 28 раз... Я рожден 28 года 28 числа».

28 октября 1910 года Лев Толстой навсегда ушел из дома, из своей Ясной Поляны. Через десять дней он ушел из самой жизни — на неведомой прежде железнодорожной станции, в чужом доме, на чужой кровати.

Он прожил на свете 82 года — тоже «2» и «8», но в обратной последовательности. Число уже не совершенное.

3

После перехода на новый стиль летосчисления день рождения Л.Н.Толстого отмечают 9 сентября. Хотя в нынешних календарях дате соответствует уже 10 сентября.

Сколько раз *наvertывать цепочку* совершенно непонятно.

4

То же самое с днем рождения Пушкина.

Пушкинское 26 мая принято отмечать 6 июня, хотя сегодня оно падает уже на 8-е.

(Священники, если празднуют Пушкинский день, помнят об этом, поскольку у каждого дня года свои святые.)

Когда-то я сделал радиопередачу о 19 октября, Дне Лицея.

Поразмыслив, ее дали в эфир 19 октября по новому стилю. Смешно, даже нелепо как-то, было бы приветствовать радиослушателей словами: «Сегодня, 1 ноября, мы отмечаем 19 октября, Лицейскую годовщину...»

Один тогдашний историк искусств, снискавший славу неумолимого обличителя, написал две жалобы: в радиокomiteeт на меня и в «Литгазету» на радиокomiteeт. Он обвинял нас в обмане доверчивого советского радиослушателя (помнится, там было сказано: «морочат голову»). Конечно, самым могучим аргументом в жалобе было празднование годовщин октябрьской революции («октябрьских годовщин») — в ноябре.

Но умница Крейн, Александр Зиновьевич, создатель и многолетний директор Музея А.С.Пушкина в Москве, всякий год открывал сезон именно 19 октября по новому стилю композицией «Да здравствует Лицей!», исполняемой незабвенным Александром Кутеповым.

19 октября нынешнее протягивало руку *тому* 19 октября.

И в непременно до отказа заполненном зале не чувствовалось ни обмана, ни мороки, к которым мы подчас так привыкали, что переставали их замечать, — дышалось свежо, вольно, казалось, крылья вырастали, как говаривали в минуты восторга наши веле-речивые прадеды.

Итак, Гаршин умер 24 марта 1888 года.

Пятью днями раньше, 19 марта, он бросился в пролет лестницы.

На меня в детстве рассказ об этом произвел сокрушительное впечатление.

Это было первое самоубийство, о котором я узнал. Наверно, я вообще впервые узнал, что люди убивают сами себя.

Вскоре мой крепнувший жизненный опыт уложил в копилку еще одно самоубийство. Вместе с мамой работал в диспансере доктор, еврей, со странной, какой-то китайской фамилией Сидзан. Еще не старый мужчина, худощавый, с узким желтоватым лицом. Может быть, мне казалось, что лицо желтоватое — из-за фамилии. Однажды, придя с работы, мама рассказала, что накануне вечером Сидзан приставил к краю стола перочинный ножик и налег на него грудью, так, что острое проткнуло ему сердце. История поразила меня, вот ведь, до сих пор помню, но оглушения, ошеломления не было. Тем более что она тотчас начала облипать слухами, бытовыми подробностями.

Гаршин был совсем другое.

Не мамин желтолицый доктор, два-три раза заходивший к нам по делу.

Гаршин был — *своё*.

Его фотография стояла за стеклом книжного шкафа.

И Гаршин с фотографии, в каком бы углу комнаты я ни находился, всегда — непостижимо — смотрел на меня.

«Я ничего не знал прекрасней и печальней // Лучистых глаз твоих и бледного чела...» — было произнесено над его могилой.

Фотография старинная, но не та — *первой славы*, где он в солдатской шинели: более поздняя.

Впрочем, Гаршину никак не подходят эти определения — *раннее*, *позднее*: он прожил тридцать три года.

Возраст Христа.

8

Лестничный пролет в доме, где мы жили, был узок, как щель почтового ящика. Я не мог понять, как Гаршин сумел броситься в такой пролет (*в полет*), — другие лестницы в раннюю пору детства мне, кажется, не попадались. Потом, когда видел их, непременно думал о Гаршине.

В доме, где закончилась земная жизнь Гаршина, пролет был прямоугольный: в длинном лестничном марше — восемь ступенек, в коротком — пять.

9

Наверно, ранняя встреча с Гаршиным укоренила во мне мысль о возможности самоубийства.

Не о самоубийстве, именно — о *возможности* его.

Одoleвая испытания и искушения судьбы, особенно в молодости, полный здоровья и сил, я часто думал, утешая и ободряя себя, что имею в запасе простой и быстрый выход из любого положения. Но в глубине души знал, что не воспользуюсь им.

Мысль о *возможности* самоубийства и способность *совершить* его — две вещи не то, что несовместные, но более, нежели часто, не совпадающие.

Помнится, я привoдил где-то слова Германа Гессе о том, что едва ли не большинство покончивших с собой — случайные самоубийцы: самоубийцы по убеждению редко накладывают на себя руки. Но самоубийца по убеждению всегда сознает и вынашивает в себе возможность расстаться с жизнью.

Мысль о возможности самоубийства — это постоянно про запас хранимый глоток свободы, необходимая доля собственного достоинства.

Ш. говорил (где-то я читал об этом), что, куда бы ни попадал, тотчас оглядывался и прикидывал, как он мог бы *здесь* покончить с собой, *если они за ним придут*. Я почему-то думаю, что — не покончил бы, обрек бы себя на мученичество.

В романе Ганса Фаллады герою, приговоренному к гильотине, сумели передать в тюрьму капсулу с мгновенно действующим смертельным ядом. Он держал ее за щекой, но даже, приведенный на место казни, так и не раскусил.

10

(Тюремный пастор Харальд Пёльхау, в годы нацизма проводивший в последний путь сотни приговоренных к смерти людей, рассказывает в своей книге, что гильотина, как ни ужасно это звучит, тем более выглядит, — самый быстрый, и, по своему, самый легкий для осужденного способ прекращения здешней жизни.

Казнь с помощью гильотины совершалась прямо в тюрьме и занимала не более трех минут, причем само умерщвление человека, от момента, когда его подводили к станку, до того, как его голова падала в подставленную под нож плетеную корзину, при опытном палаче и умелых помощниках (*обычно из мясников*) требовало лишь 10–13 секунд.

Расстрел для осужденного оказывался куда тяжелее: долгая дорога в *зеленой Минне* (по-русски *черном вороне*) на окраину города, к стрельбищу (в каждой машине не менее двенадцати человек), нестерпимо долгое, на пороге вечности, ожидание, пока назовут твоё имя и поведут убивать, а, пока не назвали, напряженный до боли слух ловит звук шагов уводимого к расстрельной стенке другого (сто метров), залп из двенадцати винтовок, крик недобитого двенадцатью пулями, окончательный пистолетный выстрел и снова шаги — фельдфебелей, возвращающихся к машине, чтобы назвать новое — *твое!*? — имя...)

Помнится, об этом я тоже уже писал...

11

Старик Толстой, когда заходила речь о каких-либо подробностях в его романах, нередко говорил, что — *не помнит*.

До поры я над этим посмеивался: в толстовском «Не помню» чудилось мне веселое лицедейство старого мудреца.

Теперь-то я знаю, что, и правда, — *не помнил*...

Впрочем, и об этом я писал, кажется.

Старость...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

.....
.....

2

Но Всеволод Гаршин был из тех натур, для которых самоубийство не только мысль о возможности совершить его и не только способность его совершить, а — *неизбежность*.

3

Их было четыре брата — Гаршиных.

Всеволод по старшинству — третий.

Один из старших братьев покончил с собой (застрелился) несколькими годами раньше Всеволода. Другой (тоже застрелился) — несколькими годами позже.

Младший, четвертый, брат примеру остальных не последовал. Он был человек рассудительный.

Он был — от другого отца.

4

Если об одном из старших братьев Всеволода можно сказать, что он застрелился в порыве юношеского отчаяния, то к другому, самому старшему, с этим никак не подступишься. Жил энергично, менял места службы (судебный следователь), менял жен, менял пункты пребывания и вдруг свел счеты с жизнью уже на пятом десятке.

Не исключено, конечно, что оба старших брата были тоже душевно больны, как и Всеволод. Просто болезнь не выказывала себя столь же явно. Тут дело в этой условности рубежа между болезнью и не-болезнью.

Но одно очевидно — неизбежность исхода.

Грустным солдатам нет смысла в живых оставаться, — выработанное убеждение: предопределение.

Резолюция, с появлением человека на свет начертанная на судьбе.

5

Корней Чуковский в давней статье о Гаршине вывел красивую формулу: «Гаршин боролся не с миром, а с самим собою... Безумец из рассказа «Красный цветок» умер, спасая безумием мир. Но спасая себя от безумия, умер Всеволод Гаршин».

Но болезнь у Гаршина та же, что у его героя.

Неспособность переносить зло, царящее в мире.

Невозможность жить в мире, в котором царит зло.

Гаршин в самом деле устранился надвинувшейся болезни.

Неприятельской атаки на войне не испугался, бросился на встречу вражеской цепи.

Но болезнь страшнее вражеских пуль; он чувствовал: не промахнется.

Гаршин понимал: сумасшедший дом, которому он объявлял ревизию в своих рассказах, ему не переиначить. Чтобы поверить в

это, надо было разрешить себе стать героем «Красного цветка», быть убежденным, что сорванный и упрятанный на груди цветок сожжет вместе с твоим сердцем всё мировое зло.

Однажды юношей, во время сильной грозы, он взял железный стержень, прижал один его конец к обнаженной груди, а другой выставил из окна к небу. Он хотел спасти от молнии всех обитателей дома.

Может быть, город.

Мир.

Теперь он подчинился неизбежности. Он уходил из сумасшедшего дома, в котором не мог далее существовать и который не умел переустроить.

6

«Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, и целые годы, целые десятки лет, каждое мгновение остановившаяся в своем течении жизнь была по тем же самым ранам и язвам, какие давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Один и тот же ежедневный «слух» — и всегда мрачный и тревожный; один и тот же удар по одному и тому же больному месту, и непременно притом по больному, ...удар по сердцу, которое просит доброго ощущения, удар по мысли, жаждущей права жить, удар по совести, которая хочет ощущать себя...»

Это — Глеб Успенский.

Из статьи «Смерть В.М.Гаршина».

Добрый друг, Глеб Иванович не бросился в лестничный пролет (может быть, не успел), не застрелился, не перерезал себе горло, как его двоюродный брат, Успенский Николай, тоже писатель, но судьба его была изначально помечена той же *резолуцией*.

Мысль, сердце, совесть мучительно и неотвратимо звали его объявить ревизию *сему сумасшедшему дому*, — жизнь завершилась безысходной вечностью в лечебнице для душевнобольных.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Так уж повелось считать: *бросился в пролет лестницы*. Так уж повелось, в памяти зацепилось, в воображении: мгновенное, решительное — бросок, пролет, полет.

То, что повелось, потом обрастало воспоминаниями, чуть ли не свидетельствами. Хотя в ту минуту на лестнице, кроме самого Гаршина, никого не было.

Один мемуарист сообщает, будто Гаршин еще загодя показывал ему на пролет лестницы, спрашивал доверительно: «Неужели вас не подмывает броситься туда?» (Какая пошлость!)

2

...За неделю, другую до гибели Гаршин ходил по знакомым с книжкой журнала, в которой была напечатана чеховская «Степь», радовался, что в России появился новый замечательный писатель: «У меня точно нарыв прорвался, и я чувствую себя хорошо, как давно не чувствовал...»

Эта особенная радость Гаршина, которой он жаждал со всеми поделиться, с которой хотел достучаться до сердца каждого собрата по перу, сама сделалась своего рода литературным событием. Писатели и читатели пересказывали мнение Гаршина один другому, оно оборачивалось аннотацией к разговорам о «Степи».

Чехов это знал и ценил.

«Гаршин в последние дни своей жизни много занимался моей особой, чего я забыть не могу»...

В память о Гаршине он написал рассказ — «Припадок» («воздал покойному Гаршину ту дань, какую хотел и умел»).

В рассказе энергично и преднамеренно отозвались и творчество Гаршина, и сама личность его.

Герой рассказа (сам Чехов его так обозначил) — *молодой человек гаршинской закваски*.

Гаршинская закваска (опять же, по Чехову) — это своего рода талант.

«Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — человеческий. Он обладает тонким, великодушным чутьем к боли вообще».

Герой «Припадка» несет в себе чужую боль и готов покончить с собой, чтобы от нее избавиться.

Потому что в этом несправедно устроенном мире боль неотвратима.

Ему хочется кричать людям: «Отчего же вы не возмущаетесь, не негодуете? Ведь вы веруете в Бога и знаете, что это грешно, что за это люди пойдут в ад, отчего же вы молчите?» Но он знает, что его не услышат.

Ревизовать сумасшедший дом ему не под силу. И не под силу сжечь себя в безумной попытке.

Его ведут к врачу, и он остается в этом несправедном мире с рецептом на бромистый калий и морфий в руке.

3

Гаршин рассказывал: во время болезни в нем возникает и начинает жить как бы еще один — *другой* — человек. Этот *другой* говорит, думает, совершает поступки. Мысли, слова, поступки этого *другого* огорчают его, подчас ужасают, приводят в отчаяние, но ничего он с этим *другим* поделать не в силах, потому что этот *другой* — тоже он сам, но переступивший какой-то привычный рубеж в отношениях с собой и с миром.

Безумец «Красного цветка», пробудившись среди ночи в залитой лунным светом больничной палате, вдруг сознает этот преодоленный рубеж: «Где я? Что со мной? пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенной яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом».

Но наутро он проснулся, чтобы продолжать ревизию сему сумасшедшему дому, готовый один вступить в борьбу со всем злом мира и, жертвуя собой, победить в борьбе.

Всякий новый день начинался впечатлениями, и впечатления убивали его, обрушивались на него ударами, и непременно по больным, не заживающим местам. Это — Гаршин о своем герое и Глеб Иванович Успенский — о самом Гаршине в поминальной статье о нем.

4

Последняя квартира Гаршина была в доме N 5 по Поварскому переулку.

На третьем этаже, квартира N16.

С Владимирского проспекта, сокращая путь, шли обычно соседним Дмитровским переулком и проходным двором. Многим оттого запомнилось, что Гаршин жил по Дмитровскому.

В доме, как во многих петербургских домах, было две лестницы — парадная и черная, кухонная.

В девятом часу утра 19 марта по черной лестнице к Гаршиным поднялся дворник: жена Гаршина, Надежда Михайловна, послала за ним — поговорить о хозяйственных делах перед их с Всеволодом Михайловичем отъездом на Кавказ.

Отъезд был назначен на завтрашний день — 20 марта.

На Кавказ решили податься, отступая от надвинувшейся совсем близко болезни.

Прошлой весной, опять-таки в марте, болезнь тоже начала решительное наступление, но один из друзей увез Гаршина путешествовать по Крыму, и — обошлось.

Впрочем, теперь положение смотрелось тяжелее прошлогоднего: болезнь не то что наваливалась — уже начала осаду. Предстояло не отступать, а — прорываться. Вырываться.

Надежда Михайловна была врач и понимала это.

Накануне отъезда побывали у опытного психиатра Александра Яковлевича Фрея. Он не один год лечил Гаршина, считался даже его приятелем. Встречались у общих знакомых, на заседаниях кружков и обществ, на публичных чтениях. Александр Яковлевич живо интересовался искусством, сам был не прочь высказать свое суждение о нашумевшем романе, о новой картине, оценивая их со специальной, психиатрической точки зрения.

Надежда Михайловна спрашивала, не отложить ли отъезд, не поддержать ли Гаршина некоторое время в клинике. Частная клиника Фрея находилась прямо напротив окон его квартиры — на Пятой линии Васильевского острова. Фрей клинику отсоветовал, торопил с отъездом на Кавказ, куда и так решено было ехать, да страшно сделалось.

(Позже, беседуя с Надеждой Михайловной, помощница Фрея проговорила: опытный врач остро провидел *неизбежное*, оттого и в собственную клинику счел за благо не брать.)

Ехать предполагали в Кисловодск.

Художник Ярошенко, с которым Гаршин был дружен, пригласил их к себе на дачу.

Может быть, доктор Фрей, желая того или нет, вовсе не был неправ (или, скажем осторожнее, был не совсем неправ), стараясь поскорее вытолкать Гаршина на Кавказ.

Ярошенко — человек совсем иного душевного склада, чем Гаршин, — сильный, волевой, уверенный в себе (он был артиллерийский офицер, дослужился до полковника), но приобретенная кавказская усадьба и в его жизни, в мироощущении его многое переменила. Это тотчас понимаешь, сопоставляя петербургские работы художника с кавказскими.

Промозглость, серость, сырость неба, воздуха, каменных стен, мостовых, нездоровая бледность лиц, блеклость или траурная чернота одежд — и радостное, торжественное сияние синего неба, зелени, озаренных солнцем снеговых вершин, серо-сиреневые обломы скал, красноватая желтизна песчаника, краски сильные, яркие, чистые, смелые сочетания цвета, прозрачный воздух, неоглядный простор — высота, ширь...

Когда смотришь с седловины хребта, как восходит солнце, когда обливается золотом снежный купол Эльбруса, когда внизу, в расщелине синие от ночи деревья начинают зеленеть под касанием солнечных лучей, когда бежавшее по небу легкое перистое облачко, порозовев, вдруг неподвижно замирает в глубокой сверкающей голубизне, — в такие минуты чувствуешь свою причастность к вечному, точнее и спокойнее осознаешь свое место в мироздании, постигаешь истинные ценности и освобождаешься от призраков.

Может быть, такие минуты и есть самое целительное средство от душевного недуга?..

8

Дружба Гаршина с художником началась сближением творческим.

Ярошенко *проснулся знаменитым* несколькими месяцами позже Гаршина, весной 1878 года, когда на Передвижной выставке появилась его картина «Кочегар».

Этот холст был одним из первых в числе «портретов сословий» (по тогдашнему определению), которые доставили Николаю Александровичу Ярошенко громкую известность, — «Кочегар», «Заключенный», «Студент», «Курсистка»...

Художник (писала критика) поставил себе задачу создать «портретную галерею нашего современного общества». После, как бы итога свои творческие поиски, Ярошенко — в самой прославленной своей картине «Всюду жизнь» — собрал представителей разных сословий в одном общем тюремном вагоне.

Он говорил, что запечатлевает на своих холстах то, «что дает жизнь в настоящее время» и что «в будущем запишется в историю».

9

«Кочегар» — первый заводской рабочий в русской живописи. До этого *народ* в русском искусстве (как и в представлении большинства интеллигенции) — мужик.

Ярошенко занимался вооружением армии, работал на военных заводах. С заводскими людьми он встречался постоянно, знал их близко.

Кочегар на его холсте стоит возле огненной печи и сам будто выкован из раскаленного металла. У него могучие рычаги рук, исполинский «грудной ящик» (слово Стасова), втянутая в плечи голова, внимательный, тревожный взгляд.

Многие зрители находили его *безобразным*. Это определение шелестело вокруг картины. Но Кочегар (и художник сумел передать это) не безобразен, а — *обезображен*: громадностью труда, ужасом быта. В могучем и страшном облике его, в напряженном, тревожном его взгляде манящее и пугающее сплавлены воедино. В будущем это *запишется в историю*, а пока именитый критик Прахов восклицает растерянно: «Вот кто твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу: всем своим преимуществом ты пользуешься в долг».

10

Годом позже явления «Кочегара» Гаршин написал рассказ «Художники».

Герой рассказа, художник Рябинин задумал картину о *Глухаре*.

Глухарями называли рабочих, занятых на клепке паровых котлов.

« — Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотом...

— ...Ведь это всё равно, что по груди бить!..»

Снова то же гаршинское — грудь подставлять.

11

Картину, которую написал гаршинский художник, написать, пожалуй, технически невозможно.

Темное нутро котла, там, в темноте, корчащийся под ударами молота человек, прижимающий грудью заклепку, страшный грохот, от которого рабочие быстро глохли...

Но Гаршин знал толк в живописи, писал о художественных выставках, дружил с художниками. Его герой, Рябинин, свою картину написал. И мастерство писателя Гаршина в том, что читатели эту картину — *видят*.

12

Ярошенковского «Кочегара» нередко, вопреки хронологии, числили иллюстрацией к рассказу Гаршина. Но нередко и наоборот: рассказ Гаршина представлялся нашептанным ярошенковским «Кочегаром». Образ пролетария в искусстве был еще в новинку — сопоставление напрашивалось, тем более, что оба мастера, писатель и живописец, в тогдашней художественной жизни выступали как бы рядом.

Но ярошенковский Кочегар крепко стоит на ногах, в будущем предполагает быть записанным в историю, взыскать долги. Гаршинский Глухарь подставляет грудь под удары, взывает к совести.

«Я вызвал тебя... из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованный к полотну... Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...»

В горячечном бреде болезни художник Рябинин в страшной толпе вместе со всеми наносит удары корчащемуся на земле человеку; но он же — и тот человек, которому наносят удары молотом.

Репин сделал рисунок к рассказу «Художники». У Рябинина на рисунке — лицо Гаршина.

После картины о Глухаре Рябинин решил оставить искусство и ехать учителем в деревню: «*Ну, не сумасшедший ли это человек!*».

Вскоре после «Художников» ехать в деревню, в народ, решил было и Гаршин.

Даже деревенские сапоги купил.

Есть сведения, что своими планами он поделился с Толстым во время ночного их разговора. Толстой поддержал его, конечно.

Но болезнь захватила Гаршина: вместо деревни он оказался на Сабуровой даче (так именовали харьковскую психиатрическую больницу).

Толстой не хотел верить в безумие Гаршина, собирался навесить его в больницу.

(Не навесил.)

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Примерно в половине девятого утра (19 марта) Гаршин вышел из квартиры на лестницу.

Надежда Михайловна, жена, еще вела в кухне переговоры с дворником и прислугой и не заметила его ухода.

2

Бунин вспоминает, что среди тяжелых видений, посещавших Чехова, была лестница в доме Гаршина.

«Два раза был я у Гаршина и оба раза не застал. Видел только лестницу...», — писал Чехов через неделю после смерти Всеволода Михайловича.

И три дня спустя: «А лестница ужасная. Я ее видел: темная, грязная...»

Лестница, как говорилось, имела широкий пролет (восемь ступеней на пять).

В пролете стояла высокая печь, обогревавшая подъезд. Ее верхняя часть доставала почти до второго этажа.

Стены в подъезде были выкрашены в темно-серый тюремный цвет.

«Окно в крыше над пятым этажом тускло освещало лестницу, — свидетельствовал современник. — Окно было большое, из двух приподнятых под углом створ, каждая вроде парниковой крышки».

Подробность выразительная, почти мистическая.

Прекрасная пальма высокой вершиной
В стеклянную крышу стучит...

Стихи — студента Горного института Всеволода Гаршина. Они написаны много раньше знаменитой сказки «Attalea princeps». (Впрочем, повторюсь, какие у Гаршина *много раньше?* Вся жизнь творческая, все «томов премногих тяжелей» уложились в неполное десятилетие.)

Образ пальмы, которая не хотела, не могла жить за решетками оранжереи, Гаршина не оставлял.

Иные *передовые* деятели эпохи полагали, что конец сказки «губит всякую энергию», но люди определенного душевного склада долго хранили ее в памяти, передавали следующим поколениям.

Папа еще до того, как прочитал мне «Attalea princeps», пересказывал мне, маленькому, гаршинскую историю именно как *сказку*.

Сказка заканчивается в самом деле печально, для *передовых* деятелей — неприемлемо.

Под напором растущей ввысь, набравшей силу пальмы лопнули железные полосы решетки, вдребезги разлетелось толстое стекло потолка.

«Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму. «Замерзнешь! — как будто говорили они ей. — Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?»

И пальма поняла, что для нее всё кончено. Она застывала».

5

Неизбежность...

6

...Спустя несколько минут Надежда Михайловна закончила дела в кухне.

«Меня поразила приоткрытая дверь на нашу парадную лестницу, куда я и вышла, Сев.Мих., вероятно, услышал шум стукнувшей двери и понял, что я его разыскиваю. Он крикнул мне снизу: «Надя, ты не бойся, я жив, только сломал себе ногу».

Когда я сбегала к нему, то нашла его вовсе не на печке, а на площадке лестницы. До низу был еще целый марш...»

Гаршин рассказал Надежде Михайловне, «что левая нога его попала между перилами и печкой, перегнулась и сломалась, когда он сам упал на площадку...»

7

Снова как на войне: подставлял грудь, но ранен в ногу.
Но теперь это было не начало, это был — конец.

8

О других увечьях, полученных при падении, в воспоминаниях ничего не говорится. (Хотя, возможно, имелись, внутренние, не распознанные врачами.) Через несколько часов после падения,

к вечеру, Гаршин впал в беспамятство и оставался в таком положении еще пять дней. Причиной смерти врачи назвали последствия перелома ноги.

9

Пока он был в сознании, он рассказывал, «как боролся с собой, чтобы не допустить себя до падения».

Сказано: *ад — это другой* (Сартр).

Ад — это и *другой* в себе.

Когда Христос преодолевал в пустыне искушения (а Он преодолевал их, *боролся* с ними, иначе, без борьбы, без одоления, это не были бы искушения, не был бы дьявол, не было бы пустыни), когда он побеждал искушения, — он побеждал *другого* и в своем человеческом.

«И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз... Иисус сказал ему в ответ: сказано: «не искушай Господа Бога твоего»».

10

В свое время, задумавшись о картине Крамского «Христос в пустыне», Гаршин отправил художнику письмо.

Не подписанное.

Имя адресата сильно влияет на характер послания. А Гаршин хотел получить от Крамского ответ, не ему, писателю Гаршину, адресованный, но ответ — *вообще*. Он хотел, чтобы Крамской ответил как бы самому себе.

Гаршин спрашивал художника: изображал ли он Христа, борющегося с искушениями, или уже одолевшего их и «поглощенного своею наступающею деятельностью».

Крамской не ответил на прямой вопрос Гаршина, но сказал, может быть, самое существенное: «Есть один момент в жизни каждого человека, мало-мальски созданного по образу и подобию Божию, когда на него находит раздумье, пойти ли направо или налево, взять ли за Господа Бога рубль или не уступать ни шагу злу...»

Картина называется «Христос в пустыне», но это картина про жизнь *каждого* человека.

Заканчивает Крамской вовсе решительно (и с величайшей искренностью): «Итак, это не Христос. То есть я не знаю, *кто* это».

То есть это не *кто-то*: это каждый человек, который вслед Христу борется с искушениями, с *другим* (адам) в себе самом, решает, пойти ли ему направо или налево...

11

...В больницу Гаршина перевезли уже вечером. Он был в сознании.

«В часовне, мимо которой его проносили, совершалась, вероятно, всенощная, так как была суббота, — вспоминает Надежда Михайловна. — Всев.Мих. перекрестился... Всев.Мих. всегда носил крест на шее и высоко чтит Христа».

12

...Гаршин вышел из квартиры на лестницу и начал (видимо, торопливо) спускаться вниз.

Он боролся с искушением, с *другим*, с неизбежностью, — убежал от бездны.

После падения, пока был в сознании, он рассказал, что «шел, как во сне, и спустился этажом ниже».

То есть — с третьего на второй.

Он почти спасся на этот раз.

Бросаться было уже некуда, или — почти некуда.

Верх печки, обогревавшей подъезд, доходил, как помним, почти до второго этажа.

Надежда Михайловна свидетельствует, что от того места, где нашла Всеволода Михайловича, до низу был еще целый марш. Причем, что существенно, лежал он «вовсе не на печке, а на площадке лестницы».

Это «вовсе» придает описанию какой-то определенный смысл.

Как всё происходило, теперь понять не просто. Наиболее подробно сообщил об этом со слов Гаршина один из подоспевших к нему вскоре после падения ближайших его друзей: «Тут меня непреодолимо потянуло через перила. Я перелез их, повис, держась руками за железные прутья, и хотел уже сброситься, как мне стало совершенно ясно, что я делаю не то, что следует. Но силы меня ос-

тавили, и я *грохнулся* вниз». (Здесь «грохнулся» опять же очень выразительное слово, без сомнения — *гаршинское*: со стороны о только что умершем друге так не скажешь.) И следом: «Все теперь скажут, что я покушался на самоубийство. Какой стыд!..»

Похоже, разжав руки, он упал как-то наискосок (или: хотел *так* упасть?)... нога попала между перилами и печкой.

Разбиться насмерть было, кажется, невозможно.

А он — разбился.

13

На этот раз он почти победил *другого*, почти ушел на этот раз от неизбежного.

Он не убил себя. Просто ему и в самом деле не было смысла в живых оставаться.

Он мог объявить ревизию сему сумасшедшему дому, но, сжигая себя, уничтожить царящее в мире зло, было ему не под силу.

14

Когда Надежда Михайловна сбежала к нему на площадку лестницы, куда он упал, он сразу начал просить у нее прощения, на боль не жаловался. «Он мучился нравственно: всё винил себя в происшедшем и раскаивался. Меня он жалел больше, чем себя», — вспоминала Надежда Михайловна. Кто-то спросил его, больно ли ему. Гаршин ответил: «Что значит эта боль в сравнении с тем, что здесь» — и указал на сердце.

15

Двадцать лет спустя Лев Толстой, всю жизнь высоко ценивший Гаршина, пересказывал с чьих-то слов историю его смерти: «...как он бросился с лестницы, весь разбился и, когда прибежала жена (она была врач), сказал ей: «Ничего»».

Здесь Лев Николаевич задержался, прибавил одобрительно: «Это так естественно: о своей боли не думает, а ее испуг видит».

16

Хоронили Гаршина на Волковом кладбище.
На Литераторских мостках.

Так именуется этот участок налево от входа, где обрели последнее свое прибежище многие труженики российской словесности.

Еще гимназистом Гаршин таким же весенним днем забрел сюда однажды, по деревянным мосткам, положенным на черную, набравшуюся талого снега землю, прошел к могилам Белинского, Добролюбова и Писарева (напротив первых двух: у тех памятники черные, тяжелые, у Писарева — маленький белый крест) — как там позже ни судили-рядили, это были учителя его поколения; в тот давний гимназический день он осознал, что как малороссийские степи — физическая его родина, так Петербург — родина духовная, и от этого родства петербургского никогда не отступал.

В начале 1880-х, после долгой болезни возвратившись в Петербург, он снова пришел сюда, на эти Мостки, с грустно сжавшимся сердцем обошел подзаброшенные могилы, вспомнил прочитанное недавно описание вестминстерского «Уголка поэтов», вздохнул (в очерке, жалко, не оконченном): «Мы не заботимся о наших великих мертвых» — и приписал, как бы само собой: «Мы не заботимся о них и при жизни».

В последний раз он был здесь самую малость больше, чем за год до смерти, в феврале 1887-го: хоронили поэта Надсона.

С Надсоном они дружили.

Гаршин не любил погребальных речей: произносят их часто люди, ушедшему далекие, иногда и вовсе чуждые, в речах обычно много фальши, желания себя показать, — у близких в такой день горе утраты накладывает печать на уста. Вот и над свежей могилой Надсона слова произносились потертые, как рисунок на ходячей монете. Опустили в яму небольшой прямоугольный ящик, обитый белой с серебряными нитями тканью, застучали о крышку мерзлые комья земли. Вспомнился рассказ Надсона: после окончания военного училища он селился по наемным квартирам подешевле и себя именовал «жильцом маленькой комнаты». Гаршин стоял в стороне, держал венок, присланный поэту от бывших сослуживцев по 148-му Каспийскому полку (у ворот кладбища кто-то из распорядителей сунул в руки) — черные атласные ленты и фарфоровые белые розы. Когда смолкли речи, начал было читать стихи Полонского, написанные на кончину молодого поэта: «Он вышел в сумерки. Прощальный // Луч солнца в тучах догорал...» — запнулся, сбился. Надо же, обычно стихи с одного раза запоминал — и навсегда. Укла-

дывая венки, громко попросил: «Не рвите цветы!» (такая мода пошла — обдирать на память с венков искусственные цветы и листья) — где там, не остановишь...

17

Гаршина хоронили 26 марта 1888 года.

Церковь на Волковом кладбище была переполнена.

Много молодежи, студентов.

От больницы на Бронницкой улице и до самого Волкова, хоть и двигалась впереди процессии, как положено, «печальная колесница», гроб несли на руках.

В церкви возжены были сотни свечей. В их свете сияла золотая парча покрывала, жарко пылали алые розы и маки.

Как-то само собой — иначе просто не получалось — автору «Красного цветка» венки и букеты заказывали из красных цветов.

Пальмовые ветви тоже приносили («Пробито стекло. изогнулось железо, // И путь на свободу открыт...»)

Лицо Гаршина в последние мгновения, пока доступно было созерцанию, с венцом на челе, поражало особенным сходством с лицом библейского пророка, апостола, мученика.

Сравнения эти, при жизни прилепившиеся к Гаршину, после его смерти повторялись почти непременно.

С Христом его тоже сравнивали.

...Как будто для тебя земная жизнь была
Тоской по родине, недостижимо дальней...

Библейское лицо умершего Гаршина запечатлел Репин.

18

Пока шло прощание, художник, стоя на правом клиросе, делал последний портрет дорогого друга.

Репин вспоминал, что с первого же взгляда на Гаршина захотел написать его портрет.

Но портрет был написан несколькими годами позже их первой встречи.

Гаршин сидит у письменного стола, заваленного рукописями. Фигура взята сбоку, но лицо повернуто к зрителям. Поразительный взгляд прекрасных глаз — поистине «изумительной искренности и великой любви сосуд живой». Репин писал: «Гаршинские глаза, особенной красоты, полные серьезной стыдливости, часто завлакивались таинственной слезою».

Окончив портрет, Репин написал П.М.Третьякову о Гаршине: «Как кристалл чистая душа!».

У картин, как и у книг, свои судьбы.

Волею непростой судьбы репинский портрет Гаршина оказался за океаном, в Нью-Йорке, в Метрополитен-музее.

Неделю назад мои друзья, Инна и Слава, проходя по Музею, сфотографировали портрет и — волшебством сегодняшней техники — через секунду он появился на экране моего компьютера.

Репродукции с этого портрета есть в каталогах и альбомах, да и в моей первой — ЖЗЛовской — книге о Гаршине он напечатан на переплете, но, право же, нежданное явление портрета вдруг радостно прервало привычный будничные поток времени, прозвучало дорогим сердцу приветом от любимого Гаршина, от Репина, который тоже не однажды обживался на страницах моих книг, от милых сердцу американских друзей. Приветом моего сегодня и прошлого моего.

19

Прежде чем взяться за портрет, Репин написал Гаршина на небольшом холсте, почти в профиль — этюд для головы царевича на картине «Иван Грозный и сын его Иван».

Картина произвела на Гаршина огромное впечатление.

Он писал другу:

«Как мне жалко, что тебя здесь нет!.. В каком бы восторге был ты теперь, увидев «Ивана Грозного» Репина. Да, такой картины у нас еще не было, ни у Репина, ни у кого другого — и я желал бы осмотреть все европейские галереи для того только, чтобы сказать то же и про Европу... Представь себе Грозного, с которого соскочил царь, соскочил Грозный, тиран, владыка, — ничего этого нет, перед тобой только выбитый из седла зверь, который под влиянием страшного удара в минуту стал человеком. Я рад, что живу, когда живет Илья Ефимович Репин».

Быстрым карандашом набрасывал Репин последний портрет Гаршина.

Яркой акварелью подчеркнута выделил на рисунке красные цветы.

Очень точно замечено (Н.А.Любович), что подпись Репина поставлена не там, где обычно ставится, — в углу работы, а — посредине листа. Она как бы влетена в красный веночек, поставленный у изголовья.

Не знак авторства — прощальное подношение.

.....

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Так получилось, что Пасху 1974 года я отмечал в Ленинграде.

Я вряд ли бы вспомнил, что год был никакой иной, а именно 1974-й, если бы как раз накануне праздника не умер скульптор Вучетич.

В тот день, о котором я собираюсь рассказать, утром Светлого Воскресения, я подошел к газетному стенду (помню — где: на Лиговке) — и увидел некролог.

По тогдашней табели о рангах Вучетич в «армии искусств» был не то что генералом — маршалом. «Перекуем мечи на орала»... И монумент Сталина на Волго-Донском канале, огромностью заткнувший за пояс Колосса Родосского... И мемориал на Мамаевом кургане...

Великий скульптор советской эпохи был высокомерен, деспотичен, груб, любовью сподвижников по искусству не пользовался...

Число острословов в отечестве нашем не скудеет, особенно в годы запрета на острословие. Какой-то из них проводил ваятеля в последний путь непечальной эпиграммой: «На Пасху нынче выпал номер: // Христос воскрес, Вучетич помер»...

Так само собой запомнилось, что время действия — год 1974-й.

Место действия, как сказано, — Ленинград.

Можно держать пари с самым изощренным спорщиком, что во всей нашей 200-миллионной стране не было в ту пору и одного человека, который предполагал, что это, казалось, навеки прилепленное к городу название не продержится отныне и двух десятилетий.

Гостиница, где я (по знакомству, конечно) поселился, была тоже — «Ленинградская».

В прошлом она именовалась — «Англетер».

Едва ли не на второй день моего внедрения в гостиницу коридорная Елена Николаевна показала мне дверь номера, в котором покончил с собой Сергей Есенин. (Теперь, впрочем, в справочниках стали писать «найден мертвым»: гипотеза убийства оказалась для многих весьма соблазнительной.) Елена Николаевна (а не Людмилой ли ее звали?) поведала весело, что время от времени неизвестные озорники звонят, непременно среди ночи, по телефону в номер и сообщают, что в комнате живет дух поэта, или просто говорят от его имени; многих постояльцев это сильно пугает. «Ну, что ж, — сказал я, — теперь хоть понятно, чем заняться в случае бессонницы...» Елена Николаевна засмеялась и погрозила мне пальцем: «Только попробуйте!»

В ту пору считалось, что все коридорные в гостиницах — секретные сотрудники известного учреждения, которым поручено всеми возможными способами наблюдать за каждым постояльцем. Может быть (даже — наверно), так оно и было, но мы часто уставали подозревать и быть осторожными, так же, как в коридорных особость их природной личности одолевала приверженность секретным поручениям.

Елена Николаевна была немолода (для меня тогдашнего — тем более), за пятьдесят, сложена хорошо и крепко, невысокая, плотная, с лицом не то, что бы красивым, но правильным, ясным (такими рисуют учительниц на картинках в школьных букварях). Профессор Ю.О., свой срок отсидевший, однажды сказал задумчиво молодому человеку с выразительным еврейским профилем: «Вас секретным агентом не сделаешь: вы заметны в толпе». Елена Николаевна в толпе была бы незаметна, но сама по себе, вне толпы, смотрелось вполне штучной, привлекательной женщиной.

Меня, при моей постоянной встревоженности, манило в ней доброе, светлое, слегка даже усыпляющее спокойствие, которое она излучала, — такие женщины на меня всегда сильно действовали.

3

Мой ленинградский приятель Гор предложил пойти вечером в церковь на Пасхальную службу.

В Ленинграде был известный писатель Геннадий Гор, но я пишу не о нем.

Мой приятель Гор (вообще-то Егор, но в своем кругу так уж повелось — Гор) литературой не баловался: был он артистом, чтецом, и числился, кажется, при филармонии. Не помню, чтобы он участвовал в каких-либо заметных концертах, — чаще всего гоняли его по школам, где он на вечерах и пионерских сборах развлекал слушателей юмористическими рассказами для детей и юношества, вроде «Гадюки» Юрия Сотника. Особенно востребован оказывался Гор в зимние каникулы, время новогодних елок, потому что славился умелым Дедом Морозом, — у него были какие-то свои особенные номера, например трюк с леденцовыми конфетами в виде сосулек, которые он доставал по знакомству на какой-то базе.

4

Прежде я не замечал в Горе ни малейших признаков воцерковленности. Разве что иногда он показывал уморительно смешные сценки, изображая, как, будучи студентом, сопровождал в церковь знаменитую старую актрису, в театральном училище очень ему покровительствовавшую. Но когда на этот раз он заговорил о пасхальной службе, было в его темно-серых глазах нечто такое, что не позволяло усомниться в искренности и силе владевшего им чувства.

5

«И зачем в такую погоду? — как-то даже по-свойски посетовала Елена Николаевна, когда я сдавал ей ключ, отправляясь на свидание с Гором. — На улице совсем промозгло. Всё равно напрасно проходите. Вон в буфете и тепло, и светло. Коньячок хороший, и даже кекс *Весенний* завезли».

Кексом Весенним официально именовались пасхальные куличи, выпускаемые с недавних пор промышленным способом в целях конкуренции с домашними, которые население продолжало во множестве выпекать несмотря на антирелигиозную пропаганду.

«Господи! — подумал я. — Неужели она и в самом деле знает всё, что со мной происходит, и даже то, что произойдет, о чем я сам еще не ведаю?..»

6

Возле церкви, куда меня привел Гор, стояла толпа.

Здание было окружено милицией и цепью дружинников с голубыми повязками на рукаве, будто там, внутри, шла не пасхальная служба, а заседание Политбюро.

Действующих храмов в городе оставалось всё меньше.

«В Челябинске, в Пензе, я туда с концертными бригадами ездил, уже и теперь по одной действующей церкви. И то на кладбищах, — сказал Гор. — Через двадцать лет наши внуки будут про церковную службу в старинных справочниках читать».

(Через двадцать лет наш Гор, уже священник, отец Георгий, будет настоятелем храма в одном из приволжских городов. «Благоговею и безмолвствую перед святою твоею волею и непостижимыми для меня твоими судьбами».)

Двери храма были открыты. Воздух в храме был напитан желтым светом свечей и дыханием молящихся. Оттуда доносилось пение, заглушаемое разговорами в толпе.

На улице всем распоряжался короткий широкоплечий человек в плоской кепке, помеченный голубой повязкой дружинника. Широко расставив короткие ноги, он стоял на паперти, как капитан на своем мостике, и остро всматривался в толпу. Время от времени он высматривал какую-нибудь старушку, зычно командовал: «Мамаша, пройдите в храм!» Дружинники расступались, образуя узкий проход, избранная старушка, поспешая, пока начальник не передумал, устремлялась к церковным дверям.

Вечер был сырой, знобкий. Питерская пронзительная сырость заползала за воротник, в рукава.

«До полуночи, наверно, не достою», — признался Гор. Его заметно потряхивало. На нем было его несменяемое, на все сезоны

серое пальтецо с пояском. (Врачи находили у него непорядки в легких, послали в Крым. Денег на путевку не было, он нанимался в санатории вахтером при шлагбауме.)

«Может быть, и правда, — в гостиницу, — вспомнил я Елену Николаевну. — В буфете коньяк хороший, кекс *Весенний*...»

«Лучше пойдем в Клуб... — Гор назвал какое-то имя. — Сегодня для отвлечения народа от опиума по клубам фильмы показывают, каких в кино век не увидишь...»

7

Мы доехали до Васильевского и пошли по какой-то Линии.

Я сказал: «Вот мы идем, как Лука и Клеопа, и полагаем, что Он умер, и по недостатку веры забыли, что непременно воскреснет. А Он — воскрес, и идет рядом, но глаза у нас удержаны, и мы не узнаём его. И Он говорит нам: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему...»

История о пути в Эммаус — одна из моих любимых в Книге.

Мы говорили о физической осязаемости евангельского текста. В каждом слове открывается картина мира, в котором ты живешь и действуешь, который ощущаешь каждой клеточкой тела.

Об этом хорошо у Чехова в «Студенте».

Холодным темным вечером в Страстную Пятницу студент духовной академии, сын сельского дьячка, набрел в поле на костер, который разожгли две крестьянки, мать и дочь, и вспоминает, грея руки над огнем, историю отречения апостола Петра.

«Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!»

Студент пересказывал евангельскую историю, и ему казалось, что он видит всю цепь, которая связывает настоящее и прошлое: дотронулся до одного конца и дрогнул другой. Он же, рассказывая, чувствовал себя и на том и на другом ее конце.

Вечность — это не остановка движения времени, а единое бесконечное пространство его движения.

«Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра».

...Годы спустя после той ночи, о которой пишу, уже в конце 1980-х, но такой же мартовской Пасхальной ночью, совсем с другим спутником я шел по Иерусалиму, и было тоже холодно (для нас, пришедших с севера, неожиданно холодно), — мы тоже вспомнили Луку и Клеопу и апостолов, физически ощущая, как смятенно брели они той длинной страшной ночью, кутаясь в свои суконные плащи.

8

В клубе, куда привел меня Гор, показывали фильм Жана Кокто «Орфей».

9

Фильм о том, что такой же неразрывной цепью (тронешь один конец — дрогнет другой) связан наш временный мир и иной, *Великое Может Быть* (по слову Рабле), которого мы же становимся, или являемся, обитателями.

В одном давнем своем повествовании я рассказывал о страшном, навсегда ворвавшемся в память впечатлении: вызванный к дорогому покойнику бальзаматор, отрекомендовавшийся «заморозка», надевает красные скользкие резиновые перчатки.

В фильме такие перчатки — непременный атрибут Смерти (Мария Казарес).

10

Я возвратился в гостиницу далеко за полночь.

«Совсем замерз? — посочувствовала Елена Николаевна. — Полгорода, наверно, исходил?»

Она положительно всё обо мне знала.

«Идите, переодевайтесь скорее. Я вам тут коньячку припасла».

Через минуту-другую она постучала в дверь номера. В руке у нее была тарелка, на тарелке — стопка коньяка, несколько ломтей кулича и непредусмотренное красное яичко.

«Разговляйтесь».

«А вы?»

«Мне нельзя. Я на посту».

Я быстро залпом выпил коньяк.

«Воскрес?» — рассмеялась Елена Николаевна.

Светлое Воскресение распахнулось поистине — светлым.
 Утро было солнечным, ярким, по-весеннему молодым.
 Прямоугольник окна заполнило голубое, будто промытое небо.
 От мглы вчерашней и следа не осталось
 И тотчас (без обдумывания, без решения) само собой понятно
 стало — на Волково.

.....

На площади, перед входом в гостиницу (такого и не придумаешь, очень уж неожиданно!) — женщина с зеленым эмалированным ведром продавала красные гвоздики.

.....

У ворот кладбища толпился народ.
 Так же, как накануне у церкви, только людей поменьше.
 Люди держали в руках корзины, клеенчатые сумки с провизией для поминок, узелки — в косынках увязанные кулички.
 Ворота были заперты.
 На железной решетке — лист картона с наспех написанным объявлением: *«Кладбище закрыто на просушку»*.
 Звучало загадочно, даже мистически.
 В воротах, по ту сторону решетки, прохаживался милиционер.
 Я протолкался вплотную к решетке, окликнул его.
 Он приблизился.
 «Вот, — я показал ему гвоздики. — Специально из Москвы приехал».
 «А удостоверение имеется?»
 У меня в кармане был билет писательского союза, но я протянул ему то ли пятерку, то ли трешницу. Он взял.
 «Родные, что ли?»
 «Близкие».
 «Фамилия какая?»
 «Гаршин».
 «Правильно. Есть такие».

Он слегка приоткрыл ворота и тотчас с лязгом снова захлопнул... Я едва успел проскользнуть в образовавшуюся щель.

«Цветы — другое дело, — громко сказал милиционер, явно рассчитывая, что стоявшие неподалеку его услышат. — А то куличи, понимаешь, яйца лупят, у кого портвешок, а у кого и белое. Воспрещено...»

.....
.....

Над кладбищем была еще опрокинута прозрачная пустота. Но разогретый весенним солнцем воздух уже густел в кронах старых деревьев с окаменевшей, как гранит памятников, чернеющей наростами корой, на концах черных заскорузлых сучьев светлели молодые побеги.

«От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях».

Красные цветы на черном камне пламенели маленьким жарким факелом.

Часть IV.
Званные и избранные

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Достоевский умер 28 января 1881 года в 8 часов 38 минут вечера.

2

(Много чисел в одной фразе, особенно «восьмерок». «8» часто рассматривают как поставленный вертикально знак бесконечности.)

3

Достоевский умер за сутки до сорок четвертой годовщины со дня кончины Пушкина. Образ Пушкина был в центре многих раздумий Достоевского в последний год его жизни. В июне он участвовал в торжествах, посвященных открытию в Москве памятника поэту, произнес свою знаменитую речь, ставшую событием в истории русской мысли, спорил с критиками этой речи, отстаивая свои идеи.

4

Он умер за месяц до убийства (1 марта) царя Александра Второго, — проживи Достоевский дольше, это событие, конечно, существенно повлияло бы на его замыслы и их воплощение.

5

Два десятилетия спустя Алексей Сергеевич Суворин дважды (видно, зацепило!) вспоминает в дневнике о давней беседе с Достоевским.

Беседа не раз упоминалась и воспроизводилась во всевозможных изданиях, но кто-то, может быть, всё же не знает о ней, кто-то не помнит, главное же побуждение заново привести суворинские строки — живое чувство, что разговор был для Достоевского не рассуждениями «вообще», а пробой замысла, развитием вслух главной (или важной) линии возможного или задуманного творения.

6

Беседа, о которой веду речь, случилась в феврале 1880-го, в тот самый день, когда террорист стрелял в графа Лорис-Меликова, по манию царя взявшего в руки все нити высшей власти.

(В тот самый день, когда Гаршин — я об этом уже упоминал — написал всеильному диктатору письмо с просьбой, или требованием, простить человека, его, диктатора, убивавшего.)

Совсем незадолго до того был совершен взрыв в Зимнем дворце, лишь случай уберег царя от гибели.

Скорей всего, Суворин, услышав о покушении, поспешил к Достоевскому обменяться суждениями о свершившемся событии (нам, тем более ныне, при господстве «мобильников», трудно представить себе *бестелефонную эру*). Беседовали в гостиной, по воспоминаниям Суворина, маленькой, обставленной бедной белой столовой мебелью (Достоевский редко приглашал посетителей в кабинет).

Достоевский во время разговора сидел на диване и (весьма для него характерно) набивал папиросы.

7

(Странно... или — знаменательно: следующим утром Достоевский отправился на Семеновский плац — смотреть казнь. На тот Семеновский плац, куда тридцать лет назад он сам был доставлен для приведения в исполнение вынесенного ему смертного приговора.)

8

Из двух дневниковых записей Суворина беру позднейшую, 1903 года (первая была сделана в 1899-м): в этой записи сильнее,

очевиднее передано стремление Достоевского творчески воплотить происходящее. Его слова чудятся импровизированным конспектом грядущей творческой работы.

9

«Представьте себе, — пересказывает Суворин слова Достоевского, — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек и притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и всё оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину». Мы это слышим. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городскому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошел бы...

— И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до вашего прихода, набивая папиросы. И перебрал все причины, которые заставили бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумывал причины, которые бы мне не позволили это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком. Я представлял себе, как я приду, как на меня посмотрят, как меня начнут допрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатают: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена, они за это деньги получают. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас всё ненормально, оттого всё это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых. Я бы написал об этом, я бы мог сказать много хорошего и полезного и для общества, и для правительства, а этого нельзя. У нас о самом важном нельзя говорить...»

10

Наверно, эти размышления, эти темы явили бы себя в продолжении «Братьев Карамазовых», которое Достоевский собирался непременно написать. Действие романа должно было происходить уже в восьмидесятые годы.

Об этом находим и в самом романе, на первых же его страницах. Действие его (*первого* романа, по определению писателя) происходит тринадцать лет назад. «Главный роман второй — это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент», — предупреждает Достоевский в предисловии «От автора» (1879).

После 1 марта 1881-го, после убийства царя, развитие тем, намеченных в разговоре с Сувориным, становилось неотвратимым.

11

«Смерть унесла его действительно полного замыслов», — годы спустя вспоминала жена писателя, Анна Григорьевна Достоевская.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Утром 28 января Достоевский, еще лежа в постели, попросил жену подать ему Евангелие.

В минуты сомнений, душевного смятения он нередко открывал Евангелие, прочитывал первый попавший на глаза стих на левой странице и, толкуя прочитанное, пытался определить, что ждет его в недалеком будущем.

В последние дни он худо себя чувствовал — у него начались приступы горлового кровотечения.

По свидетельству современника, потеря крови сильно его истощила, голова упала на грудь, лицо потемнело.

2

...Открылось Евангелие от Матфея, третья глава, то место, где Иисус приходит креститься к Иоанну. Достоевский попросил жену прочитать вслух выпавшие строки.

«...Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне. Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так предстоит нам исполнить всякую правду».

Когда я впервые прочитал в воспоминаниях А.Г. Достоевской эту сцену, я, помню, тотчас взял свой экземпляр Нового Завета, чтобы проверить выпавшие строки.

Я неплохо знаю евангельский текст, но совершенно не помнил его в приведенном Анной Григорьевной варианте.

И в самом деле: у меня в книге говорилось несколько иначе: «...Но Иисус сказал ему в ответ: *оставь теперь*; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».

Новый Завет, которым я обычно пользуюсь, — двуязычный, издания 1885 года, увидел свет через четыре года после смерти Достоевского.

В пору моей юности, когда книга мне досталась, она числилась «дореволюционной», теперь перешла уже в разряд «старинных».

Книгу подарила мне мама.

Я прожил с мамой, возле нее, шестьдесят шесть лет жизни, много о чем с ней переговорил, но разговор о вере у нас никогда не возникал.

Ни к какой конфессии мама себя совершенно очевидно не относилась, религиозными вопросами, столь же очевидно, не интересовалась, но назвать ее атеисткой я никак не решусь.

Ее вера в Бога была скорей своего рода *суеверием Бога*: Бог существовал в ее жизни как некий оберег, пожалуй, не более. «Дай Бог», «не дай Бог», «ну, с Богом», «упаси Бог»... — вот и всё с Ним общение, но это были не просто привычно срывающиеся с языка речения, а, пусть не всегда осмысленная, молитва.

Евангелие мама, по ее признанию, ни разу не открывала с тех пор, как сдала экзамен по Закону Божию в Томской гимназии, то ли в 1908, то ли в 1909 году. Мама, хотя и еврейка, от экзамена почему-то не была освобождена и получила даже пятерку, — правда (так она объясняла) не за отличное знание предмета, а потому, что, отвечая, прочитала лермонтовское «По небу полуночи ангел летел», ею очень любимое, и этим весьма ублажила экзаменаторов.

Вручая мне книгу, мама сказала, что без Евангелия, как без Пушкина или Толстого, в жизни не обойтись (хотя до того, прибавлю справедливости ради, в нашей домашней библиотеке его не было), — я и в самом деле с тех пор без него не обходился.

5

Евангелие тогда было книгой не то что бы официально запрещенной, но *официально нежелательной*; общение с ним вызывало подозрение властей предержавших.

6

...Уже в самом конце 1960-х я занимался однажды в Ленинской библиотеке, *Ленинке* (писал книгу о художнике Николае Николаевиче Ге, создателе знаменитого цикла живописных полотен на евангельские темы).

Мне понадобилось проверить какую-то подробность в книге Нового Завета.

Я выписал требование и отправился в картотеку — поставить шифр.

Шкафы с ящичками картотеки располагались в громадном зале, как бы окаймлявшем беломраморную парадную лестницу.

Каково же было мое удивление, когда среди миллионов карточек, на которых нанесены были названия почти бесчисленного количества книг, хранящихся в главной библиотеке страны, я не обнаружил ни (на «Б») Библии, ни (на «Е») Евангелия, ни (на «Н») Нового Завета.

В карточки, чудилось, было вписано всё, что только возможно, от древних манускриптов до семнадцати машинописных экземпляров диссертаций, защищенных по «Белой березе» Михаила Бубеннова, но той, самой известной миру Книги, которая мне была необходима, — не было.

Я подал требование без шифра.

Через час-другой сотрудница, дежурившая на выдаче книг, глядя на меня с сочувствием, мною не оцененным, предложила мне пройти в комнату номер такой-то.

Не вполне сознавая, в чем дело, я шел по служебному коридору среди напозавших на меня стен, дверей и выгородок.

В комнате номер такой-то, тесной казенной клетушке, заставленной казенными шкафами, за казенным письменным столом, который мог без грима сыграть в любом фильме самого себя, сидела казенная женщина, так же хорошо мне знакомая, как письменный стол, как шкафы. Сколько уже пришлось видеть таких женщин в таких кабинетах — темно-синий мужского покроя костюм, недобрые глаза, тонкие губы.

«...Мы пошлем это по месту вашей работы! — женщина помаживала в воздухе заполненным мною листком требования (без шифра); она едва сдерживала ярость, не потратив до того ни минуты, чтобы разогнаться, разгневаться. — В отношении вас будут приняты надлежащие меры!..»

Я покорно опустил голову, повернулся и молча вышел из такой-то комнаты.

7

Евангелие, подаренное мне мамой, принадлежало раньше нашим соседям (дверь в дверь на лестничной площадке).

Соседи — супружеская пара, — много старше моих родителей, числились в нашей семье *стариками*.

Я когда-то уже писал о них.

У стариков была собачка, черная такса, по-собачьи, наверно, такая же старая, как хозяйева (во всяком случае, без собачки я их не помню).

Старики были люди верующие. Даже в самые опасные тридцатые годы к ним иногда приходил священник и служил у них на дому. (Литургию, как я теперь понимаю.)

От нас *старики* не таились.

Однажды я случайно оказался у соседей, когда появился священник. Облачение на улице священники тогда не носили, но я — по длинному, черному пальто, по черной шляпе, по бороде, которую уже редко у кого можно было встретить, всего же более потому, что всегда втайне ждал, что такое случится, — сразу сообразил, *кто это*. Священник снял шляпу, развязал на затылке шнурок и потрянул головой, распуская длинные волосы. «Ты иди, иди себе», — сказала мне старушка-соседка. Старик-сосед, видно, растерявшись, неуверенно погрозил мне пальцем. «Ничего, ничего, всё слава Богу», — священник улыбнулся и погладил меня по голове.

Встреча со священником, вот так, в четырех стенах, была в нашей детской жизни событием необычным, об этом очень хотелось рассказать кому-нибудь, но я знал, что надо *помалкивать*. Школу *помалкивания* благодаря маминой постоянной настороженности я прошел еще в самом невинном возрасте...

Вскоре после войны старик-сосед умер. Старушка осталась вдвоем с собачкой.

Из кухонного окна я видел, как они выходят гулять во двор — обе маленькие, почти бесплотные, всегда (казалось) будто слегка дрожащие. У таксы были ревматические узловатые лапки, шерсть на боках заметно поседела.

Когда старушка-соседка совсем занемогла, она позвала на помощь большую голосистую женщину из соседнего двора, которую все называли просто по фамилии — Капитонова.

Капитонова подрабатывала стиркой на дому и уборкой квартир. «Еврей стирать не любят», — делилась жизненным опытом Капитонова, хотя среди ее работодателей имелись люди разного происхождения, даже холостяк-лезгин из квартиры шестьдесят.

«Я за псом ухаживать не нанималась», — объявила Капитонова, едва появилась у старушки-соседки. Сунула собачку в клеенчатую сумку и унесла куда-то на живодерню.

Старушка тоже не зажила.

Вот такое *Му-Му*...

У Капитоновой мама за пятерку, а то и вовсе за трояк, и купила для меня Евангелие, «церковную книжку», как назвала сама Капитонова.

Евангелие это я хорошо знал — прочный светло-коричневый переплет с золотым тисненным восьмиконечным крестом: книга всегда лежала на маленьком столике в спальне у *стариков*, там же, на столике, стояла небольшая икона в серебряном окладе.

Капитонова сказала маме, что «церковную книгу» старушка подарила ей перед смертью. Мама поначалу усомнилась было («Не иначе, стащила. Еще, поди, и икону прихватила»), но почти тотчас покаялась в торопливой подозрительности: «Да ведь Бог ее знает. Недаром старушка всякий день эту книгу читала».

Кое-где в книге между страницами сохранились засушенные цветы, неведомо когда туда положенные...

Тоже примета времени, эпохи.

«Цветок засохший, безуханный, // Забытый в книге вижу я...»

Кому ныне придет в голову пометить память о чтении положенным в книгу цветком?..

Да и чтобы в голову пришло, читать надо иначе, нежели мы теперь читаем. Не в вагоне метро. Не в очереди у врача. Не привычно перед сном.

Чтобы цветок сорвать и в книгу положить, читать надо, уединившись в саду или в лесу где-нибудь. Цветок притом не закладка — запомнить страницу: цветок — след слитого с чтением события, раздумья, чувства, воспоминания. «...И положен сюда зачем? // На память нежного ль свиданья, // Или разлуки роковой, // Иль одинокого гулянья // В тиши полей, в тени лесной...»

И не во всякую книгу цветок положишь.

В детективе, к примеру, не приживется...

9

Цветы в моем Евангелии были большей частью — анютины глазки.

Белые с лиловым.

Они иссохли, потерялись до неосязаемости, выцвели, сделались почти прозрачными.

Я по беспечности долго ничего не предпринимал, чтобы уберечь их; цветы рассыпались, обращаясь в прах. Когда же я спохватился, в полной целостности остался лишь один-единственный цветок. Я не без труда упаковал его в прозрачный слюдяной пакетик и оставил лежать там же, где он пребывал прежде, между страницами 774-й и 775-й, — начало апостольского послания, открывающегося словами: «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях».

Сколько лет этому цветку? Может быть, уже и — сто.

Во всех случаях на циферблате времени он куда ближе к Достоевскому, чем к нашему Сегодня.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Евангелие, которое постоянно (и, соответственно, в последнее свое утро 28 января 1881-го) читал Достоевский, он обрел как

бесценный дар тремя десятилетиями раньше, зимой 1850-го, в Тобольске, по дороге, когда везли его из Петербурга на каторгу в Сибирь.

Четырьмя годами каторги заменили ему в последний момент, когда готов был уже умереть, «смертную казнь расстрелянием», к которой приговорен был «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского». (*Не слабо*, как принято ныне выражаться.)

2

«...В Тобольске, — вспоминал Достоевский, — когда мы, в ожидании дальнейшей участи, сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь... Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь...»

3

Со времени восстания 14 декабря 1825-го прошла как раз четверть века.

«Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением», — это у Достоевского в письме, по горячему следу.

4

Жены декабристов *благословили* каждого из узников Евангелием (в переплеты книг упрятаны были также деньги — не лишне! — по десяти рублей ассигнациями).

«Участие, живейшая симпатия почти целым счастьем наградили нас», — тоже Достоевский.

5

(Тобольск, в котором я побывал когда-то, запомнился мне простором Иртыша, манившим бесконечностью и волей, и могилами декабристов на старом Завальном кладбище.)

С Евангелием, обретенным в Тобольске, Достоевский не расстался все четыре каторжных года. Оно и в дальнейшей жизни было у него всегда под рукой. По этой для него судьбоносной книге пытался он на перепутье угадывать будущее. Именно ее попросил он подать ему утром 28 января 1881-го. И прочитал открывшийся стих:

«...Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и ты ли приходишь ко мне. Но Иисус сказал ему в ответ: *не удерживай...*»

Общепринятый *синодальный* перевод Евангелия, который все мы читаем, был завершен как раз в том самом году, когда каторжника Достоевского везли через Тобольск. У декабристов же был более ранний — первый — перевод Книги: «Господа нашего Иисуса Христа Новый завет на славянском и русском языках. СПб. 1822». С ним-то Достоевский всю жизнь и прожил.

В синодальном переводе (я уже упомянул) Иисус ответил Иоанну несколько иначе:

«...*оставь теперь*; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду».

Так точнее. Вот и в славянском тексте: *остави ныне*.

Разница — в одном-единственном слове.

Но для Достоевского именно *так* важно и точно, как — у него.

Анна Григорьевна вспоминает:

« — Ты слышишь: *не удерживай*, — значит, я умру, — сказал муж и закрыл книгу».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«...Вдруг за обедом — я один обедал, опоздал — читаю умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом ясно стало, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу».

Это Лев Толстой — Страхову: о смерти Достоевского.

В том же письме: «Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек».

И следом — совсем откровенно: «...Литераторы все тщеславны, завистливы, я, по крайней мере, такой литератор. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда. Всё, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость...»

2

Знакомство Толстого с Николаем Николаевичем Страховым, литературным критиком, философом, публицистом, началось десятью годами раньше — вскоре после знакомства Толстой назвал их встречу *одним из счастлих*, за которое он благодарен судьбе.

Опять же о Страхове: «дорогой и единственный духовный друг».

Похоже, что преувеличивал, но — искренно.

Знакомство с *самым* дорогим и *самым* единственным — *одноцентренным* — Чертковым еще впереди, как и окончательный духовный перелом в жизни Толстого.

3

Почта тогда была быстрая. Письмо из Петербурга в Ясную Поляну шло сутки. Письмо Страхова о смерти Достоевского, на которое отвечал Толстой, отправлено 3 февраля.

Письмо начиналось с высокой трагической ноты: «Чувство ужасной пустоты, бесценный Лев Николаевич, не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы».

Примечательно сближение: пол-Петербурга провалилось — опора отскочила.

Но дальше у Страхова всё какие-то недомолвки, намеки — тут уместнее *достоевское* слово: *обиняки*.

«Хоть мы не ладили всё последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел... и то глубокое уважение, которое мы друг к другу чувствовали, *несмотря на глупые размолвки*, было для меня... бесконечно дорого».

И после чувства на пол-Петербурга как-то незначаче: «Ах, как грустно!.. Всё суета, всё суета!..»

Страхов рассказывал: в одно из последних свиданий он говорил Достоевскому, что удивляется и радуется его *деятельности* — он один равнялся (по влиянию на читателей) нескольким журналам. Но следом — любопытное замечание (хотя имел право, конечно): Достоевский «был проповедник, публицист еще больше (!), чем художник».

И тут же — снова: «Но, кажется, именно эта *деятельность* стугбила его. Ему показался очень сладок восторг, который раздавался при каждом его появлении, и в последнее время не проходило недели, чтобы он не появлялся перед публикою».

Похоже, ответные слова Толстого о тщеславии и завистливости литераторов и о том, что дело (деятельность) сердца не может вызывать зависти — только радовать, не о себе одном.

4

Всё в том же письме, о котором речь, не слишком обширном, но ёмком, Страхов сообщает, что намерен выступить («*вынудили, взяли слово*»!) на посвященном Достоевскому заседании Славянского комитета (14 февраля), и просит разрешения сослаться на высказывание Толстого о «Записках из Мертвого дома». (Страхов прибавляет: «Я стал перечитывать эту книгу и удивился ее простоте и искренности, которой прежде не умел ценить».)

5

Речь о не слишком, казалось бы, приметном, но впечатляющем для всех его участников событии, происшедшем минувшей осенью, за четыре месяца до смерти Достоевского.

Толстой в письме к Стрехову рассказывал: «На днях нездоровилось, и я читал «Мертвый дом». Я много забыл, перечитал и не

знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина... Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю».

Страхов, конечно же, поспешил увидеть Достоевского. Тот был очень обрадован, попросил оставить ему листок с письмом; вот только это «включая Пушкина» его взволновало. «Как — включая?» — спросил он. Страхов ему объяснил, что Толстой и прежде был и теперь особенно стал «большим вольнодумцем».

6

Толстой к творчеству Достоевского относился неоднозначно. Многие в его сочинениях — и то, *что* сказано, и то, *как* это сказано, — было Толстому чуждо, но любовь к «Запискам из Мертвого дома» — у него на всю жизнь.

До поздней старости он подходил к полке, чтобы взять эту книгу и прочитать несколько страниц вслух.

7

В торжественном заседании Славянского Благотворительного общества 14 февраля 1881-го, как и предполагалось, Страхов выступил с воспоминаниями о Достоевском.

Взяли слово, вынудили, — но говорил непринужденно, охотно, горячо, видно было, что от всей души, и с того именно и начал, что объяснил, почему решил говорить, и, того более, дал понять, что именно он, не кто иной, говорить и был должен.

В последние двадцать лет (особенно же в начале этого времени), — объяснял Страхов, — ему досталось счастье быть очень близким к покойному Федору Михайловичу. Достоевский (по слову Страхова) говорил ему: «Да, половина моих взглядов — ваши взгляды»: «Когда мы жили в нескольких шагах друг от друга, ...мы виделись каждый день и даже не раз в день; мы разговаривали без конца и так сговаривались, что и до последнего времени ни с кем другим я не мог вести таких живых и разнообразных разговоров, какие у нас неудержимо начинались при каждой встрече. Мне нельзя не гордиться былым расположением такого человека...»

Достоевскому, — утверждал Страхов, — был открыт высокий идеал святости. Были минуты, когда он и выражением лица, и речью походил на кроткого и ясного отшельника...

8

Надо ли удивляться?.. Конечно, его, Страхова, просила Анна Григорьевна стать первым биографом оставившего наш мир Федора Михайловича.

Страхов взялся за работу охотно, даже с увлечением: «Не ожидал я, что это так меня *увлечет*...»

И перед заново открывшимся космосом жизни и творчества Достоевского многого ли стоят мелкие nelaды и глупые размовки последних лет?

В сентябре 1883 года Страхов докладывал Толстому: «Началось печатание моих *Воспоминаний* о Достоевском. Я всё еще в этой работе...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Гром грянул тридцать лет спустя.

В 1913-м.

(Некоторые полагают, что именно в 1913-м — не в 1901-м — начался новый, XX век и с ним — новая эпоха в истории человечества.)

Никого из главных героев события, встревожившего в тот переломный год литературный небосклон, уже не было в живых. Страхов пережил Достоевского на пятнадцать лет (умер почти день в день с ним — 24 января); Толстой ушел (*ушел!*) еще четырнадцатью годами позже.

2

После смерти Толстого стали издавать его письма и письма к нему.

Писем он написал много — десять с лишним тысяч (а ведь и не все найдены), получил еще больше.

С некоторыми близкими ему людьми Толстой переписывался многие годы, счет сохранившимся письмам идет на сотни. В письмах Толстой и его адресат-корреспондент рассказывают друг другу о себе, о происходящем в мире, делятся мыслями, впечатлениями, суждениями о прочитанном, соглашаются один с другим и не соглашаются, вместе ищут истину.

Обмен письмами образует своего рода биографические повествования, в которых по-своему открывается взятая в каждой переписке своим, особым объективом внешняя и внутренняя жизнь каждого из адресатов-корреспондентов.

Самая долгая переписка (46 лет!) у Толстого с его двоюродной теткой (он шутя именовал ее «бабушкой»), сердечным другом, подчас решительным оппонентом Александрой Андреевной, тоже — Толстой, Самая обширная (под тысячу писем) — с дорогим другом, единомышленником, ревностным помощником Владимиром Григорьевичем Чертковым.

Переписка Толстого со Страховым — одна из самых объемных и серьезных книг взаимной эпистолярной биографии.

Четверть века регулярного обмена письмами.
466 писем.

3

Переписку со Страховым начали публиковать в 1913-м.

И в одном из первых опубликованных (но по хронологии — поздних) страховских писем — сенсация.

Из-за сенсации, должно быть, с него и начали.

Речь в письме о Достоевском, о завершении работы над его «Биографией».

4

Н.Н.Страхов — Л.Н.Толстому. 28 ноября 1883 года:

«...Всё время писания я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти из него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей, и самым счастливым...

...Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими... При животном сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие — это герои *Записок из подполья*, Свидригайлов в *Преступлении и наказании* и Ставрогин в *Бесах*.....

...Как мне тяжело, что я не могу отделаться от этих мыслей, что не умею найти точки примирения! Разве я злюсь? Завидую? Желаю ему зла? Нисколько; я только готов плакать, что это воспоминание, которое *могло бы быть* светлым, — только давит меня...

Вот маленький комментарий к моей *Биографии*... Но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!»

5

«Много случаев рисуются мне...»

Но приводит в письме только два.

Как Достоевский, когда вместе были в Швейцарии, помыкал слугою, — так, что тот даже «выговорил» ему: «Я ведь тоже человек!»

(Это должно было особенно тронуть Толстого, автора «Люцерна», где тоже — Швейцария, гостиница, презрение господ к «маленькому человеку».)

Другой «случай» — страшный.

Ссылаясь на рассказ третьего лица (имя названо), Страхов сообщает, что Достоевский «соблудил» с маленькой девочкой, с ребенком, — *ставрогинский грех*: о нем была заготовлена для «Бесов» отдельная глава, но в роман не вошла.

После публикации письма вдоволь наспорились, отягощена ли совесть Достоевского этим ставрогинским грехом. Не привожу *pro* и *contra*. Тут для нас иное важно: если — Страхов — Толстому — убежденно, без оговорок (обиняков) — считал возможным такое поведать, — значит, верил, что могло быть, что — *было*.

Значит такое входило в состав *его* Достоевского.

6

Анна Григорьевна, вдова Достоевского, в 1913-м еще здравствовала.

Она сама ответила на обвинения (лучше бы сказать — на характеристики) *лицемера* Страхова, пристроила к защите доброго имени Федора Михайловича кое-кого из оставшихся в живых его знакомых.

Слабость оправдательных вердиктов в том, что Страхов, когда писал, думал о — Достоевском, а отвечавшие ему спорили с тем, что писал — Страхов.

Страхов написал о Достоевском: зол, завистлив, развратен.

Ему отвечают: не злой, а — добрый, не завистливый, а — благожелательный, не развратный, а — образец нравственности.

Достоевский в письме Страхова — человек страстей.

Каким он и был.

Эта страсть у него, у Достоевского, — на каждой странице: в каждом образе, в каждой фразе, в каждом слове.

Достоевский — «кроткий и ясный отшельник» — это тоже Страхов. Но это: «бывали минуты, когда он и выражением лица и речью походил...»

Страхов, обличая Достоевского в письме к Толстому, ничуть не отказывался от того доброго, что о нем в «Биографии» написал. Страдал только, что не написал всего, что мог, что хотел. Что *должен был*, если бы писал как мог, как хотел. Если бы за руку себя не держал. Если бы не считал нужным предъявить, по слову его, одну лицевую (говорили еще — *казовую*) сторону жизни.

Письмо Страхова к Толстому — «комментарий» (опять же, его слово) к написанной им книге и вместе горестная исповедь писателя, заведомо ограничившего себя полуправдой, отказавшего себе в возможности сообщить людям истину, которой владел. К которой пришел, обдумывая то, что желал сообщить.

7

В «Братьях Карамазовых» Грушенька поднесла было ручку Катерины Ивановны к губам, но у самых губ *вдруг* ручку задержала. «А знаете что, ангел барышня, — *вдруг* протянула она... — знаете что, возьму я да вашу ручку и не поцелую...»

У Достоевского, у героев его, то и дело это — *вдруг*.

И тогда тоже, когда само это слово не сказано.

8

«Человек *текуч*», — говорил Толстой.

Не однозначен.

Подчас как бы не равен самому себе.

Достоевский это хорошо понимал, всю жизнь об этом думал.

«Человек есть тайна. Ее надо разгадывать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

9

В «Братьях Карамазовых» находим:

«У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель»: изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и в лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении, забредший мужичонка, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то *созерцает*»...

Картина — не «замечательная». Не из лучших работ художника. Но Достоевский цепко и навсегда схватил ее памятью.

Зрители и критики отмечали некоторую неопределенность типа, неточность характеристики: в «созерцателе» обнаруживали искателя правды и юродивого, отрешенного от мира странника и немудреного, даже и нерадивого, мужичка.

Но Достоевскому того и надо. Эта неопределенность, недосказанность ему и дорога, его и привлекает. В ней угадывает он возможность совершающихся — *вдруг!* — поворотов в мыслях и поступках.

Созерцатель этот «вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит всё и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то и другое вместе».

10

Работа над биографией — всегда постижение героя.

Всё большее проникновение в личность героя.

Всё большее уяснение ее.

Чем дальше работал Страхов над биографией Достоевского, чем больше убирал из нее всё то, что не мог, не хотел, не должен был разместить *на лицевой стороне жизни*, тем тяжелее это исключенное из повествования давило его (он так и пишет Толстому, что отброшенные воспоминания *давят* его), тем нестерпимее была

мысль, что под его пером *погибает правда*. То, что он не писал (не мог, не хотел, не должен был), представлялось ему едва ли не главным — скрываемая боль мучительнее, неотвязнее. Запретный плод не всегда сладок, но непременно обладает большим удельным весом.

11

Толстой чутко понял суть терзавшей Страхова боли.

К обвинениям и обличениям, которыми попотчевал Страхов своего героя и давнего друга, он, отвечая, даже не притронулся.

Он писал о тяготе «преувеличения по шаблону, возведения в пророка, святого — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла»: «поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба».

12

Анна Григорьевна заклеила Страхова — *лицемером*.

Посмертно заклеила, тридцать лет спустя,— прочитав его письмо к Толстому.

Но лицемером Страхов не был.

Принимаясь за работу, он, как помним, писал Толстому про глубокое их с Достоевским уважение друг к другу, про дорогое чувство, которое они, несмотря на «глупые» размолвки, друг к другу питали.

Ему, Страхову, казалось, что взаимно.

И о работе над книгой Страхов писал как о борьбе, о борьбе с собой, с материалом — писал, что плакать был готов, оттого что материал оборачивался не тем, чем казался вначале и что невозможно рассказать о том, к чему пришел, что понял, что — *уяснил* (говоря толстовским словом).

13

Нет, Страхов — не лицемер.

Просто он двинулся непростыми путями-перепутьями писателя-биографа, заново обдумывал то, что полагал обдуманым, уяснял то, что полагал уясненным, и — совершал открытия, от которых ему самому становилось страшно.

Как тому мастеру в давнем анекдоте, который подошел к верстаку, чтобы собрать швейную машинку, а у него вдруг получился — пулемет.

Часто кажется, что биограф, в отличие от сочинителя романа или повести, заранее знает всё, что скажет (может сказать) о своем герое, поскольку вышивает по размеченной жизнью канве.

Но отбор слов и нанесение их на бумагу — великое таинство. Отобранное и записанное слово пресуществляется, как хлеб в плоть, как вино в кровь.

Биография — не зеркало и (вопреки принятому противопоставлению) не увеличительное стекло.

В нанесенном на канву орнаменте событий пронизательный биограф угадывает подчас такое, что не под силу разглядеть даже самому совершенному оптическому прибору.

Некоторые черты личности Достоевского, привычки, мнения, поступки, при жизни его вызывавшие осуждение *друга* Страхова и размолвки между *друзьями*, в ходе работы над биографией обретали для *автора* Страхова иное очертание, иной вес. (Может быть — непременно даже! — другой биограф увидел бы многое из того, что лишало покоя Страхова, совсем иначе.)

Страхов написал биографию, которую от него ждали, оставил на бумаге *светлое воспоминание*, которое надеялся оставить, принимаясь за работу, и которое было для него вконец омрачено предпринятым обдумыванием личности героя — пресуществилось в *отвращение*.

Он исповедался дорогому Льву Николаевичу, вряд ли предвидя (в самом начале 1880-х), что частные письма Толстого, а тем более — к Толстому, будут когда-либо преданы гласности.

Через две недели он сообщал Толстому, что ждет от него «что-нибудь с глубокою подкладкою»: «А то наши писания — какое-то баловство для себя или комедия, которую мы играем для других».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Но и Достоевский, не посмертных воспоминаний ради, *при жизни*, — приятельствуя, беседуя, сотрудничая, — непрестанно обдумывал, разгадывал Страхова.

Как всякий раз обдумывал, разгадывал встреченную на жизненном пути тайну, именуемую — *человек*.

Разгадка оказалась — для Страхова — самая неутешительная.

То же — *отвращение*.

Но, в отличие от страховского, прижизненное, утаиваемое (лицемерно) в повседневных общениях и прорывающееся в этих (по Страхову) неладах и размолвках.

Достоевский, не дожидаясь кончины приятеля, сам готовился создать и — того более — предать гласности портрет Страхова (которого в письме к Анне Григорьевне назвал однажды «скверным семинаристом»).

Доживи они оба, Достоевский и Страхов, до этого портрета, разрыв был бы неминуем.

Если бы Страхов даже не пожелал себя узнать (а поди не узнай, когда там не *обиняки*, а прямые указания), если бы даже Страхов тем не менее узнать себя не захотел, после такого портрета отношениям уже не за что было бы уцепиться.

Не берусь судить, насколько портрет соответствует оригиналу, но портрет получился пронизательный.

Не просто портрет — *образ*.

Достоевский, его обдумывая, так себя и настраивает, чтобы в одном взятом лице — открыть, выставить миру напоказ — *образ, явление*.

Увы, в жизни Страхова, задушевного приятеля («Половина моих взглядов — ваши взгляды»), он лицевой стороны не находит. Всё — изнанка.

И с какого боку к сказанному Достоевским ни подступись, в какое слово ни вдумайся, иного чувства, кроме *отвращения*, не вычитаешь.

2

Приведу страничку Достоевского о Страхове почти целиком.

Публиковалась она редко, и всё — в специальных изданиях.

Между тем это текст — *Достоевского*.

Всякий же стоящий внимания текст не только тем интересен, *о чем* он, но и тем, что в нем непременно являет себя автор.

Театральный деятель и писатель Николай Николаевич Евреинов издал когда-то книжку «Оригинал о портретистах». Он привел в ней свои портреты, исполненные разными художниками, и пока-

зал, как каждый из портретистов, рисуя одного и того же *его*, Евреинова, непременно передает — выдает — в портрете черты собственной личности.

В одном и том же оригинале каждый из них видит свое и по своему рассказывает о том, *что* видит.

Черновая заготовка Достоевского не только тем интересна, что это портрет — Страхова, но и тем, что написан — Достоевским.

3

«Н.Н.С. Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе «Жених», об которой говорится:

Она сидит за пирогом
И речь ведет обняком.

Пирог жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил обняком, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевинки. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю, не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек, и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув двух мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми и взыскательными. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем в дураков <...> Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную, грубоэротическую гадость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему всё равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно».

4

«Недурно пущено!..»

(Так принято было отмечать в одном художественном кружке начала минувшего столетия умело исполненные работы товарищей.)

Страхов, скорей всего, познакомился с уничтожающим его рукописным листком.

Анна Григорьевна, вдова, передала ему (полагают) этот черновой набросок вместе с другими рукописными материалами для работы над биографией Достоевского.

Ненароком, конечно. Несмотря на размолвки Достоевского со Страховым, она, конечно, не предполагала всю меру неприязни мужа к давнему приятелю. Иначе после кончины Федора Михайловича не послала бы тотчас за Страховым. Иначе не просила бы именно его составить первую биографию Достоевского.

Если Страхов прочитал запись, этот «посмертный привет», наверно, подправил, не мог не подправить объективы, наведенные на прожитую героем «Биографии» жизнь, не мог не поспособствовать вызреванию *отвращения* к личности его.

Но тогда тем более отдадим должное благородной выдержке Страхова, тайна которого, по слову считавшего его своим учителем В.В.Розанова, «вся — в мудрой жизни и мудрости созерцания».

Отвращение Страхова, кроме того, что вырвалось в единственном письме к Толстому, нигде и ни в чем более себя не явило.

Из переписки Страхова с Толстым имя Достоевского почти исчезло. Лишь десять лет спустя Страхов вновь посвятил личности его несколько строк своего письма. (Речь, однако, о литературе *вообще*, о необходимой объективности ее.)

Страхов писал, что не считает своих мнений и волнений за норму, за пример и закон.

Достоевский же, «создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и был твердо уверен, что списывает с действительности и что такова именно душа человеческая».

Толстой ему возразил. «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее».

В октябре 1910-го, перед уходом из Ясной Поляны, Лев Николаевич читал «Братьев Карамазовых», первый том. Уже с дороги просил привезти ему в Оптину пустынь второй.

Страница жизни Страхова, Достоевского, отчасти и Льва Толстого, таит в себе (или открывает) некоторые сокровенности работы над жизнеописанием вообще.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Запоздалый эпитаф:

«Хорошо описанная жизнь такая же редкость, как хорошо прожитая».

Томас Карлейль

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Слово *жизнеописание* я люблю больше, чем — *биография*.

Оно как-то полнее, даже в произношении; в нем (прошу прощения за каламбур) как-то жизни больше.

От *биографии*, хочешь, не хочешь, отдает канцеляризмом: «анкета, (авто)биография, справка из домоуправления».

Мой давний приятель Петр Павлович Ф. (много старше меня), говоривший о себе, что он бюрократ по призванию, по образованию и по профессии, учил: хорошо написанная (авто)биография — это, когда кадровик, читая ее, от первой до последней буквы ни за что не зацепился глазом.

Биограф (Даль предлагал: *жизнеописатель* и даже *жизтьесказитель*), читая такую биографию, обязан то и дело встречать в ней, или угадывать, камни преткновения.

Юрий Тынянов говорил: счет из ресторана, на обороте которого написано письмо, для него подчас значимее, нежели само письмо.

3

Юрий Тынянов был одним из лучших наших исследователей и историков литературы, потом стал прозаиком, тоже одним из лучших.

Он написал глубокое исследование о «Горе от ума» и роман о Грибоедове «Смерть Вазир-Мухтара» — историко-биографический роман, едва ли кем у нас превзойденный.

Тынянов писал, что литература отличается от истории не «выдумкой», а «большим, более близким и кровным пониманием людей и событий, большим волнением о них».

4

В *литературной* биографии — жизнеописании — непременно два главных действующих лица: герой книги и — автор ее.

Жизнеописатель (*жизтьесказитель* даже), который проходит с героем всю его жизнь и приносит в текст описания («сказания») это кровное понимание всего происходящего и всех, в нем, в происходящем, участвующих, наполняет текст своим волнением о судьбах людей, о событиях на их пути.

5

В тридцатые, особенно — в сороковые годы минувшего столетия советскую биографическую книгу старательно освобождали от литературы, в том смысле, как понимал это Тынянов, освобождали — от волнения.

Жизнеописание часто оборачивалось расползшейся на 15–20 печатных листов исправной газетной статьей — всё в ней было правильно, всё заранее предопределено, всё обосновано «единственно верной» теорией, конфликты — и те как бы запрограммированы, камни преткновения благоразумно убраны с пути.

Все шкафы были освобождены от хранившихся в них скелетов. Скелеты перевели на хранение в опечатанные сургучом сейфы первого отдела.

6

(Политбюро ЦК КПСС — главнее никого и не было! — особым постановлением распорядилось закрыть доступ читателей и иссле-

дователей ко многим документам, хранящим подробности частной жизни Чехова, дабы избежать «дискредитации и опошления» образа великого писателя. Исследователи, не ведая об укрытых сокровищах, стенали лирически безнадежно: «Тайна сия велика есть...»)

7

(До смешного, как известно, всегда один шаг... Когда в ЖЗЛ мастерили биографию французского писателя Анри Барбюса, показалось неудобным — впрочем, бери выше: недопустимым! — что он, коммунист, друг нашей страны, воспевающий Сталина, и — трижды женат. И что же! Было решено: из трех жен сделать Барбюсу одну — обобщенный образ жены писателя-коммуниста...)

8

На пороге шестидесятых (оттепель!) в биографический жанр всё энергичнее и зримее начала вторгаться *литература*.

В новых книгах иначе строились отношения автора с героем. Лицо автора, как и лицо героя, обретало индивидуальные черты.

Свободнее становились оценки.

Шире привлекался исторический материал.

Больше внимания отдавалось стилистическим поискам.

9

Серия «Жизнь замечательных людей» обозначила начало нового пути сменой оформления (оно и сегодня то же) и новой нумерацией (отсчетом, *летосчислением*) выходящих книг.

Первой книгой, изданной в новом оформлении и помеченной как «Выпуск 1» стал «Мольер» Михаила Булгакова.

(Именно здесь, в биографической серии, Мастер после долгих десятилетий официального забвения снова встретился с читателями.)

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Тогда, в шестидесятых, возник любопытный разговор (спор) — о *соизбранности*.

Слово *соизбранность* предложил нам для споров-разговоров, для раздумий писатель Александр Гладков.

Упаси только Бог случайно спутать его с другим Гладковым — Федором.

Федор Гладков был одним из столпов социалистического реализма. В справочнике сказано, что главными темами его произведений являются «социалистические устремления народа». Романы Федора Гладкова об индустриализации, «Цемент» и «Энергия», написанные в конце двадцатых — начале тридцатых годов, были навечно занесены на мраморную стелу образцов советской литературы.

Но в памяти и сердцах народа сохранилось, если не навечно, то надолго (вот уже три четверти века, как явилось свету) сочинение как раз другого Гладкова — Александра: веселая пьеса о войне 1812 года — «Давным-давно», обновленная снятым по ней кинофильмом «Гусарская баллада».

(Борис Пастернак, приятельствовавший с Александром Гладковым, выспрашивал у него секрет создания популярной пьесы.)

Перу Александра Константиновича Гладкова принадлежит еще несколько драматических сочинений, интереснейшие воспоминания, особенно обширные и внутренне завершенные о Мейерхольде, — у него в театре Гладков в молодости успел поработать и всю жизнь считал великого режиссера своим учителем.

Александр Гладков — человек образованный, любознательный. Неудивительно, что шесть долгих лет провел в сталинских лагерях по обвинению в хранении антисоветской литературы.

Тюремщики требовали также, чтобы подписал отречение от учителя, Мейерхольда.

Не отрекся.

О *соизбранности* Александр Гладков размышлял в статье, которая называлась «На полях книги Андре Моруа *Типы биографии*».

Статья напечатана в конце шестидесятых в начавшем тогда выходить при серии ЖЗЛ историко-биографическом альманахе «Прометей».

Сама книга Андре Моруа, автора у нас хорошо известного, появилась несколькими десятилетиями раньше, но тогда, в шестидесятых, для нас не только окно в Европу немного приотворилось, но и окно из Европы — мы жадно хватали всё, что пропустили, обитая за железным занавесом, всё оборачивалось для нас новизной, открытием.

5

Соизбранность — это точность выбора именно «своего» героя, «глубина и интимность понимания» мыслей героя, движения его чувств, мотивов поведения. Это «личный отзвук», который вызывает в авторе всё, что происходит с героем.

При такой — желаемой — *соизбранности* не только автор находит «своего» героя, но и герой находит «своего» автора.

Со-избранность.

6

Но тут же возникает вопрос: возможно ли объективно определить степень *соизбранности* (или, наоборот, *несоизбранности*) автора и героя?

О *соизбранности* автора и героя сам автор и читатель вправе судить совершенно противоположно.

Как и два разных читателя.

Для Гладкова пример полной *несоизбранности*: Виктор Шкловский — Лев Толстой.

Жизнеописание Толстого, написанное Шкловским, в шестидесятые еще пахло свежей типографской краской и шло нарасхват.

Шкловский вряд ли задумывался о *соизбранности*, какой понимал ее Александр Гладков, и уж беспреречно считал себя способным написать хорошую книгу о Толстом, глубоко и точно понять своего трудного героя.

Мнение Шкловского разделяли многие его читатели.

7

В *соизбранности*, какой она видится Александру Гладкову, есть нечто неподвижное, заданное.

Но *соизбранность* не задается однажды и навсегда.

Соизбранность — подвижна, изменчива.

Пока работаешь над книгой, она — развивается.

Я имею в виду не количественный рост (хотя и растет тоже, конечно) — она изменяется внутренне.

По мере уяснения, постижения героя он становится иным, нежели виделся прежде, соответственно меняется и отношение к нему.

Что-то, что прежде особенно привлекало, подчас отступает на задний план, и — вдруг замечаешь — становится особенно дорогое то, что вначале не казалось главным.

К тому же (помним мысль Гоголя) произведение, пока оно создается, меняет автора.

В жизнеописании это особенно действенно.

Долго, иногда — годы, живешь жизнью другого человека, думаешь, чувствуешь, действуешь, поступаешь вместе с ним — как тут самому не перемениться?

Если не переменяешься, значит, не проживаешь с героем его жизнь заново, а решаешь задачу с готовым ответом.

Вопреки Кратилу, скажу, что единожды все же возможно войти в реку, но выйдешь уже из другой реки и другим, чем вошел.

8

Даже когда человек пишет о себе, садится за мемуары, он, проживая жизнь заново, так же по-новому узнает, постигает себя в своем прошлом и, поведя о своем пути, нередко приходит не туда, куда собирался прийти.

9

Лишь когда поставлена точка, определяется — для самого же автора определяется — многое (иногда и главное) в его отношении к герою.

Лев Николаевич Толстой записал в Дневнике, получив известие о смерти дорогого друга, художника Николая Николаевича Ге: «Какая-то связь между смертью и любовью... Когда человек умер, только тогда узнаешь, насколько любил его».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Долго стучали словами по крышке гроба.
Потом стучали комья земли.
Потом всё стихло.
Только какой-то гость
вместо «Вечная память!»
закричал спьяну: «Многая лета!»
И был прав.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Не согласившись с Кратилом, согласимся с Гераклитом: он едва ли не первый сказал, что в одну реку нельзя войти дважды.

Интересно годы спустя снова взяться за жизнеописание человека, однажды уже избранного тобой в герои.

Речь, конечно, не о поновлении прежнего издания, а о новом приступе к работе.

Со мной такое несколько раз случалось.

2

Дважды я писал о Николае Ивановиче Пирогове.
Первую книгу писал молодым.
Вторую отделяют от первой два десятилетия.

3

В молодости манит размах ожидаемой жизни.
Дорога впереди — нескончаема.
Хочется идти быстрее.
Успеть побольше.
Смотришь на других — и восхищаешься умением успевать.

Когда в первый раз взялся за жизнеописание Пирогова, меня не то что привлекало, а прямо-таки поражало обилие сделанного им за одну жизнь.

Университет, оконченный в восемнадцать лет.

Профессорская кафедра, полученная в двадцать шесть.

Тысячи операций, анатомических исследований, опытов.

Открытия и провидения.

Книги и статьи, ученые и литературные.

Педагогическое поприще (попечитель Одесского и Киевского учебных округов). Отважная борьба с косностью в науке и обществе.

Четыре войны (в их числе — осажденный Севастополь)...

Всё в жизни Пирогова выражалось для меня большими числами. Числа приводили меня в восторг. Поспешая за героем, шагающим с невероятной скоростью, я пытался обозначить громадность его деяний. Память о работе осталась почти физическим ощущением огромного масштаба трудов героя, высоких скоростей, жившей в одном человеке решимости объять необъятное и дарованной ему способности это совершить.

4

Через два десятилетия я заново читал труды и записки Николая Ивановича Пирогова.

И снова испытывал изумление и восторг — сколько же он успел!

Но кое-что из того, что раньше сильно волновало, теперь как-то сдвинулось в сторону, прежний шум поутих.

Нечто иное, в давнюю пору оставленное без особенного — исключительного — внимания, явственно бросалось в глаза, остро тревожило.

5

Вот старик Пирогов, вспоминая детство, сердится, что никто не указал ему, ребенку, в звездную ночь на небесный свод.

Вот он благословляет свою няню, солдатскую вдову: в праздничный день она заставила его приметить над раскинутыми на зеленом пригорке яркими шатрами, над пестро наряженной хмельной толпой черную грозовую тучу, — он начал постигать единство и противостояние земли и неба.

Вот вдруг вспоминает поразившее его в детстве изречение из первой попавшей в руки латинской хрестоматии: «Вселенная делится на две части — небо и землю».

Всё, конечно, походя, одно здесь, другое там, но в этом новом моем постижении материала, постижении героя всё будто высвечено — тотчас схватывается памятью, чувством.

Навсегда оставшийся с ним образ огромной яркой звезды (наверно, кометы 1812 года), — увиденной Пироговым в младенчестве.

И — опять же, будто на ходу оброненное — признание вовсе замечательное: оно стало для меня путеводной нитью до конца работы над книгой, над жизнеописанием.

До конца прожитой с Пироговым жизни.

Углубляясь в сущность какого-нибудь предмета, он не в силах забыть о «странном плавании и кружении в беспредельном пространстве тяготеющих друг к другу шаровидных масс», о «существовании бесчисленных миров, составленных из одних и тех же бесчисленных атомов и отдаленных навеки один от другого едва вообразимыми по своей громадности пространствами».

Изготавливая мельчайший препарат, он чувствовал за плечами Вселенную.

О чем бы ни думал, чем бы ни занимался, взору его открывалась «бездна звезд полна...»

6

В новой книге о Пирогове, конечно же, осталось всё, что воодушевляло меня, когда я впервые взялся за его жизнеописание. Гигантский размах пироговских трудов, космические скорости и расстояния его деятельности, научные озарения великой смелости, решительное участие в общей, народной жизни, легендарная искренность (его девиз: «быть, а не казаться»), — всё осталось, конечно, всё, без чего не может состояться жизнеописание Николая Ивановича Пирогова. Но всё обретало для меня особую глубину, сопрягаясь с этой ощущаемой им самим причастностью к необъятному единому мирозданию, которого он чувствовал себя частицей.

7

«Бегут, меняясь, наши лета, // Меняя всё, меняя нас...»
Лета меняются — мой возраст, наш век.

Меняется всё — мир вокруг.

Мы меняемся — я, мой мир в себе, люди, обитающие в изменившемся мире.

Разговор веду о том, что для одного и того же автора один и тот же герой в разное время *по-разному* становится своим.

8

Прожитая жизнь не поддается реконструкции и, будучи частью истории, не переносит сослагательного наклонения. Но эта жизнь продолжается вглубь, отвечая на вопросы, заново поставленные ее описателями и новыми поколениями.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Андре Моруа, «на полях» книги которого Александр Гладков оставил свои заметки, создал биографические книги о Бальзаке и Дюма, о Жорж Санд и Тургеневе, о политике Дизраэли и изобретателе пенициллина Флеминге. (Список неполон.)

Трудно представить себе, что с каждым из своих столь один на другого несхожих героев он изначально, еще до того, как принялся за жизнеописание, испытывал (по Гладкову) *близость индивидуальности и склада ума*.

2

Не говорю уже о том, что «короля делает окружение» (рассказывая о «короле», об этом надо не то что бы всё время помнить, это надо всё время чувствовать).

Кого ни изберешь героем, жизнь тотчас выдвигает антипода.

На первый взгляд, если я с героем *соизбран* (близок психологически, по складу ума), то с «антигероем» непременно *несоизбран*.

Но «антигерой» (антипод) требует понимания столь же глубокого и интимного, как герой.

Без моей с ним, с антиподом, *соизбранности* и мой герой неизбежно пострадает, оскудеет умом и душой, огрубеет в поступках.

Если я не сумел отозваться умом и чувством на жизнь, судьбу, ход мыслей и деяния антипода, не ощутил *соизбранности* с ним, с иными лицами, для моего героя (а с ним — и для меня) непривлекательными, приносящими герою беды, страдания, гибель, жизнеописание непременно отомстит мне неполнотой, неубедительностью. Пушкинским словом говоря: «Боком одним с образцом схож и его перевод».

3

Личный отзвук в той же мере «и я бы мог...», как «а я бы не мог...»

4

Способность к *глубине и интимности понимания* — не от изначально заданной *предрасположенности*, а от степени и характера дарования писателя.

5

Соизбранность являет себя не в заранее заданном отношении писателя к герою, а в поисках, часто трудных.

Соизбранность — в установлении своих отношений с героем, в умении настроить себя на эту *глубину и интимность понимания*, услышать в своей душе *личный отзвук*.

Не заранее дарованное условие — творческий процесс.

«Что ему Гекуба, что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?»

Но актер умеет поднять свой дух до мечты, прожить жизнь Гекубы, как свою, находит в себе сочувствие и сострадание, заражает ими зрителей.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Так вот: *про Гекубу*.

2

Речь пойдет — о художнике Иване Николаевиче Крамском.

Привычный Крамской: бунтарь, объявивший войну императорской Академии художеств, основатель Артели художников (по Чернышевскому: «вместе работать и вместе жить»), один из вождей Товарищества передвижников, «учитель» (слово Репина) и глава нового направления в русском искусстве, замечательный портретист и к тому же создатель «Христа в пустыне», «Неутешного горя», «Неизвестной».

3

Здесь несомненно *зерно образа*, и без всего этого жизнеописание Крамского немислимо.

Не сомневаюсь: есть писатели, которым этого довольно если не для книги о Крамском, то для того чтобы начать книгу...

Наверно, получилась бы прекрасная книга, но я бы написать ее не мог.

Речь не о поисках *своего* героя, а о поисках в герое *своего*.

О личности биографа.

О том, чтобы оказалось дело до Гекубы.

О Гекубе, до которой есть дело.

4

Меня Крамской *встревожил* по-настоящему, когда я прочитал о нем у Нестерова в «Давних днях».

Там Крамской — «поздний»: на вершине славы.

Молодой художник Нестеров появился в Петербурге, стал ходить в Эрмитаж, копировал Ван Дейка. Однажды через зал, где он работал, прошел «особенными шагами, шагами значительного человека... важный господин, ...не похожий на обычного посетителя ничем — ни своим лицом, ни повадкой, ни костюмом. В фигуре, лице было что-то властное, значительное, знающее себе цену. Костюм был — фрак. Министр — да и только...»

Это Крамской явился во дворец давать уроки живописи великой княжне и дочери американского посла.

Впрочем, мимо Нестерова он не прошел: приблизился, внимательно оглядел копию.

(Позже я вычитал где-то про пенсне на черной шелковой ленте: рассматривая картину, Крамской пенсне на переносицу не цеплял, а лишь подносил к глазам. В мою книгу пенсне не попало, но для меня подробность очень дорогая...)

Эффект первой страницы воспоминаний Нестерова («первый удар»!) в том, что большинство читателей держит в памяти лишь «итог жизни» Крамского, то самое *зерно образа*. Художник для них — воплощение демократического, разночинного начала в русском искусстве и русской общественной жизни.

Внешний облик его помнится большинству по «разночиннейшему» автопортрету 1867 года, который бесконечно воспроизводится в массовых изданиях, журналах, календарях.

А тут вдруг — «министр»...

Почти в то самое время, с которого Нестеров начинает свои воспоминания, Репин создал *живописный* портрет «позднего», «значительного» Крамского.

Проницательно умный, но притом и внешне, и внутренне отяжелевший, застывший человек на холсте как бы противостоит тому же человеку на автопортрете 1867 года.

Но в воспоминаниях Репина («Далекое близкое») находим описание наружности «прежнего» Крамского, того, которого Репин некогда встретил при своем появлении в Петербурге. Этот словесный портрет он пишет, держа в памяти несомненно автопортрет Крамского 1867 года, мысленно поглядывая на него.

«Худое скуластое лицо». «Черные гладкие волосы». «Такая трепаная жидкая бородка бывает только у студентов и учителей». «Какие глаза! Не спрячешься, даром что маленькие и сидят глубоко во впалых орбитах; серые, светятся».

«Поздний» Крамской на репинском холсте запечатлен вполне «министром».

Воспоминания Репина о Крамском в «Далеком близком» построены как повествование о превращении учителя, бунтаря, духовного вождя в приземистого «старика» (Крамской умер, двух месяцев не дожив до пятидесяти), стыдившегося порывов и увлечений молодости и постепенно усваивавшего взгляды высоко-

поставленных особ, с которых постоянно «снимал» портреты. Его кабинет — «покои государственного человека, мецената или банкира». Он покупает землю, воздвигает огромную и роскошную дачу. Занят он заказами, берет за работу дорого, вдохновение его не посещает.

8

Всё так и не так.

Крамской и в последние годы оставался руководителем Товарищества передвижников, боролся за его обновление.

И не только заказные портреты писал, хотя и в молодости не чурался заказов.

Вдохновение и заказ тоже не всегда «две вещи несовместные»: многие лучшие, прославленные портреты Крамского исполнены тоже по заказу (по заказу Третьякова, например!).

И сам Репин пылко восторгался иными работами Крамского «последних лет», сгоряча, после смерти учителя, воспевал даже впрямь неудачные его картины.

И о Крамском — «позднем» — Репин говорил различно: в самом тексте «Далекого близкого» находим суждения неоднозначные.

Но у воспоминаний непременно есть свой замысел и, соответственно, свое построение.. Им и подчинен материал рассказа Репина о Крамском.

9

(А вот дача действительно получилась непомерно громоздкая и ненужная.

Крамской однажды сфотографировался перед ней эдаким горделивым хозяином — вздернув бороду и независимо засунув руки в карманы брюк.

Когда в самом начале работы над книгой я увидел где-то в архиве эту фотографию, я решил было, что писать о Крамском не стану.

Но потом она нашла себе место среди материалов к работе и при постижении героя.

В книге о фотографии ничего не говорится, но она оказалась для меня очень дорога: побуждала размышлять о многом, что, не будь ее, возможно, осталось бы без внимания.)

10

Воспоминания Нестерова хронологически начинаются с того, чем Репин кончает. Но замысел их прямо противоположен репинскому. Общий их эффект, сила впечатления, ими производимого, в том, что читатель, изумленно увидевший привычного Крамского важным господином с особенными шагами, «министром, да и только», в конце концов узнаёт, что за всем этим «внешним», «фоном», «инсценировкой» существует прежний, *настоящий* Крамской.

11

Я пишу о том, как выявлялся и являлся — для меня, становился «своим» художник Иван Николаевич Крамской.

Другой биограф — *жизтьесказитель* — шел бы по-другому.

Я начал обретать Крамского в трудную для него пору жизни. У меня почти всегда так. Дни величия и радости открывают мне в человеке меньше, чем дни скорби.

12

В «позднем» Крамском предельно сосредоточилось, явственно обнаружилось и для него самого, и для других, то, что всю жизнь его мучило.

Несоответствие замыслов — пределам дарования.

Порывов к творческой свободе — жестокому подчинению себя «обязательной» работе.

Жажды «не продавать вдохновения» — укоренившемуся быту знаменитого портретиста.

13

Чем больше слава Крамского, тем сильнее он страдал.

Его титуловали великим портретистом, а он твердил направо и налево, что ненавидит портреты.

Он грозился направо и налево (а больше всего — себе самому!), что навсегда бросит писать портреты.

Но он «любил человеческую голову», «любил человеческую физиономию» — это его слова. Он полагал человека величайшей на свете ценностью и был убежден, что никакая книга не в силах так цельно рассказать о человеке, как его изображение.

Портретист по призванию, он писал портреты «со страстью», «с наслаждением» (свидетельства современников) — и страдал от того, что портреты («постылые!») отвлекают его от подлинного творчества, от настоящего дела.

14

Настоящим делом в последние десять лет жизни ему хотелось считать огромное многофигурное полотно, стоявшее на даче в прекрасной мастерской и задернутое коленкорovým занавесом от посторонних глаз.

Крамской всё реже подходил к нему с кистью, потом и вовсе забросил.

После смерти художника товарищи по цеху отдернули занавес и увидели, что затея была безнадежна.

15

Крамской обладал творческим мышлением портретиста.

Рассматривая впервые «Приезд гувернантки» Перова, он говорил, что в картине много фигур лишних: она бы выиграла, оставь художник только гувернантку и купца. Сам Крамской, глядишь, оставил бы только гувернантку.

Он был убежден, что в одной фигуре можно всё передать — «начало и конец».

Так написаны «Христос в пустыне» и «Неутешное горе».

«Неутешное горе» началось с прекрасного рисунка о возвращении в Петербург русских войск после турецкой войны.

На залитом солнцем балконе няня и дети радостно машут проходящим внизу по улице полкам, а в темноте комнаты плачет молодая женщина, мать детей, вдова убитого офицера.

Работая над замыслом «Неутешного горя», Крамской убрал «лишние» фигуры.

На огромном холсте, упрятанном за коленкоровой занавеской, Крамской изобразил Христа во дворе Пилата.

Площадь двора занята сложными архитектурными конструкциями. На террасах, переходах, лестницах разбросано множество фигур воинов, смеющихся над плененным, поставленным посреди двора Христом.

Среди названий, которые придумал для картины Крамской, одним из главных было — «Хохот».

Он объяснял: картина о том, что — «над хорошим смеются».

Всего-то!

И для этого нагромождены десятки поистине *лишних* фигур, в которых не только ни «начала», ни «конца», которым попросту сказать нечего, нечего делать на холсте.

Позже, через несколько лет после смерти Крамского, другой художник, Николай Николаевич Ге, напишет картину «Что есть истина?»: две фигуры, Христос и Пилат, и в каждой, как и в их взаимоотношении, столкновении, «начало и конец» в глубочайшем осмыслении этих понятий.

Крамской *вдохновенно мучился* над портретами, многие из которых составляют его славу, в надежде, что именно так высвободит руки для завершения своего великого полотна.

Он предлагал приятелю, Алексею Сергеевичу Суворину: «Не желаете ли вы купить меня?..» Но тут же с пронзительнейшим вдохновением написал портрет Суворина, в котором что-то такое в приятеле ухватил, что тому сильно не понравилось, а иным современником дало основание утверждать даже, что портрет «пригвоздил» Суворина к стене. Крамской спохватился, пообещал «поправить» портрет — не поправил. В таком деле купли-продажи не бывает. Не продается вдохновенье...

В пору восхождения, работая над «Христом в пустыне», объяснял: в жизни каждого человека бывает момент, когда ему приходится решать «пойти ли направо или налево».

Иногда такой момент затягивается куда дольше, чем на сорок дней — на годы.

В книге Гейне о Людвиге Бёрне, пользовавшейся успехом у русских читателей, Крамской вычитал слова Бёрне об опасности обладания дорогим фарфором: «с приобретением собственности — и вдобавок собственности ломкой — являются страх и рабство». Он присвоил полюбившуюся мысль и писал, слегка переиначив: «Горе тому общественному деятелю, у которого оказались фарфоровые чашки».

Но чашки заводятся.

И он обвинял «общество», обвинял богатых покровителей, которые не обеспечили ему 12 тысяч в год под прикрытую коленкорovým занавесом великую картину, чтобы он мог, ничем не жертвуя, закончить ее.

19

Он отодвигал занавес, подолгу стоял в одиночестве перед громадным набитом фигурами полотном, не притрагиваясь к нему кистью.

Написал о себе — горько: « ...Не мне, бедному, выпадет на долю удовольствие принадлежать к числу нового, живого, свободного искусства».

20

Он умер, работая над портретом: упал на мольберт и провел кистью по холсту последнюю черту.

21

В таком Крамском для меня «начало и конец».

Человек думает, страдает, умеет трудно жить, и, к сожалению, не однажды приходится решать вопрос, пойти ли направо или налево, и заблудиться в пустыне легче, чем в лесу.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Давно не подходил к верстаку.
Может быть, неделю.

Высшие помощники что-то не стучат в мою дверь.

Кажется, что они приходят неожиданно.

Но приходят они только к тому, кто, этого не замечая, об этом не думая, постоянно их ждет.

2

Год стремительно вкатился в лето — июнь.

Листья березы под окном моей светелки что ни день растут и крепнут.

Темнеют.

Сперва, вылупившись, они сияли белесым блеском, как глаза прозревшего от слепоты рождения котенка.

За годы, что я живу здесь, береза вымахала ввысь, и теперь я вижу небо сквозь ее листву.

3

Помощники нынче постучались ко мне вместе со звонком Юли Добровольской.

На Милан, где живет Юля, наваливается летняя жара — пора бежать к друзьям в горы.

Юля спешит с работой: готовит новое издание своей книги по теории перевода.

Много правки, дополнений; еще и хрестоматию решила составить.

Юле — девяносто восемь. Годы не тронули ее красоты.

Хотя она прожила сложную жизнь, о которой рассказала в книге «Постскриптум».

Помощники ее не оставляют.

4

Вчера вечером взял с полки «Летопись» жизни и творчества Пушкина.

Чтение *Летописи* — одно из любимейших моих занятий.

В руках у меня был последний, четвертый том.

Я читал, открывая где придется и перелистывая, тут и там, и то, что читал, тревожило меня так, будто читаю впервые. Подробности,

прежде многожды замеченные, поражали новизной. Всё, кажется, давно известно, связано, и всё при каждом новом чтении будто заново схватывается, постигается, осознается, выстраивается.

И при этом всякий раз непременно находишь что-то новое, до сего часа будто и неведомое.

Неисчерпаемость.

5

Текст точно сам собой спешил в январь 1837-го.

Смерть Пушкина, едва наступив, как-то особо начала жить в нашем сознании, чувстве, памяти.

Неслучайно, конечно, смерти, последним часам, дням посвящена значительная (даже непомерно значительная) часть литературы о поэте.

Смерть Пушкина — не завершение жизни, а — новый ее взлет — воскресение.

Вознесение.

(Сам Пушкин числил Вознесение особо значимым в своей жизни днем.)

6

Тут, на последних страницах, всего чаще читанных, всякая подробность, кажется, усвоена, положена мазком в общую, будто движущуюся перед глазами картину.

И так странно — вдруг встретить... Незнакомое?.. Вряд ли. Скорее, схваченное когда-то, обработанное сознанием и отстраненное памятью в какие-то недоступные глубины — *ничто*.

7

«Январь, до 26 (?). Пушкин посылает записку по поводу своего долга за бюро Н.Н.Карадыкину: «Вы застали меня врасплох, без гроша денег. Виноват — сейчас еду по моим должникам собирать недоимки, и коли удастся, явлюся к Вам».

8

Господи!..

Какой такой Карадыкин!..

Что за бюро!..

Жизни осталось на считанные дни, часы.

Судьба остановилась над пропастью перед последним скачком.

Вершина жизни.

Exegi monumentum!

И — жалкое: «застали меня... без гроша денег».

Какие должники? Какие недоимки?.. Сам весь в долгу, как в шелку. Через два с половиной часа после того, как его, умирающего, положат на диван в кабинете, он позовет Данзаса и, собрав последние силы, продиктует ему наедине список своих долгов, на которые не было ни векселей, ни заемных писем.

Это — «...явлюся к Вам»...

Вроде бы — отдать деньги, коли удастся раздобыть?

Но в Летописи письмо приведено не полностью. В полном тексте далее следует: «Что это с Вами сделалось? Как Вас повидать? Очень надо!».

Слова в оригинале записки густо зачеркнуты. По предположению автора комментария в собрании пушкинских «Писем последних лет», зачеркнуты Карадыкиным.

Записка была передана в опеку, занимавшуюся после смерти Пушкина его делами. Тут же, на том же листе, расписка Карадыкина: триста рублей, следующие ему с покойного Александра Сергеевича Пушкина, он, 10 класса Николай Николаев сын Карадыкин, от опеки получил.

Почему последняя строка письма зачеркнута Карадыкиным (если он зачеркнул)? Может быть, не хотел, чтобы официальные лица вычитали из них какую-то его особую близость с Пушкиным?

И почему это доверительное: «Как вас повидать? Очень надо!»

О Н.Н.Карадыкине знаем, что был он отставной поручик, игрок и кутила и что имя его упоминается в делах Третьего отделения — речь идет о поисках автора и распространении преступной поэмы «Гавриилиада».

В известном справочнике Л.А.Черейского «Пушкин и его окружение» — более двух с половиной тысяч имен.

Рассказ об отношениях Пушкина с каждым из упомянутых там лиц мог бы составить главу, страницу, по крайней мере — интересный абзац в жизнеописании поэта.

Но ни одно жизнеописание не в силах рассмотреть все жизненные связи героя, выстроить всю систему его взаимоотношений.

Каждое жизнеописание — это неизбежная цепь, того более — *система* пробелов.

Каждый биограф берет из окружения героя тех лиц, которые ему нужны, каждый по-своему определяет место выбранного лица в жизни героя.

Но — не только.

Сам замысел книги, который вызревает по мере того, как она пишется, постижение личности героя, которое не прекращается, пока не поставлена последняя точка, само движение материала, помимо воли автора, участвует в отборе действующих лиц, определяет его.

10

Более полувека я, в меру моих сил, изучаю жизнь и творчество Владимира Ивановича Даля, много о нем думаю, пишу о нем.

Печальная радость для далеведа, печальная, горькая — и всё-таки радость: помнить о том, что всю последнюю ночь Пушкина *мой* Даль провел в его кабинете, наедине с ним.

Что всю эту ночь Пушкин держал его за руку, просил ложечку холодной воды, кусочек льда.

Что Даль был с Пушкиным в последних его грезах: «Бодрый дух всё еще сохранял могущество свое; изредка только полудремота, забвение на несколько секунд туманили мысли и душу. Тогда умирающий несколько раз подавал мне руку, сжимал и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем». Опамятовшись, сказал он мне: «Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу по этим книгам и полкам высоко — и голова закружилась...» Немного погодя он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, протянув ее, сказал: «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!» Я подошел к В.А.Жуковскому и гр. Вильгорскому и сказал: отходит!»

Последние слова Пушкина были обращены — к Далю: «Друзья, ближние молча окружили изголовье отходящего; я, по просьбе

его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг будто проснулся, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: «Кончена жизнь!» Я не дослышал и спросил тихо: «Что конечно?» — «Жизнь кончена», — отвечал он внятно и положительно. «Тяжело дышать, давит», — были последние слова его».

11

Мне грустно, читая жизнеописание Пушкина, встретить имя Даля лишь в общем перечне лиц, присутствовавших при кончине поэта.

(А бывает — и вовсе в скобках поставлено.)

12

Что поделаешь!

Еще мудрый Гете находил всякую биографию сомнительной, поскольку автор биографии вынужденно вырывает героя из его бесчисленных связей с окружающей жизнью.

Но жизнеописание — не летопись, не хроника, не справочник. У нее свои пути. И это — пути литературы.

13

На память о Пушкине достался Далю перстень с зеленым камнем-изумрудом.

Пушкин верил, что перстень дарует ему вдохновение, и постоянно его носил.

Вместе с перстнем Пушкин подарил Далю и веру в творческую его силу... Даль говорил про перстень: «Как погляжу на него, пробежит во мне искра — хочется писать...»

14

Мне — в жизнеописании Даля — Пушкин был необходим от начала и до конца книги. Во всех творческих начинаниях моего героя Пушкин был *изумрудным перстнем-талисманом*.

Даль творил, мысленно на Пушкина оглядываясь.

С первым своим литературным опытом — сборником сказок — он отправился к Пушкину.

И за великий свой Словарь, увенчавший его жизнь, он, по слову его, принялся *по настоянию Пушкина*.

Но в жизнеописании Пушкина моему Далю уготовано место персонажа второстепенного.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Растешь от книги к книге, и (если растешь, конечно) — всё менее в тебе охоты помогать герою «тянуть одеяло на себя» (по нынешнему словцу).

Стремишься освободить действующих в жизнеописании лиц от служебной роли, от крепостной зависимости.

Чтобы связаны были с героем, но не привязаны к нему.

Чтобы им не были связаны.

Чем самостоятельнее окружающие героя лица и судьбы, тем объемнее, выразительнее, своеобразнее являет себя личность героя и судьба его.

2

Брюлловский «Последний день Помпеи» — прекрасное целое. Где каждая группа, каждый образ, будучи частью целого, независимы, рассказывают о себе, более того — могут быть «извлечены» из полотна и существовать обособленно, но вполне открывают себя, свой смысл и выразительность лишь во внутренней и внешней взаимосвязи со всем, что происходит вокруг.

Биограф, как всякий художник — слова, кисти, звука — должен овладевать искусством контрапункта, сопряжения частей и целого.

3

В книге о Карле Брюллове я искал этого многоголосия, стремился к тому, чтобы герой и мир вокруг него жили на равных, чтобы современники героя, попавшие в книгу, не только участвовали в судьбе героя, но жили в ней каждый со своей судьбой.

Если такое удастся, личность героя и судьба его в сопряжении с ними выявляются как бы сами собою.

В жизнеописании (не летопись, не хроника), конечно же, не упомянуто изрядное число людей, так или иначе связанных с Брюлловым. В выборе действующих лиц, в отборе событий непременно (часто подсознательно) идешь от целого, подчиняешься ему. Зато многие из тех, кто обрел жизнь в книге, не оставлены мною по дороге, проживают свою жизнь до конца. Книга о Карле Брюллове — это по-своему книга и о них.

4

Рядом с Карлом, по собственному его выражению, горевшим, как свеча, подоженная с двух сторон, живет (не пространственно рядом живет — во времени) брат Александр, способный, плодовитый архитектор и акварелист.

Карл еще в юности пророчил, что из него самого, может быть, ничего и не выйдет, зато из брата Александра непременно *человек выйдет*.

Аккуратный Александр записал в своде правил, с которыми начинал жизненный путь: «Порядок есть гигантская сила для исполнения обширнейших и труднейших предприятий. Никакое предприятие не считать трудным и воображать всегда, что сделал еще мало, есть лучшее средство идя успевать за бегущим».

Слава обоих братьев началась с Помпеи. Карл объявил о себе миру «Последним днем Помпеи», Александр начал восхождение тщательно исполненными рисунками с незадолго перед тем открытых помпейских бань.

Человек из Александра вышел, он мог быть доволен собой, — в известном смысле, он и идя обгонял бегущего Карла.

Он успел чрезвычайно много: строил, рисовал акварельные портреты, в итоге выслужил право на дворянство, пожалованное ему за восстановление Зимнего дворца после истребительного пожара (украсил покои в разных «стилях» — «помпейском», «греческом», «мавританском» — и очень угодил высочайшим обитателям). Жуковский хлопотал, чтобы Карлу поручили расписать стены обновленного дворца, подобно тому, как великие мастера прошлого расписывали Ватикан, но высочайшего на то желания не последовало.

Узнав о смерти брата, Александр отправился в Италию, чтобы привести в порядок дела покойного и вступить в права наследства. Он писал жене (урожденной баронессе Ралль) длинные письма, рассказывал о местах, где прошла его с Карлом молодость, но при этом ни разу не вспомнил имени Карла.

Впрочем, вспомнил однажды. Рассматривая оставшиеся после брата произведения, подвел итог: «Ах! если бы при этих страшных данностях он мог иметь более порядка, этой основы разума...»

5

Почему-то (не умею объяснить) необходимой в книге стала история Исаакиевского собора, жизнеописание здания.

Жизнь Брюллова и его поколения, личность его и тех, кто жил рядом, сам отсчет времени в книге постоянно сопрягались для меня с этим не по правилам задуманным, возводимым и возведенным сооружением, вопреки своей «неправильности» или благодаря ей многое в себе воплотившем, с непреложностью становившимся частью общенародной жизни.

6

Хорошо бы пойти дальше.

Рассказывать в жизнеописании о людях, с судьбами которых судьба героя вовсе не пересекалась, — сопоставление судеб, судеб скрещение.

О людях, вовсе не бывших современниками героя, живших в иное время, даже в иной стране, — здесь свой путь к постижению личности героя, его судьбы.

Есть еще немало возможностей обогащать биографический жанр, не разрушая его и не превращая в какой-либо другой.

7

Хорошо бы...

Конечно, хорошо.

Да время уже не мое.

Вот и июнь, оглянуться не успели, перемахнул за середину.

Скоро дни начнут убывать.

И от этого заранее печалится душа.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Известен афоризм: *«Король умер, а потом умерла королева, — это история. Но: Король умер, а потом умерла королева — с горя, — это роман»*.

2

Историки и романисты говорят о биографии как литературном жанре подчас несколько свысока.

Автор жизнеописания, биограф, видится человеком, которому почему-либо оказалось не дано ни ученое исследование написать, ни роман сочинить.

Автор жизнеописания, как бы серьезно ни был подготовлен к работе, отдает историку высокую строгость исследования.

И как бы ни был одарен литературно, отдает романисту прекрасную свободу «сочинения».

У него, в отличие от историка, своя, предлагаемая целым, описанием жизни и судьбы *данного* человека, оценка событий, фактов, дат.

И своя, в отличие от романиста, свобода.

Его Татьяна Ларина не может «удрать штуку» и без его ведома выскочить замуж.

Судьбу героини пушкинского романа в стихах неожиданно определило развитие замысла, которое автору по-своему стало уже неподвластно.

Но автор биографии Татьяны Лариной заранее знает, что его героиня станет женой генерала («толстого», «в сражениях изувеченного», «ласкаемого двором») и, любя Онегина, останется верна мужу.

3

Это томит до тех пор, пока относишься к литературной биографии либо как к «облегченному» историческому повествованию, в котором вынужденно оставлено без внимания многое, происходившее в мире вокруг героя или в одно время с ним, либо как к «облегченному» роману («недороману»), работая над которым, заранее знаешь всё, что в нем произойдет.

У биографа своя свобода.

Гоголь писал, что всё должен знать о человеке, чтобы *угадывать* его.

«Чем больше вещей принимал я в соображение, тем у меня верней выходило создание».

Между *всё знать* и *угадывать* (создавать) — большой простор.

Это вполне относится к биографии, жизнеописанию как виду литературного творчества.

Биограф, зная, что королева умерла после короля, угадывает, что она умерла — с горя, тогда как для романиста горе королевы и смерть ее — линия сюжета, а историк просто сообщает, что королева умерла «потом», после короля.

Пушкин не мог выдать Татьяну замуж за Онегина, как советовали ему его приятельницы, уездные барышни, — сам роман противился этому, но он не мог помешать ей «удрать штуку» и выйти за генерала — к этому тоже привел его сам роман. Татьяна должна была поступить только так: «заставить» ее поступить иначе значило бы насильно изменить ее личность, пойти против правды художественной.

Биограф Татьяны Лариной, осмысляя всё ему о его героине известное, угадывает побудительные причины ее поступков — и таким образом воссоздает ее личность.

Сама Татьяна в известном смысле действовала как биограф Онегина: по речам и поведению его, по обстановке кабинета, по книгам, которые он читал, по сделанным на полях пометам она угадывала личность своего героя.

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее — слава Богу —
Того, по ком она вздыхать

Осуждена судьбою властной...

.....
.....

Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено?..

7

Герой жизнеописания не знает, что его ждет — через три строки, в следующей главе, на последних страницах книги.

Автор знает судьбу своего героя наперед.

Иногда приходилось слышать, что ради объективности жизнеописания автор должен скрывать это свое знание. Должен идти в ногу с героем.

Здесь в самом посыле — фальшь, предложение писать фальшивя.

(Толстовский Ерошка произносил: «фальчь».)

Свобода автора жизнеописания как раз в том, что ему уже ведомо целое.

Со своей высоты он зорче видит частное, точнее угадывает героя, не мешая при этом себе и читателям искренне восторгаться им, одобрять его или не одобрять, иным его поступкам искренне удивляться.

8

Того более.

Зная, к чему придет герой, с особым волнением, восхищением, изумлением, горечью следишь за тем, как он идет по дороге.

У Даля найдем пословицу: «Сердце без тайности — пустая грамота».

Осмывая целое, легче постигать в деяниях героя эту *тайность сердца*.

9

Можно ли писать книгу о Дале, делая вид, будто не ведаешь, что жизнь его окажется увенчана «Толковым словарем живого великорусского языка»?

Можно ли полноценно написать о Дале — моряке, враче, чиновнике, писателе, этнографе, натуралисте, делая вид, будто не знаешь, что Словарь без остатка, со всеми накопленными на пути словами вберет в себя всю эту многоликую жизнь Даля — моряка, врача, чиновника, писателя, натуралиста, этнографа?

Наоборот.

Не тая ни от себя, ни от читателей, что пишешь именно о творце великого Словаря, получаешь простор для *угадывания* движущей мысли и души героя, причин и следствий его поступков, — для *созидания*.

10

Работая над жизнеописанием, можно открыто пользоваться тем материалом, которое предоставляет автору постижение целого.

Но можно наращивать материал, которым пользуешься, владея целым, постепенно, проживая с героем год за годом.

Я только не верю, что можно создавать жизнеописание Пушкина, как бы не помня до поры, что он напишет «Евгения Онегина» и будет убит Дантесом.

11

В книге о Карле Брюллове, не желая «забегать вперед», я не привел, например, пронительнейших слов Герцена о декабристском *петербургском вдохновении*, непременно повлиявшем на создание «Последнего дня Помпеи». Но мог ли я принудить себя «забыть» их, рассказывая историю работы над картиной.

12

Для современников Брюллов был по-своему более «велик», чем Пушкин, но образы точнее угадываются, когда наперед известно, как распорядится История...

Послесловие

1

Пушкин очень хотел, чтобы Карл Брюллов написал портрет Наталии Николаевны.

Брюллову обещал, заманивая: «...будешь на коленях просить снять с нее портрет».

Но Брюллов брался за портреты *son amore* — по любви.

Всеми признанная красавица ему не приглянулась.

Акварельный портрет Н.Н.Пушкиной, красивый, но как бы «с ледком», написал другой Брюллов, Александр, брат.

2

Карл собирался написать портрет самого Пушкина.

Прособирался...

3

В последний раз виделись во второй половине января 1837-го.

Брюллов у себя в мастерской потчевал Жуковского и Пушкина своими акварелями — забавными сценками турецкой жизни, исполненными в Стамбуле по дороге (кружным путем) из Италии в отечество.

Один рисунок Пушкину особенно понравился. От хохота — слезы на глазах, вцепился в рисунок, умолял подарить ему сокровище: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня!»

Но работа то ли уже обещана была кому-то, то ли и вовсе продана.

Брюллов сказал, что хочет возможно скорее написать портрет Пушкина.

И день назначил.

.....

4

Но как раз накануне назначенного дня быстрые сани умчали Пушкина совсем в другую сторону — на Черную речку...

Часть V.
Поверх написанного

Из «Детского альбома»

«Странно и приятно думать,
что то время, которое я помню, —
30-е года — уже история».

Лев Толстой

Вместо эпитафии

Мне было шесть лет.

Недавно, на днях, может быть, вчера, убили Кирова.

Этот день, 1 декабря 1934 года, я хорошо помню.

Мы с соседской девочкой Танькой Тепляковой, топтались у ворот нашего дома и смотрели, как дворник, дядя Костя Афанасьев, которого все жильцы именовали просто Афанасием, взобравшись на некрашеную деревянную лесенку, расправляет в кольцах над воротами спутанные ветром красные полотнища, обшитые со всех сторон широкой черной каймой.

Мне было страшно.

Тревога и предчувствие дрожали в моей детской душе, пораженной неведением.

По улице, отбивая шаг, проследовал отряд красноармейцев в остроконечных шлемах и длинных серых шинелях.

Туманное морозное утро, серая улица, серый, как бы застывший в каждый миг своего движения отряд, — потом всё это осталось в памяти высеченным из гранита барельефом на серой стене противоположного дома.

Лица пешеходов были угрюмы и замкнуты.

Торопливым шажком прошел мимо наших ворот священник. Облачение вне храма священникам надевать не разрешалось, — мы узнавали их по длинным волосам, стекающим из-под черной

шляпы, по бороде, которую тогда мало кто носил, по всей особой повадке. Встреча со священником считалась недоброй приметой. Танька, хоть и годом младше, была много шустрее меня: она тотчас легонько хлопнула меня ладонью, как хлопают, играя в салочки, и крикнула: «Горе на тебя!». Я беспомощно озирался: следовало не медля осалить еще кого-нибудь и передать недоброе пожелание, — но кому? Не Афанасию же!..

Откуда было знать мне, маленькому, что вся Россия уже осалена, запятнана, заклеямена кощеевым шестипалым прикосновением, обожжена приговором: «Горе на тебя!».

Машины папирасы

1

...Иногда я просыпался по ночам.

Мне казалось — глубокой ночью.

В соседней комнате горел свет. Оттуда слышались негромкие разговоры взрослых...

Может быть, конечно, я просыпался вовсе не среди ночи.

Просто меня рано, в приличное возрасту время укладывали спать, и всякое пробуждение в темноте чудилось случившимся глубокой ночью.

Но может быть, и в самом деле я просыпался далеко за полночь, а взрослые еще бодрствовали: дни в ту пору, и с ними вся жизнь, сильно сдвинулись в ночь.

2

Привлекательные лозунги о восьмичасовом рабочем дне были вкованы в законы и указы — и забыты. Потому что «Время — вперед!», «Пятилетку — в четыре года!» — кто посмеет тормозить могучую поступь народа, спешащего в социализм?!

«Просыпается с рассветом вся советская земля», — даже если только-только успела глаза сомкнуть.

«Не спи, вставай, кудрявая, навстречу дня», — даже если еще не ложились.

Вот ведь и — «люди в Кремле никогда не спят»...

Товарищ Сталин любил работать по ночам. От него и пошла эта всесоюзная бессонница.

Соответственно, ближайшее окружение должно было находиться на месте. Опять же соответственно, на месте должны были пребывать наркомы, после войны переименованные в министров, а с ними сотрудники наркоматов-министерств, предприятий, ведомств — все, кто мог потребоваться и страшился быть востребованным во всякое время дня, а главное, ночи. И так, по цепочке, до небезызвестной Марьи Федотовны, балагурки, уборщицы при общественном нужнике на площади Ногина, напротив тяжелого темно-серого здания прежнего ВСНХ, позже заселенного серьезными министерствами. «Без меня всю Москву зассут», — доверительно говорила полуночному посетителю Марья Федотовна, угощая папироской.

Поэты воспевали никогда ими не виденный немеркнувший свет в окне сталинского кабинета.

В прозрениях Даниила Андреева запечатлелись эти бессонные сталинские ночные бдения, когда за плотно закрытыми дверями вождь вступал в общение с силами мирового Зла, набираясь от них яростной темной энергии.

Меня всегда занимал вопрос: почему Сталин, подыскивая вымышленную дату своего рождения взамен подлинной, выбрал 21 декабря — самый короткий день в году, самую долгую темную ночь?..

3

...Я просыпался.

Табачный дым беспокойно качался в просвете двери

Я побаивался темноты и просил оставлять дверь приоткрытой.

Взрослые разговаривали и курили.

Курили тогда много. Мне кажется, что в пору моего детства люди курили много больше, чем теперь.

У Поэта: «С табаком в чайных чашках весь в окурках буфет».

Быть взрослым означало, прежде всего — курить. Мальчики во дворе (чуть позже — и я с ними) сворачивали сигарки из сухих листьев. Вкурившись во вкус, начинали таскать папиросы у родителей. В девятом классе я уже курил всюю.

Во время войны, кроме наших исконных российских папирос, появились американские сигареты. Я поворовывал у мамы из большой, сразу на сто штук, пачки полученные по ленд-лизу сига-

реты «Мемфис». Позже никогда их не встречал. Они казались замечательно вкусными (может быть, после рассыпного табака и махорки) и остались в душе лакомым, каким-то шоколадным воспоминанием ранней юности.

4

Из папирос моего детства помню «Нашу марку», «Яву», «Пушки», «Бокс» — двух сортов: дешевые — в бумажной пачке и дорогие, с тем же названием, в картонной коробке. Но у дорогого «Бокса» на крышке коробки были яркими красками нарисованы почему-то не боксеры, а восточные борцы, похоже, что монголы, низко пригнувшиеся для схватки и протянувшие один к другому руки.

Охочий до шуток народ расшифровывал самую ходкую аббревиатуру *ВКП(б)* — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков): *Ворошилов курит папиросы («Бокс»)*. За такую шутку можно было схлопотать нешуточный срок.

(Замечательная способность — рождать недозволенные шутки и анекдоты под прицелом надзирателей. Когда за острое слово перестали сажать, таковые слова не то что числом поубавились — просто почти что вывелись. То ли сочинять стало неинтересно («русская рулетка»), то ли жизнь нынешняя сделалась настолько нелепой, что анекдот, шутка, призванные заострять действительность, оборачивать страшное смехом, не в силах превзойти ее, хоть и страшную, но смехотворную нелепость.)

5

Никакой борьбы с курением, конечно, не велось. Разве что в излюбленных тогда «сборных» концертах, где певцу сменял юморист, юмориста — скрипач, скрипача — чечеточник, а чечеточника — дуэт из оперетты, среди иных прочих появлялся тец с ранним чеховским (еще Антоши Чехонте) рассказом «О вреде табака», суть которого как раз в том, что лектор, вышедший на сцену, чтобы поведать публике о вреде никотинового зелья, не в силах удержаться, рассказывает взамен о своей неудавшейся жизни. Да и кто бы посмел поднять руку на табак, когда даже на первой странице главной книги для детей «Вчера и сегодня», повествующей, как счастливо преобразовала октябрьская революция наше отечество, красовался портрет товарища Сталина, раскури-

вающего трубку? Когда придворные стихотворцы равняли огонек сталинской трубки с сиянием кремлевских звезд: «Шуршит по крышам снеговая крупка, На Спасской башне в полночь бьют часы. Знакомая *негаснущая* трубка, Чуть тронутые проседью усы...» и т.д.

Еще в начале 1930-х известный литератор, увидевший Сталина, особо отметил в дневниковой записи, что тот курил свою *легендарную* трубку.

Среди немногих подробностей интимной жизни вождя и учителя было, в частности, известно, что курил он не трубочный табак, а, набивая трубку, обламывал папиросы «Герцеговина флор».

Из статьи об этих папиросах, обнаруженной в интернете, я узнал, что начали их выпускать в 1912 году (то есть Сталин к ним приохотился, возможно, еще в дооктябрьскую эпоху).

В статье, правда, сказано, что в сталинское время папиросы «Герцеговина флор» как предмет высочайшего пользования производились под надзором ГБ, в очень ограниченном количестве и в свободную продажу не поступали, будучи распространяемы лишь в кругу избранных. Но это — позднейшая острая приправа.. Черно-зеленые с золотом коробки «Герцеговины флор» в те достопамятные годы можно было увидеть во всяком порядочном табачном киоске и, затягиваясь кисловатым дымком, как бы сподобиться общего причастия с величайшим и единственным.

У Анатолия Рыбакова в «Детях Арбата» есть запоминающаяся глава о приглашенном к Сталину зубном враче. У персонажа, насколько я знаю, имелся реальный прототип. Материал главы основан на его рассказе. По свидетельству врача, у Сталина были испорченные никотином, темные зубы заядлого курильщика.

6

У мамы были крепкие белые зубы сибирячки, хотя курила она всюю.

В течение дня выкуривала пачку и вечером успевала распечатать новую.

Курила она охотно, можно даже сказать — с любовью. Видно было, что каждая папироса ей в радость.

Мама курила «Беломор».

Эти папиросы начали выпускать в 1932 году.

Пачка из грубой серой бумаги. Бело-розово-голубая картинка: схематическая карта Европы, на которой, как особенная достопримечательность, красным отмечен Беломоро-Балтийский канал имени Сталина.

Рекордно быстрое строительство канала подходило к окончанию. Оно было завершено в 1933-м.

7

Канал был гордостью первой пятилетки. Такого строительства нигде и никогда в мире и в самом деле не было... Беломорканал был невиданной по размаху *каторжной* стройкой. Его от начала до конца строили заключенные. Их именовали с подлой демагогической торжественностью — «заключенные *каналоармейцы*». Отсюда и пошла ставшая составной частью нашей истории аббревиатура *з/к* (зека). Потом просто — *зек*. Про «каналоармейцев» забыли за ненужностью. Всеобщий, всесоюзный *зек*.

С Беломора начиная, каторга сделалась весомой *естественной* частью советской «экономики». При этом произносились речи о том, что (рабский) труд превращает враждебных обществу людей в полноценных и полезных граждан. На Беломоре это с той же демагогической подлостью называлось — «*перековка*».

8

Еще прежде того, как развернулось строительство канала, Максим Горький по приезде из Италии нанес визит в Соловецкий концлагерь особого назначения, оглядел пытливым взглядом социалистического реалиста то, что ему сочли нужным показать, и, захлебываясь в слезах восторга, благодарил чекистов, «чертей этаких» (любовно), за их самоотверженный гуманный труд по воспитанию нового человека.

Горький придумал сделать возвышенную, жизнеутверждающую книгу о том, как за колючей проволокой, в концлагерях (с карцерами, расстрелами, в голоде и холоде, — о чем в книге, понятно, сообщать не предполагалось) чуткие педагоги чекисты *перековывают* недоброкачественную людскую массу в советский народ.

Это самая позорная, самая преступная книга, вышедшая в России.

По-своему самая замечательная и самая необычная книга.

Ее коллективным автором были лучшие тогдашние писатели. «Звезды» советской литературы.

Писателей привезли на стройку, кормили икрой, балыками, колбасами, которых многие в те скудные посленэповские годы и дома не едали (норма зека — 500 граммов хлеба и баланда), инженеры человеческих душ под руководством лагерного начальства беседовали с каторжанами, высоко оценили человечность и гуманность чекистов («любая иная гуманность и человечность являются ложью»), восторгались увиденным — и, как повелось на канале, ударным трудом быстро собрали огромный 600-страничный том, озаглавленный просто и мощно — «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина».

9

Виктор Борисович Шкловский рассказывал, будто на вопрос одного из руководителей НКВД, как он чувствовал себя на строительстве Беломорканала, откликнулся рискованной остротой: «Как живая черно-бурая лиса в меховом магазине».

Но в книге писатель зачем-то посмеялся над только что привезенной партией зеков из Средней Азии: очень смешно они выглядели на беломорском холоде в тощей южной одежке (не на меху), в которой их взяли.

10

Вообще в лагере литераторов, как вспоминали они по приезде, царило бодрое, веселое настроение (в отличие, надо полагать, от лагерей, которые им показывали): много пили, пели, шутили, выпускали юмористическую стенгазету.

11

У Мандельштама — об этом: «Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиние ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

...не расстреливал несчастных по темницам...

Вот символ веры, вот подлинный канон настоящего писателя, смертельного врага литературы».

Осенью 1933-го, той самой, когда звезды советской литературы воодушевленно варили книгу о канале, Осип Мандельштам написал роковое «Мы живем, под собою не чуя страны...» — и начал свой путь на Голгофу.

12

Книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» предназначалась в качестве подарка делегатам 17-го съезда ВКП(б). Съезд проходил в 1934 году. Его торжественно именовали «съездом победителей». В 1937-м большая часть «победителей»-делегатов была уничтожена. Съезд шепотком переименовали в «съезд расстрелянных». Книга, набитая к тому же *не теми* именами, оказалась не ко двору. Было приказано изъять ее из библиотек и книжных магазинов.

Памятником каналу, «чуду первой пятилетки», остались береговые откосы, темный камень, темная вода — и папиросы «Беломор».

Вот уж и впрямь — подлинное чудо. Паршивые папиросы 5-го класса, с обилием вредных смол, восемьдесят лет всё в той же неменяемой аляповатой упаковке, — единственная марка, пережившая эти годы-десятилетия и, даже при нынешнем табачном изобилии, по-прежнему любимая народом.

Может быть, впрочем, и не каналу памятник, давно сдвинутому в осознаваемой нами картине мира куда-то в сторонку иными «великими стройками», но памятник эпохе, так или иначе поныне нескончаемой, — памятник самим себе.

13

Двадцать пять с лишком лет спустя, в 1961-м, снова собрали съезд партии, уже 22-й по счету.

На этот раз объявили, что социализм в стране построен, теперь до коммунизма рукой подать. Коммунизм назначили в 1980 году.

Почему бы и нет?

Помню, зимой 1953-го большой группе работников печати показывали подходившее к концу строительство университета на

Ленинских горах. Мне тоже достался билет — по знакомству: я в ту пору не работал, никуда не брали. До смерти Сталина оставалось несколько недель. Время было мрачное.

Удостоившиеся входного билета работники печати сидели в каком-то пустынном, ярко освещенном актовом зале и ждали приезда начальства. С поздним временем, как уже помним, тогда не считались. (Мне иногда кажется, когда вспоминаю — не памятью, а всем существом, — что той зимой время как бы остановилось.) Наконец, на сцене появилось несколько плотных, ухоженных мужчин. Они пошептались между собой, потом один из них, самый моложавый, с ярким румянцем на полных щеках, выступил вперед и произнес буквально следующее:

— Когда наша машина поднималась на Ленинские горы и под нами, внизу сверкала огнями красавица-Москва, а перед нами устремилась к небу башня университета, мы замерли от волнения, и лишь минуто-другую спустя один из нас (сразу стало понятно, что это он про себя), — сказал: «Братцы, а ведь это уже коммунизм!».

Пребывавшие на сцене братцы согласно закивали и заулыбались. Зал отозвался на только что объявленный коммунизм бурными аплодисментами.

Но вот Сталин умер, и выяснилось, что коммунизма всё еще нет.

Стихи о похоронах Сталина, ходившие по рукам, Борис Слуцкий закончил строчкой: «Социализм был выстроен, поселим в нем людей».

Построили пятиэтажки, люди расселились; пора и в самом деле — в коммунизм.

Другим решением 22-го съезда было — убрать тело Сталина из мавзолея.

В отличие от коммунизма с этим делом справились быстро — в одну ночь.

В подробном описании перезахоронения меня особенно поразила малая подробность: перекладывая тело вождя из стеклянного саркофага в обычный гроб, с мундира генералиссимуса спороли золотые пуговицы, переданные затем в спецхранилище, а взамен пришили латунные. Было что-то трогательное в этой нашей неизменной заботе о государственном достоянии (так сказать: бриллианты для диктатуры пролетариата).

Вскоре после завершения 22-го съезда, ранним осенним вечером того 1961 года, еще не стемнело, мы с Н., торопясь куда-то, вышли к Земляному валу, и — такая удача! — на стоянке такси, будто только нас и дожидаясь, задержалась единственная машина. Мы шустро пробрались на заднее сидение, лихой водитель в легкой кожанке, еще не спрашивая «куда?», нажал на газ — и тут же еще более резко наступил на тормоз. Машину сильно качнуло. «Ого!» — только и выдохнул водитель, даже и не изумленно, скорее — потрясенно. Мы вслед за ним глянули в переднее стекло.

...Не обращая внимания на уличное движение, не поворачивая в его сторону головы, уверенным размеренным шагом Садовую переходил — Сталин.

Это был *он*, и только — *он*. Его голова, его фигура, его походка, его слегка согнутая в локте рука. Серая шинель, не с погонами, как в поздние годы, а хрестоматийная, довоенная, со слегка распахнувшимися на ветру лапами бронзовела в лучах заходящего солнца (это я для красоты описания).

Садовая ошалела от неожиданного восторга. Скрежетали тормоза машин. Медным всадником вздыбился троллейбус; контактная штанга, срываясь с провода, выдрала из него метровую голубую искру. А *он* шел себе ровным ходом, не отступаясь, нигде не сворачивая, и я вспомнил, пересказывали, будто, услышав музыку нового гимна (взамен революционного «Интернационала»), ту самую, которая и поныне подымает с места полтора (или сколько там осталось) миллионов россиян, вождь заметил удовлетворенно: «Как броненосец прет!» Сталин между тем приблизился к нашей машине, прошел перед самым ее носом, обогнул и, даже касанием глаза не поинтересовавшись, имеется ли кто-нибудь на заднем сидении, открыл переднюю дверцу, устроился рядом с водителем и, не повернувшись к нему, по-прежнему глядя прямо перед собой, негромким хриплым голосом с сильным акцентом приказал: «На Большую Грузинскую».

Я тогда еще ничего не знал ни про ныне легендарного Феликса Дадаева, которого якобы и впритык не в силах были отличить от подлинника даже понавидавшие вождя члены политбюро (или делали вид со страха?), ни про четырех (кажется) других двойников Сталина, чьи имена остались для меня неизвестными.

Возможно, это была опасная шутка или, скорее, шаг отчаяния кого-нибудь из них в те дни и часы, когда дело их жизни было по велению свыше низвергнуто в трехметровую яму и сырою землю зарыто в тщетной надежде, что навсегда предано поруганию и забвению... Не ведаю. Но то, что я пишу, — не выдумка, не притча. Как говорил мой знакомый охотник из какого-то таежного племени: «Это не факт, а было на самом деле».

«На Большую Грузинскую!» — хрипло, с акцентом приказал человек в серой шинели и серой низко надвинутой на лоб фуражке. Он достал из кармана трубку и, не раскуривая, держал ее в левой руке. «Есть!» — восторженно отозвался водитель.

За всю дорогу странный пассажир не произнес ни единого слова. Он сидел неподвижно с нераскуренной трубкой в руке и смотрел из-под козырька фуражки только вперед. Мы все тоже сидели молча. В нужном месте он слегка шевельнул трубкой, останавливая машину, выудил из кармана маленький старомодный кошелек для мелочи и щелкнул замочком из двух цепляющихся один за другой металлических шариков. «Не надо. Спасибо, товарищ Сталин», — зачарованно остановил его водитель. Человек снова щелкнул замочком, опустил кошелек в карман и, так и не повернувшись в нашу сторону, мерной походкой направился в подворотню большого ведомственного дома.

Мы продолжали стоять, не трогаясь с места.

«Перекурим?» — сказал водитель. Я протянул ему пачку с сигаретами. «У меня Беломор», — сказал водитель. Мы закурили.

«Надо же, — засмеялась Н. — Из мавзолея вытащили, в землю зарыли, а он тут как тут».

«Куда мы без него, — сказал водитель. — Пропадем...»

16

Я хорошо знаю эту книгу про Беломорканал. Серый, «стального» цвета переплет. В правом верхнем углу — также отливающий металлом медальон с барельефным портретом Сталина. Вот уже почти восемь десятилетий книга стоит у меня на книжной полке.

В трудные 1930-е мои весьма смиренные родители книг не уничтожали.

А помойки в те годы полнились книгами.

Дом у нас был большой, три корпуса, — соответственно, и помойка обширная: этакое кирпичное сооружение, в облике которого сквозила даже архитектурная мысль (тайком, сильно рискуя, — но как удержишься: всё та же русская рулетка! — ее именовали «мавзолей»). По утрам выброшенные книги распирали прочные стены помойки, развалом и пачками обступали ее снаружи.

Дом был кооперативный, заселен интеллигенцией. (Тогда, в 1930-е, изначальных жильцов поубавилось, появились новые, иных сословий).

Как известно, в 1930-е германские национал-социалисты, придя к власти, раскладывали в городах костры из *не-наших* — то есть *не-ихних* — книг. (Примечательно: организатором сожжения книг были не штурмовики, не геббельсовское министерство пропаганды, а *по-нашему* — то есть *по-ихнему* — настроенные студенты и университетские профессора.) Недавно общественность и СМИ Германии отметили восьмидесятилетие книжных аутодафе.

Мы о своей расправе с книгами, конечно, и не вспоминаем, хотя уничтожили их, может быть, не меньше. Выбрасывали книги на помойки, предварительно исследуя, не остались ли где автограф, дарственная надпись или пометки на полях. Топили ими печи (тем, у кого оставалось печное отопление, в этом смысле сильно повезло). Увозили за город и оставляли в каком-нибудь лесном овраге. Счастливые обладатели отдельных квартир (в отличие от обитателей коммуналок, где, куда ни повернись, чужой взгляд) жгли интеллектуальные сокровища по листку в унитазах, задыхаясь от дыма и страшась предательской копоти.

Представим себе хотя бы только объем уничтоженной политической литературы — выходявшие миллионными тиражами брошюры и иные обращенные к «широкому читателю» сочинения разного калибра авторов, теперь объявленных «врагами народа». Прибавим к ним сотни учебных и научных изданий, написанных *не теми, не о том, не о тех*. А тут еще прозаики, поэты, драматурги, вдруг как бы бесследно исчезнувшие с лица земли и тем самым лишенные права жительства на книжных полках в квартирах рядовых граждан...

Мои родители книг не уничтожали.
Они не были героями.

Где уж там!.. До самой смерти Сталина мама привыкла проводить бессонные ночи: читала, дымила «Беломором» и прислушивалась к шуршанию пробежавших под окном машин — не останется ли какая...

Может быть, и книги они не выбрасывали, не сжигали — отчасти из страха: засорить трубу в клозете, закоптить стены, встретить крадущегося на помойку соседа со своим ворохом гутенберговских отпрысков под мышкой.

Или интуитивно познали истину, годы спустя сформулированную опытным *сидельцем* Львом Разгоном: «Если за тобой пришли, а у тебя в шкафу только сочинения классиков марксизма, — всё равно заберут».

Книгу, сделавшуюся запретной, родители просто перемещали на полке в задний ряд, укрывая от недоброго глаза за строем тесно прижавшихся корешками одно к другому выставленных впереди изданий. Туда же переселяли книги, не обретшие статуса запретных, но, по маминым представлениям, не пригодных для предъявления посторонним.

Так в заднем ряду вместе с Гумилевым и Пильняком теснились знаменитые томики Есенина в белой мягкой обложке с березками, ремарковская «На Западном фронте без перемен» и уж вовсе непонятно почему, засекреченный мамой «Анатоль Франс в халате и туфлях» Жан-Жака Бруссона.

В укромной темноте *закнижся* провел долгие годы жизни и «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина».

Родителям, конечно бы, не сдобровать, если бы кто-нибудь в то время узнал, *от кого* досталась им эта книга. Но дарственного автографа на титульном листе, слава Богу, не имелось, а родители были не хвастливы.

...Однажды, жарким летним днем моего отца, медика, срочно вызвали на консультацию к ответственному больному. Я не в силах объяснить, как это случилось, позже такое стало невыносимым, да и в те времена, уже не «вегетарианские», было трудно предствимо, но отец взял меня с собой. Может быть, впрочем и разгадки искать не следует, может быть, *просто* — взял. Бог любит простодушных, — сказано в псалме, а папа был простодушен. Он хотел

одарить меня радостью: человек более позднего, чем мое, поколения не в силах понять, всем своим существом прочувствовать, что значило для нас, тогдашних детей, *покататься на машине*.

В давнем рассказе я писал про жившего в нашем дворе комдива, — который иногда, приехав под вечер домой, пообедать, приказывал шоферу (слова «водитель» еще в обиходе не было, только — «шофер») *покатать* нас, детей, игравших во дворе, на служебном «Линкольне» (счастье катания закончилось с исчезновением комдива, конечно же, не уцелевшего в истребительной охоте 1930-х годов).

Ответственный больной прислал за отцом не «Линкольн», а (по мальчишескому счету — поднимай выше!) сверкавший никелированными подробностями васильково-синий «Крейслер». Я мог поспорить с кем угодно, что не только ни один мальчик из нашего двора, но и ни один взрослый его обитатель ни разу не влезал в такой лимузин. Шофер был пожилой, седой, коротко стриженный — бобриком; за всю дорогу он слова не проронил.

Нас доставили к дому с просторной открытой террасой. Дом стоял на возвышенности, и с террасы далеко смотрелись картинно-красивые окрестности. Теперь, когда я вспоминаю этот день, мне кажется, что дом, в котором мы оказались, располагался где-то неподалеку от трассы строившегося канала Москва-Волга.

Канал этот, связавший столицу нашей родины с пятью морями, строили так же, как Беломорский, зеки — всё та же каторжная индустрия. Правда, о *перековке* трубить как-то уже перестали, нового книжного тома, изготовленного ведущими силами союза писателей, тоже, кажется, не предполагалось. На Беломоре ГУЛАГ пытались показать миру праздником, теперь он сделался буднями, повседневностью и повсеместностью.

Впрочем, подробности пейзажа того давнего солнечного летнего дня, наверно, возникли в моем воображении много позже. Через двадцать лет после истории, о которой пишу, я работал в выходившей на канале многотиражке (это был уже не канал Москва-Волга, а Канал имени Москвы — образчик высочайшего велемудрия: *канал имени города*), — пейзажи окрестностей трассы мне хорошо известны.

Отца увели куда-то вглубь здания. Я остался один на террасе, подошел к барьеру и скучал, глядя, как из-за дальнего леса выплывали на синий простор неба белые облака. Из двери, ведущей

во внутренние покои, появилась плотная немолодая женщина в темном платье и белом переднике. В одной руке она несла тарелку, на которой лежали несколько крымских яблок, удлинённых, с румяной щечкой, и гроздь винограда, в другой — поставленный на блюдце высокий стакан с лимонадом. «Это тебе!» — коротко сказала она и снова ушла. Яблоко, а тем более — виноград, я взять постеснялся, но лимонад в ту пору был для нас, детей, неодолимо желанной радостью. Чтобы не пить слишком быстро, я, слегка наклонив стакан, не глотал, а потихоньку всасывал холодную, чересчур пахучую влагу и, скосив глаза, следил, как из ее глубины выныривают блестящие пузырьки.

Я оставался один недолго. Отец возвратился на террасу в сопровождении хозяина, моложавого, по-военному подтянутого, с худощавым лицом, полноватыми губами и слегка курчавящимися рыжеватыми волосами. На нем была белая рубаха с засученными рукавами и светлые брюки. (Я предпочел бы гимнастерку с тремя — или... сколько ему там причиталось? — ромбами в петлице. Хотя... У чекистов, кажется, вместо ромбов были звездочки.)

Человек был весел, белозубо улыбался, слегка потрепал мне волосы, сказал несколько шуточных слов — что-то самое обыкновенное. Он отодвинул соломенное кресло, пригласил отца присесть перед дорогой. Тотчас возникла женщина в белом фартуке, принесла поднос с такими же крымскими яблоками, виноградом и фруктовой водой, уже в бутылках. Хозяин что-то оживленно рассказывал отцу, но я видел, что папа чувствует себя неловко: как и я, он не притронулся к соблазнительно красневшим щечкой яблокам, даже фруктовую воду не пил, хотя очень ее любил (мы с ним тайком от мамы удирали к киоску на углу нашей улицы пить газировку) — он кивал, слушая хозяина, и неловко отщипывал от грозди длинные зеленые ягоды.

Человек, который принимал нас, большинству знавших о нем соотечественников казался всемогущим. Возможно, он и себе казался таковым: Часто как раз тот, кто особенно хорошо осведомлен о хрупкой уязвимости человеческого существования, со странной легкостью забывает о ней, присматриваясь к собственной судьбе. Когда в твоей власти оказывается великое множество людей, чья жизнь зависит от твоего слова, взгляда, жеста, наверно, трудно удержаться и не почувствовать себя богом. В «ревизских сказках» человека, который сидел перед нами за столом, вкусно,

большими глотками отпивал лимонад из запотевшего стакана, говорил что-то веселое и широко улыбался, числились сотни тысяч, даже миллионы, пребывавших в его владении «крепостных душ». Человек этот был Матвей Берман, начальник ГУЛАГ'а, властитель бескрайнего архипелага.

Мне не дано знать, как это пришлось к беседе, но хозяин вдруг сказал: «Хотите посмотреть, как меня охраняют?». Я хорошо помню этот вопрос и горделивый тон, каким он был произнесен, потому что меня поразило то, что произошло тут же, следом, и потому, что папа долгие годы вспоминал эту сцену, изумленный (как он определял) ее *непостижимой наивностью*.

Наверно, под столом имелась какая-нибудь кнопка, которую тайком нажал хозяин, но вопрос его еще, что называется, висел в воздухе, а на террасе со всех сторон вдруг выросли крепкие плечистые ребята в военной форме. Берман, прищурясь, провел по ним взглядом, улыбнулся и небрежно махнул рукой: «Всё в порядке». Добрые молодцы исчезли, как в сказках «Тысячи и одной ночи».

И правда — *непостижимо!* В стране, где, исключая разве что самого владыку, ничья жизнь не стоила даже ломаного гроша, один из самых осведомленных участников, того более — организаторов (папа определял — *кашеваров*) происходящего вроде бы не шутя уверен, что пять-шесть ладно сбитых ребят способны охранять, сохранить его жизнь?..

Через несколько лет, в 1937-м, Матвея Бермана назначат наркомом связи — пост (хоть и министр), по неписанной субординации тех лет, несравнимо уступающий ГУЛАГовскому (не говоря о том, что, согласно тогдашним же правилам игры, такое перемещение означало скорый конец). Еще год спустя вчерашнего командующего ГУЛАГа арестуют прямо в здании ЦК партии, в кабинете с курьерской скоростью набирающего силу Маленкова, и расстреляют.

Где были в тот день и час его добрые молодцы? Сами же волокля бывшего хозяина и подопечного в подвал Лубянки или Лэфортова? Или, притаившись под террасой, на которой я когда-то пил лимонад, охраняли его преемника (этот продержался на высоком посту лишь год с небольшим, получил свой орден Ленина и тоже был расстрелян)? Или самих молодцев к тому времени уже пустили в расход за то, что охраняли врагов народа?..

...Беседа на террасе не затянулась. Мы поднялись уходить, когда Берман, припомнив что-то, показал рукой задержаться, вышел

и спустя минуту снова появился с книгой о Беломоре, в которой волею судьбы выступал одним из главных героев... Протянул отцу: «Начнете читать, не оторветесь».

В самом деле. Годы минули, десятилетия, а я всё не могу оторваться памятью от того, что написано в этой книге, и от того, что в ней не написано, но, желали авторы или нет, хранится между строк, и от того, как и кем книга была произведена на свет. Потому что всё это, по-своему и в разных измерениях, так или иначе вошло в состав моей жизни, моей судьбы, в мой духовный и душевный состав...

Больше в тот день ничего существенного не случилось, если не считать, что на обратном пути, укаченный мягкими рессорами «Крейслера» и разомлевший от жары и духоты, я слегка облевал роскошную обивку сидения. Папа оттирал пятно носовым платком и бормотал извинения; седой шофер, посверкивая бобриком затылка, утешительно пробурчал что-то в ответ.

19

В 1980-е годы художник Петр Белов написал картину — «Беломор».

Своего рода живописный проект памятника эпохе.

Тяжело лежит на земле (занимая большую часть поверхности холста) огромная бело-розово-голубая с красной метой пачка от папирос «Беломор». Угол пачки надорван, как надрывают курильщики. Четырехугольная громада захватившей земной простор пачки — это лагерный барак. В черную дыру надорванного угла, как в барачные ворота, со всех концов земли движется потоком темная людская масса.

На строительстве Беломорканала работало около полутора ста тысяч заключенных.

В одной нынешней (!) статье о канале утешительно сообщается, что число зеков на самом деле *не превышало (!!!)* 126 тысяч.

Всего-то!

Шестьсот человек на каждый километр трассы.

20

Мама говорила лихо: «Будете меня хоронить, положите в гроб пачку “Беломора”».

Но дело до этого не дошло. Однажды, уже в старости, она перестала курить.

Не бросила, а именно *перестала*.

Легко, как-то само собой, не задумывая наперед и не прилагая к тому никаких усилий. Будто забыла в одночасье, что курила.

(Со мной, в мое время, произошло то же самое. Одним прекрасным утром *почему-то* не захотелось взять любимую первую, открывающую день сигарету — и больше уже никогда *не захотелось*, даже не снится никогда, что курю.)

Папины часы

1

Это были сверкающие никелем карманные часы с мелко гравированным ободком вокруг циферблата и витиеватой вязью *Ударнику* на задней крышке.

Часы в то скудное время были предметом почитания.

Часами награждали вместо ордена.

Как и фотоаппаратом. Или — патефоном собственного советского производства «Тизприбор».

В характеристике писали: «Награжден именными часами».

2

Папины часы были тоже новинкой, недавно освоенной советской индустрией.

Они скоро остановились и, похоже, навсегда.

Идущими я их не помню.

Стрелки несменяемо показывали двадцать пять минут третьего.

В Каталоге проходившей уже в недавнее время не где-нибудь — в Кремле! — выставки истории отечественных часов говорится, что революция ознаменовала конец высокого часового искусства в России.

3

В конце тридцатых годов Николай Погодин написал пьесу «Кремлевские куранты», ставшую одним из знаковых произведений советской драматургии.

Несомненно самой запоминающейся в пьесе (спектакле) стала сцена беседы Ленина со старым часовщиком.

Часовщик понадобился Ленину, чтобы снова пустить в ход остановившиеся (к слову: пораженные снарядом при взятии большевиками Кремля) куранты на Спасской башне и научить их звучать *по-нашему*, то есть вызванивать «Интернационал».

Сцена, казалось бы, побочная, но по глубинному замыслу — центральная (свидетельство тому — название пьесы). Кремлевские куранты отбивают *наше* время.

Хотя мастер, починивший куранты, и другой, набравший на игральный вал мелодию коммунистического гимна, в действительности ни евреями не были, ни стариками, чутье драматурга подсказало Николаю Погодину, что *его* часовщиком непременно должен быть старый еврей.

Это придало сцене неповторимый колорит, решительно выделило ее в тексте пьесы.

В пьесе, в спектакле можно многое забыть, можно даже всё забыть, но эта сцена не забывается. (Исполнение роли старого часовщика Борисом Яковлевичем Петкером в спектакле Художественного театра единодушно признается классикой актерского искусства.)

В беседе с Лениным часовщик рассказывает, что после революции его «объединили» в артель, а артели не нужна уникальная, штучная работа, ей нужен «поток». Мастер напомнил новому начальству артели басню Эзопа. Лиса упрекает львицу: она, лиса, рожает сразу шестерых детенышей, тогда как львица только одного. На что львица отвечает: «Но я рожаю льва!» Начальство басни не поняло и объявило старика агентом Эзопа, а Эзопа — агентом Антанты. Ленин, заливаясь, хохочет.

Но большой «артели», которой он руководит, нужен поток, а не штучные львы.

На Первом съезде Советских писателей (уже в 1934 году, к которому я то и дело возвращаюсь) Бухарин ставил задачей, чтобы «в ширпотребе было поменьше брака, а качество всего ширпотреба не уступало бы качеству товаров из торгсина». (Напомню: в торгсинах — аббревиатура: «торговля с иностранцами» — товары хорошего качества продавались не на советские рубли, а на золото.) Но советское время шло, золото оставалось золотом, а ширпотреб, в том числе и рубли, и, в большой своей части, литература, оставался ширпотребом.

Папины часы *Ударнику* покоились в плоской синего стекла вазочке на туалетном столике, именовавшемся у нас почему-то «трельяж», хотя зеркало было только одно, небольшое и круглое; по обе стороны от него — маленькие выдвигаемые ящички, в которых лежали мамины бусы (из розовых коралловых шариков и еще одни, из мелкого, как икра, жемчуга), а также пересыпанные табаком пуговицы, недорогие брошки, зажимы для галстука, отрывки карандашей, старые рецепты, счета за квартиру.

Тут же на трельяже стояли простые настольные часы, похожие на будильник (может быть, и правда, будильник?), — едва ли не главный в доме прибор для определения времени. На кухне были еще жестяные ходики с тяжелой гирей на длинной цепочке. Когда гирия, приводившая в движение механизм, опускалась совсем низко, ее, взявшись за цепочку, с металлическим лязгом снова подтягивали наверх. Ходики показывали часы, тем более минуты очень приблизительно. Была, наконец, черная тарелка репродуктора на буфете: в начале каждой передачи по радио сообщали время, а каждый шестой и двенадцатый час проводили *проверку времени*: «Третий сигнал соответствует шести (или двенадцати) часам по московскому времени»...

Весьма памятный на подробности, наручных часов ни на папе, ни на маме не помню.

В тридцатые годы наручные часы, можно считать, были редкостью. Счастливые их обладатели, демонстрируя свою особость, старались при удобном случае побольше высунуть руку из рукава.

Век наручных часов бурно начался у нас сразу после войны, когда наши солдаты хлынули домой из поверженной Европы.

Известно, что, ворвавшись в немецкий дом, победители прежде всего искали алкоголь, женщину и часы («уры»).

В послевоенной Москве часы можно было подобрать себе «на углу» — у инвалида.

Инвалиды войны, не умевшие найти места в мирной жизни, сбивались группами на углах улиц (по большей части вблизи пивных палаток, торговавших и водкой в розлив), продавали поштуч-

но кустарно набитые папиросы, кремни для зажигалок (тоже вывезенный из Европы трофей) и — часы. Иной из таких продавцов, предлагая товар, закатывал рукав поношенной гимнастерки: пять-шесть штук часов разных марок обстегивали руку до самого локтя.

Так я незадорого обрел первые свои часы — выдавший виды давнего выпуска «лонжин», который между тем еще долго и верно мне служил и выбыл из строя по не зависящим от него причинам.

Инвалиды своим внешним обликом и поведением, своим самоощущением «вольницы», за пролитую кровь им дозволенной, конечно, искажали облик советских городов, бодро взявших курс на дальнейшее строительство коммунизма. Однажды мы проснулись в городе без инвалидов на углах, с папиросами по талонам и с продукцией 1-го и 2-го госчасзаводов на прилавках государственных магазинов.

Но, как говорится, «процесс пошел». Люди всё реже спрашивали друг у друга который час, и, чтобы ответить на вопрос, уже почти никто не проталкивал пальцы за часами в кармашек жилета: время, несущее нас по жизни (уносящее из жизни), металлическим сердцем стучало едва не у каждого на руке.

6

Любопытно (почему-то раньше не поинтересовался), надел ли товарищ Сталин после войны наручные часы или обходился старыми карманными.

(Ныне, когда у правителей страны на запястье состояние в полмиллиона долларов, вопрос приобретает дополнительный интерес.)

Из некоторых воспоминаний узнаём, что у вождя собралась даже небольшая коллекция чем-то привлечших его внимание наручных часов. Но опять же из воспоминаний узнаём, что он неохотно вносил перемены в свой вещный мир.

7

Про серебряные (похоже, самые простые) карманные часы Сталина рассказывается в опубликованном дневнике Корнея Ивановича Чуковского.

Позже в записках другого литератора о тридцатых годах я обнаружил занятную подробность: разговаривая, Сталин играл перламутровым перочинным ножичком, висевшим на часовой цепочке.

Но у Чуковского часы эти — не подробность, пусть занятная, пусть даже значимая: в его дневнике они вырастают в триумфальный образ (прямо-таки кремлевские куранты!), в грандиозную метафору сталинского величия.

Рассказ ведется о съезде комсомола, на котором Чуковский присутствовал, в апреле 1936 года:

«Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН *<прописные у К. Ч.>* стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое.

Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему всё время обращалась с какими-то разговорами Демченко *<прославленная в те годы колхозница-ударница>*. И мы все ревновали, завидовали — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: «Часы, часы, он показал часы» — и потом расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.

Пастернак шептал мне всё время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!» (на минуточку).

Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью».

8

Когда я прочитал этот горячечный бред, первая мысль была, что это сатира, пародия на происходившее. Ну, не мог же Корней Чуковский, злой, насмешливый умница, с его отменным, четким вкусом, с его жестким неприятием пошлости, всерьез написать *такое*.

Если даже всерьез искренно, то всерьез так пошло:
«...утомленный, задумчивый и величавый...»

«...у всех (!)... влюбленные, нежные лица...»

«...просто видеть его — для всех было счастьем...» и проч.

И эта галиматья с часами...

И эта клоунада с Демченко, которая всё время ЕГО заслоняет...

Возникло даже подозрение: не *оберег* ли это.

Вон у Евсея Цейтлина в его необычной книге «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» главный герой, литовский писатель-еврей (лицо реальное), в трудную пору «дела врачей-убийц» сочиняет пьесу о евреях-вредителях, диверсантах. Объясняет наивно: его придут арестовывать, станут просматривать бумаги, а тут эта пьеса; значит — *свой*.

Подобных примеров вне сомнений немало, просто не афишировались, конечно.

9

Но вот шестью годами раньше Чуковский занес в дневник свой разговор с Тыняновым (тоже человек умнейший и вкуса безукоризненного). Речь шла о колхозах.

«В историческом аспекте Сталин как автор колхозов, величайший из гениев, перестраивавших мир. Если бы он, кроме колхозов ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи»...

Разорялась деревня, эшелоны увозили десятки тысяч крестьянских семей на Север, на Дальний Восток, черной тучей надвигался голодомор.

Сам «величайший из гениев» выступил с («гениальной», конечно) демагогической статьёй «Головокружение от успехов», торопясь перевалить на чужие плечи очевидные беды начавшейся коллективизации.

А тут — такой непомерный восторг.

Разговор завершился весьма своеобразно — пожеланием держать сказанное в секрете: «столько прохвостов хвалят *его* теперь для самозащиты».

10

Оборвись эта фраза двумя словами раньше — из нее вычитывался бы один смысл.

Но «для самозащиты» (оберег) — это уже другое.

Допускаю, что насчет колхозов Чуковский заблуждался искренно. Накануне он размышлял в дневнике: «...Ни одному даже самому мудрому из народников, даже Шедрину, даже Чернышевскому — ни на секунду не привиделся колхоз. Через десять лет вся тысячелетняя крестьянская Русь будет совершенно иной, переродится магически — и у нее настанет такая счастливая жизнь, о которой народники даже не смели мечтать, и всё это благодаря колхозам».

Ну, что тут поделаешь! Остается лишь пожалеть Корнея Ивановича. Пронзительно зоркий, умеющий тотчас схватить суть, к тому же человек весьма недоверчивый, он не взглянул *окрест себя*, не выбрался за пределы полос официозных газет (а других уже не было), тех самых полос, по которым бродил уничтожающий термин «чуковщина», где имя его было привычно окаймлено хулой и почти никогда хвалой, где незадолго до того напечатано было вынужденное *отречение* его от своих сказок (сказки Чуковского, по определению Крупской, «муть», «болтовня»), от любимых своих мойдодыров, мух-цокотух, тараканищ.

Так что и о *самозащите*, наверно, подумать было не грешно.

11

В предисловии к изданному «Дненику» составитель Е.Ц.Чуковская, знавшая жизнь Корнея Ивановича, что называется, *изнутри*, пишет:

«Тяготы 30–40-х годов: личные — смерть младшей дочери — и общественные — убийство Кирова, террор в стране, — накладывают отпечаток на содержание и характер записей. После убийства Кирова в записях появляются многочисленные пробелы, в дневниковых тетрадях — множество вырванных страниц, вырезанных строк... Многие важнейшие события в жизни автора «Дневника» и его близких не нашли никакого отражения или упомянуты лишь мельком.

В августе 1937 г. был арестован зять К.Чуковского, муж его дочери Лидии — физик-теоретик М.П.Бронштейн, вскоре расстрелянный, и Корней Иванович присутствовал на квартире дочери в момент обыска, конфискации имущества, опечатывания дверей. Обо всем этом в «Дневнике» написаны два слова: «Лидина трагедия».

Умолчания, относящиеся к событиям середины 30-х годов, попытки убедить себя вопреки всему, что дела обстоят превосходно («Какое счастье, что детская литература наконец попала <...> в руки Комсомола. Сразу почувствовалось дуновение свежего ветра»... и другие аналогичные записи), описание изматывающих баталий с партийными руководителями культуры... — всё это характеризует дневник этих лет. <Похвалы ЦК ВЛКСМ — несколькими страницами раньше сталинских часов на съезде комсомола.>...

Смесь трезвого и меткого наблюдательного взгляда с испуганными попытками объяснить необъяснимое и принять неприемлемое, запечатленная в записях 30-х годов, характерна для восприятия эпохи многими писателями той давней поры».

12

Снова буду цитировать. Потому что никогда не смог бы сказать то, что хочу сказать, лучше, чем это сделала Лидия Яковлевна Гинзбург в замечательном эссе «В поисках тождества». Того более: мне, скорей всего, не пришло бы в голову сказать то, что я собираюсь предложить читателю, если бы в свое время я не познакомился с этим потрясающим текстом.

Вот что пишет Л.Я.Гинзбург об эпохе, о которой идет у нас речь и которая была полной мерой ее эпохой.

«Тридцатые — коллективизация, украинский голод, процессы, 1937-й — и притом вовсе не подавленность, но возбужденность, патетика, желание участвовать и прославлять. Интеллигенция заявила об этом и поездкой писателей по Беломорканалу, и писательским съездом 1934 года с речами Пастернака, Олеси, Заболоцкого и проч.

Нынешние всё недоумевают — как это было возможно? Это было возможно и в силу исторических условий, и в силу общечеловеческих закономерностей поведения социального человека.

К основным закономерностям принадлежат: приспособляемость к обстоятельствам, оправдание необходимости (зла в том числе) при невозможности сопротивления; равнодушие человека к тому, что его не касается...

До нас же об украинском голоде доходили неясные, подавленные слухи. Мы ни за что не отвечали и ничем не могли помочь, в наше поле это не вошло. Поэтому мы были равнодушны и занимались тем, что нас касается.

На этот факт не было установки, как не было установки на факт коллективизации (тоже подавленные слухи), на аресты, пока они совершались в другой среде и еще не стали опасностью для пласта, к которому принадлежали равнодушные...

Личная реализация общих ценностей — регулятор социального поведения. Чтобы активизироваться — в чем человек испытывает неодолимую потребность — надо с существующим примириться, если только активизация не состоит в сопротивлении существующему. Чтобы притом сохранить чувство полноценности, надо оправдать себя и то, с чем примирился...

А на своем поэтическом уровне Мандельштам всё это выразил глубочайше

Как я ступать и говорить умею...

Человек хочет, конечно, быть лучше других, но этого ему мало. Главное — быть не хуже других, только это, а вовсе не сознание своей гениальности избавляет от комплекса неполноценности.

Я человек эпохи Москвошвея, —
Смотрите, как на мне топорщится пиджак...

Москвошвей — это место, где шьют для всех, для бедных, и плохо шьют. Где говорят на упрощенном языке. Но это язык всех, тех, за кого на своем языке говорит поэт, поэтому поэт тоже имеет право быть одним из всех.

На этом праве особенно упорно настаивал Пастернак...

В.В.Иванов в воспоминаниях о Пастернаке рассказывает, как Борис Леонидович огорчился, обиделся, когда писателям скопом давали ордена, а ему не дали. Он даже просил кого-то по телефону похлопотать.

Удивительно здесь не то, что огорчился. Кто из нас без греха слабости и суеты? Удивительно, что не скрыл, не постыдился огорчение обнаружить. Это не просто спонтанная инфантильность Пастернака. Это тоже поиски равенства: пусть все знают, что я тоже хочу орден — как все (как все определенного ранга).

В стихах оно обернулось публичным отречением от дара невероятных сочетаний, от чуда «Сестры моей — жизни», где всё замещает и всё объединяет всё.

Неотвратимо заявил о себе под конец двойной пастернаковский комплекс — равенства в жизни и простоты в стихах...»

Пастернак увидел Сталина с его часами на съезде комсомола уже после ныне ставшего легендарным телефонного разговора с ним о Мандельштаме, разговора, в котором Сталин резок, невежлив, напорист, как следователь, и который закончился тем, что на предложение Пастернака поговорить о бытийных проблемах (о жизни и смерти) попросту бросил трубку («к счастью для собеседника», — замечает сын поэта Е.Б.Пастернак в книге об отце).

1936 год, о котором веду речь, был трудным для советской культуры и для Пастернака, в частности (впрочем, ни для нее, ни для него *легкий год* подобрать не просто).

Сам поэт писал тогда же:

«Зимой была дискуссия о формализме... Началось со статьей о Шостаковиче <«Сумбур вместо музыки» в «Правде»>, потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эпоходобной и производной природы на Мейерхольда, Мариетту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников и опять-таки лучших...»

В определении критики существенны эпитеты — «омерзительно несамостоятельная», «эпоходобная»: ни для кого не было секретом, что статья об опере Шостаковича написана под диктовку Сталина.

В ходе всех этих по указке сверху организованных дискуссий неизменно доставалось и Пастернаку.

«Пастернаку предложено задуматься, куда ведет его путь индивидуализма, цехового высокомерия и претенциозного зазнайства».

Он пытался перевести разговор в бытийный план:

«Ах, эта невозможная жизнь! Здешние ее нелепости, становящиеся препятствиями для художника — баснословны. Но такова и должна быть революция... До судебных ли тут, до оправдавшихся ли биографий. Но история размахнулась тут чем-то несговорчиво-крупным и это — возвышает».

В ответ, вполне в манере вождя, обличители угрожающе бросали трубку:

«Поэт, которого чуть было не провозгласили вершиной советской поэзии, пишет, печатает <...> стихи, в которых клеветает на советский народ.

Он как свое изделие
Кладет под долото
Твои мечты и цели.

Нельзя без возмущенья читать эти строчки и говорить о них».

Путь от самобытности к «как все», готовность и даже желание отдать ради этого свои мечты и цели под общее «долото» ведет, по слову Л.Я.Гинзбург, к отречению от себя, к обмену золотой валюты на ширпотреб.

Вот и Борис Пастернак в пору мучительных (подчас, без преувеличения, на грани жизни и смерти) раздумий о своем месте в этом невозможном для художника мире *как все* с восторженным благоговением воспринимает разыгранную самовлюбленным тираном клоунаду с часами, завидует колхознице Марии Демченко, возле тирана размещенной, сердится, что она «заслоняет» его, «задумчивого и величавого», сам, кажется, готов стать ею.

14

(Я заинтересовался лишь одним, не слишком значительным эпизодом в дневнике Корнея Чуковского, эпизодом с сталинскими часами. Чувства и взгляды писателя будут, что совершенно естественно, меняться. После разоблачений 20-го съезда прочитав дневниковые записи и про «сталинскую полицейшину», и про «Сталина, Ежова и их подручных... всю эту мразь, которая хотела искоренить интеллигенцию, ненавидела всех *самостоятельно думающих*, не понимая, что интеллигенция сильнее их всех...», и про радость оттого, «что из Третьяковки вынесли все картины, где холуи художники изображали Сталина» и т.п. В последние годы жизни старый писатель занял, однако, позицию, которую, опять же согласно с Л.Я.Гинзбург, можно определить не как активизицию на стороне существующего, а как активизацию *сопротивления существующему*, и это замечательно прочитывается на его дневниковых страницах.

Отношения Пастернака со Сталиным внимательно рассмотрены в капитальном труде Б.Сарнова «Сталин и писатели».)

15

В годы, на которые пришлось мое раннее детство, новогодняя (она же — рождественская) елка была под запретом.

Доброе деревце («и много, много радости детишкам принесла») громоздилось в бдительных умоизвращениях политкомиссаров — контрреволюцией, антисоветчиной, поповщиной.

Радостное празднество детишек оборачивалось для неосторожных взрослых бедами и лишениями.

Так, случайно похмелившись в чужом пиру, на «нелегальной» елке, пострадала мамина приятельница с нечастым именем Фрина. Прежде она то и дело к нам забегала и очень мне нравилась (ярко накрашенные губы, подведенные синим глаза и даже меня, малыша, пьянящий запах каких-то особенных духов). Эта Фрина занималась чем-то в культпросвете и однажды водила меня в детский театр (едва ли не первый спектакль, мной увиденный). Показывали «Сказку о рыбаке и рыбке», и я до сих пор помню, как жадная старуха, которая не хотела больше быть дворянкой, а хотела стать царицей, лупила от злости кулаком огромную подушку в красной наволочке, а из подушки летели во все стороны изображавшие пух белые клочки бумаги. Фрине пришлось даже на время покинуть Москву. Уезжая, она пристроила у нас низкое мягкое кресло, обитое зеленым бархатом, в котором я очень полюбил валяться, особенно с книгой. Прошло несколько лет, Фрина не появлялась. Кажется (к моему тогдашнему огорчению), она вышла замуж за какого-то железнодорожника. Мама, вспоминая ее, непременно прибавляла: «Счастливо отделалась» (всегда с ударением на «а»).

16

При своей крайней встревоженности и очень опасливом отношении к советской власти, мама с упрямой убежденностью всякий год одаривала меня елкой.

Конечно, всякий год мне снова и снова объяснялось, что, «если хоть муха узнает», — папу тотчас с работы, а, может быть, даже в тюрьму, и маму, скорее всего, тоже, и, вообще, — прощай, Москва: «Ты ведь Фрину помнишь? Еще счастливо отделалась!». Я, задыхаясь от волнения, спрашивал (впрочем, не сомневаясь в ответе): «И часы *Ударнику* отнимут?» — (Наверно, в этих часах я интуитивно ощущал воплощенное сопряжение папиной исключительности и его причастности к тождеству.) «Непременно отнимут».

Одно из частых слов моего детства — «кошелка».

Проверяя себя, заглянул в словари.

Кошёлка — *плетеная* сумка.

Даже — корзина.

Но кошелка моего детства — сумка не плетеная, а сшитая из плотной ткани, парусины, часто из клеенки.

Женщины с *кошелками* ходили по магазинам, на рынок, отоваривали карточки, цепко высматривали, где что *дают*, стояли в очередях, озабоченные стойкой необходимостью добывать *продукты*.

В советское время с продуктами всегда были сложности. Весной 1982-го, когда советской власти перевалило уже за шестьдесят — пенсионный возраст! — была принята новая продовольственная программа, обещавшая вскоре досыта накормить население. Но до назначенного срока советская власть не дожидка.

...В один из последних декабрьских вечеров, мама, возвратившись с работы, прямо от двери направлялась со своей черной клеенчатой кошелкой в дальнюю запроходную комнату, где в уголке прижалась и моя маленькая кровать, и по маминому возбужденному лицу, по глазам я тотчас понимал, что настало время чуда.

Я нетерпеливо, как собачонка, прыгал вокруг мамы, а она, будто мучая меня (это тоже было частью игры — *ожидание* чуда), нарочито не спешила: задергивала тяжелую штору на окне, шла обратно в прихожую — скинуть пальто, что-то передвигала, переставляла. Наконец, порядком меня истомив, она поворачивала ко мне лицо, в котором таилась улыбка, мною угадываемая, прикладывала к губам палец: «Никому?» Я тоже прикладывал палец к губам: «Никому». Она брала меня за обе руки, повторяла, уже серьезно: «Ну, смотри, милый, чтобы — никому...»

Мама доставала из кошелки большую еловую ветку (где только она ее находила в те «безъёлочные» годы?), пушистая зеленая лапа, оказавшись на свободе, распрямлялась, встряхивалась, — и тотчас комнату заполнял чудесный запах хвои.

Суровой ниткой ветку пришивали к коврику над моей кроватью. На серой холстине коврика — аппликация из лоскутков: белая в коричневых пятнах собака в чуткой стойке замерла среди высокого камыша. Простецкое воспроизведение картины художника Мако.

Чудо продолжалось.

Мама открывала стоявший в кухне сундук, большой, зеленый, обитый по краям и крест на крест по крышке и бортам полосками черной жести. Здесь, в сундуке, хранились старые вещи, извлекаемые обычно с появлением *Тютельки в тютельку*, Пульхерии Андреевны, старушки с мягкими щеками и яркими для ее годов голубыми глазами, — старушка ходила по домам и за недорогую плату и обед с необычайной изворотливостью перешивала в детские одежды ношенные материнские платья, отцовы пиджаки и рубахи. Словами *Тютелька в тютельку* она определяла качество своей тщательной, изощренной выдумками голи рукодельной работы. (Пульхерия Андреевна прославилась еще и тем, что во всех домах, где приходилось ей шить, приучала детей к любимому своему блюду — сладкой пшенной каше, которую надо было есть непременно с хлебом.)

Из сундука появлялись отслужившие свой век, но по скудости жизни на всякий случай хранимые вещи, которые казались мне очень интересными: бабушкино, будто атласом поблескивающее пальто, почему-то еще не перешитое, мамин изрядно потраченный белый меховой воротник, папина черная визитка... Наконец, откуда-то с самого дна выбиралась на свет круглая жестяная коробка, голубая, с золотой надписью «Халва» на крышке. В ней — чудом уцелевшие в перипетиях лет старинные елочные игрушки — несколько красных и желтых деревянных вишенок, попарно, по две ягоды, дрожавших на проволочных рогульках-черенках, и вырезанные из картона фигурки — маркиза в сказочно прекрасном розовом платье и маркиз в голубом камзоле. Такие картинки когда-то укладывали как подарок в коробки с шоколадом фабрики Эйнем.

«Мама, а трельяж?» — спрашивал я с надеждой.

«И трельяж, — говорила мама. — Только смотри — никому!»

Мы развешивали на елке брошки и красивые пуговицы, окутывали ее мамиными бусами — розовыми, коралловыми, и набранными из мелкого бисера.

«Мама, — снова спрашивал я. — А часы?»

«Ну, если папа разрешит...»

Я, волнуясь, бежал к папе.

С прилаженными часами елка отчего-то становилась не только прекрасной, но даже значительной.

«Прямо кремлевская башня», — говорила мама.

Она зажигала на туалетном столике свечу в подсвечнике, всегда бывшую наготове на случай, если отключат электричество, и гасила в комнате свет.

Пламя свечи отражалось в зеркале трельяжа, рассыпалось сверкающими звездочками в висевших на елке бусах, пуговицах, брошках.

В этот счастливый вечер я засыпал *под елкой*, вдыхая яркий, смолистый запах хвои...

Утром, когда я открывал глаза, всё в комнате было уже обыкновенно.

На серой холстинке над моей кроватью, как всегда, стояла, поджав переднюю лапу, знакомая до последнего лоскутка белая в коричневых пятнах собака.

Еловой ветки и след простыл.

И чудо то ли вправду меня навестило, то ли явилось в прекрасном сне.

19

Новогоднюю елку снова разрешили в конце 1936-го.

В главной газете «Правда» появилась статья видного большевистского руководителя Постышева: запрет елки объявлялся «левацким загибом».

Статья, конечно же, была согласована со Сталиным. Но вождь благодушно оставил идею сатрапу. Считалось, что елку «вернул детям» Постышев.

Человек, причастный ко многим жестоким преступлениям режима (и к украинскому голодомору тоже), он стал глядеться в разговорах добрым дядюшкой, который разве что не водит с детьми хороводы и не распевает с ними «В лесу родилась елочка...»

Песенка эта долго считалась народной, тогда как автор ее, поэт Раиса Адамовна Кудашева, по своим причинам, в те годы вполне объяснимым, пряталась в безвестности. Природа наделила ее долголетием: она тихо пережила сталинское время и даже хрущевское, — в конце жизни ее, наконец, стали упоминать как автора повсеместно распеваемой «Елочки».

Постышева, которого расстреляли через два года после того, как он «подарил детям елку», она тоже пережила.

В недолгое оставшееся время жизни Постышев одарил население, детей и взрослых, новой забавой. На этикетке спичечного коробка он обнаружил замаскированный портрет Троцкого. Потом — какое-то крамольное изображение на обложке школьной тетради. Дальше — больше. На хлебной корке, на куске колбасы он видел свастики. Конфетные этикетки тоже оказались под подозрением.

Не думаю, что он помешался. Помешанными были все. Время Большого Тррора — *сон разума, рождающий чудовищ*.

По примеру руководителя, доверчивое и вместе бдительное советское население стало в любом сочетании линий и пятен угадывать преступные замыслы врага.

Я уже учился в школе. На уроках и на переменах мы со страстью рассматривали рисунки в наших учебниках, даже (и особенно) на просвет — и непременно находили что-нибудь возмутительное: то подобие фашистского знака, то запретное сочетание букв, то всё того же Троцкого.

Я хорошо помню эти «страшные» спичечные этикетки. На рисунке — зажженная спичка, три острых язычка пламени, в которых ослепленному подозрениями взору чудились клок волос над лбом, нос и острая бородка — профильный портрет самого страшного врага нашей советской родины.

Спички с такими этикетками изымались из продажи.

Коробок спичек мог грозить его владельцу изъятием из жизни.

Самого Постышева расстреляли как организатора подпольного троцкистского центра и заодно как японского шпиона.

Разрешение устраивать елку явилось нежданное-негаданное, под самый Новый год. Тотчас и елки откуда-то взялись, в Москве, во всяком случае. Страна бросилась делать игрушки: фабричные в тот первый год не успели.

Клеили из цветной бумаги фигурки, цепи, резали бахрому. Серебрили грецкие орехи. В посеребрённый орех, в крошечную дырочку, там, где смыкаются половинки скорлупы, втыкали примерочную булавку с петелькой, сквозь нее протягивали нитку —

привязывать орехи к ветвям елки. Вешали на елку пряники, конфеты, мандарины (они только что появились в продаже — каждый мандарин был завернут в листок папиросной бумаги).

...Как хорошо — не бояться!

У нас елка — до потолка, и шторы на окнах — настезь.

Вдруг оказалось, что папа умеет делать из гофрированной цветной бумаги замечательные китайские фонарики — желтые, зеленые, красные шары и цилиндры (из обрезков мы с мамой лепили фантастических — какие в голову приходили — рыб и попугаев).

21

Год спустя *новогодняя елка* стала уже обязательным общественным мероприятием.

Придя с работы, папа протягивал мне красивый глянцевый билет — елка для детей сотрудников, и непременно надо пойти, председатель месткома сама разносила билеты по отделам, — ну, и подарки, конечно, будут. И мама приносила с работы глянцевый пестрый билет. В школе тоже елка. И в домоуправлении. И «главная елка страны» (тогда еще не в Кремле) — в Колонном зале. И знакомый мальчик пригласил к себе домой на елку. И знакомая девочка. И кто-то подарил родителям для меня билет на елку в клуб наркоминдела, — как такую пропустить!..

Артистка Рина Зеленая, прославившая себя тем, что передавала детскую речь, какой она представляется взрослым и тешит их, всякий день читала по радио один и тот же написанный кем-то к случаю уморительно-смешной монолог затасканного по елочным праздникам ребенка.

Чтобы украсить елку, большого труда уже не требовалось: прилавки магазинов были завалены всевозможным *елочным ширпотребом*.

22

...Прошло полвека.

Даже больше.

Папы уже не было в живых. И мамы тоже. Хотя она надолго его пережила.

Я не забывал про папины часы, но они давно не попадались мне на глаза, и стали для меня больше образом, творимым памятью, чем предметной реальностью.

Пока однажды счастливый случай вдруг не явил их мне снова.

Они обнаружили в черной лаковой федоскинской шкатулке, на крышке которой лихая тройка с седоками в яркой одежде мчалась по серебристому снежному полю.

Шкатулка упряталась в платяном шкафу, в самой глубине, на полке, где лежали стопкой мамины блузки, шейные косынки и платки, которые, несмотря на миновавшие годы, хранили ее запах и, казалось, тепло и прикосновение, — так, что не было возможности ни раздать их, ни даже переложить куда-нибудь.

В шкатулке, огнисто алой изнутри, оказались некоторые памятные вещи, прежде хранимые в «трельяже». Самого трельяжа давно след простыл; не помню, чтобы его отдали кому-нибудь или попросту выбросили за ветхостью и ненужностью, — он как-то сам собой неприметно исчез, будто стерся временем, — такое нередко случается со старыми вещами.

Я обнаружил в шкатулке мамины розовые коралловые бусы, брошку темно-синего стекла, сквозь которую в детстве любил смотреть на свет лампы и — папины часы.

Часы показывали всё те же двадцать пять минут третьего.

Они вдруг увиделись мне замечательно красивыми — с резным ободком вокруг просторного, свободного от подробностей циферблата, четким курсивом цифр, каллиграфически исполненной гравированной надписью *Ударнику* на задней крышке.

Часы лежали у меня на ладони, их стальное тельце понемногу набиралось моего тепла.

Мне хотелось прижаться к ним ухом и услышать мерное биение их маленького стального сердца.

Я почувствовал требовательное желание оживить их, дожить свой век по этим папиным часам, с которыми познакомился в рассветную пору детства и вновь встретился на закате дней.

Мысль о мистической связи времен разогревала мое желание.

Мне дали адрес некогда знаменитого часовщика.

Старик уже давно не работал, но иногда выполнял на дому частные заказы, если они были ему интересны.

Он жил на Маросейке, в одном из переулков.

Дом был старый — пятиэтажный доходный дом позапрошлого столетия, и лестница — старая, просторная, со стершимися каменными ступенями, и дверь, каких теперь уже не бывает — с резным рельефом и круглой медной ручкой.

Квартира была тесно заставлена старинными вещами, начиная с тяжелой стоячей вешалки — такие еще в пору моего детства называли «старинными».

Всклокоченные седые волосы мастера нимбом облегли лоб; давно не бритые румяные щеки серебрились щетиной.

На старике была домашняя клетчатая куртка с бархатным воротником; его ноги прятались в высоких ботах на меху.

В комнате у окна стоял рабочий стол, покрытый матовым стеклом. На нем, в каком-то заведомо значимом порядке были разложены всевозможные часовых дел инструменты.

Рядом со столом, на старинной тумбочке выселись песочные часы — очень большие, каких мне никогда не приходилось видеть; песок тонкой ровной струйкой перетекал из одного стеклянного шара в другой. Песка в ёмкости хватало, может быть, на целый час, или даже два...

Мастер усадил меня и стал расспрашивать, с чем я к нему пришел. Я рассказал больше, чем предполагал: глаза старика встречали мои слова с доброжелательством и интересом.

Наконец, я извлек из кармана часы.

Старик почти жадно выхватил их из моей руки, быстро, как-то боком, по-птичьи, взглянул на них — и радостно заключил: «Не Павел Буре».

Артист Художественного театра Борис Яковлевич Петкер чудесно бы его сыграл.

Он надвинул на голову кольцо с окуляром, пристроил окуляр под кустистой бровью, ловким движением сбросил с часов заднюю крышку, тут, там тронул маленькой отверткой механизм. Быстрым щелчком вернул крышку на место, сдвинул окуляр на лоб и протянул мне часы обратно.

«Вы, конечно, мне не поверите, но эти часы чего-нибудь стоят именно тогда, когда они — стоят».

Он произнес это опять же радостно, точно сообщал мне нечто необыкновенно приятное и нужное. Его небритые щеки пылали под сединой радостным детским румянцем.

«Вы меня понимаете? Теперь, когда часы стоят, они показывают абсолютно точное время. Это то время, которое вам оставил на память ваш отец. Предположим, у нас получится — мы их запустим. И *что?* Каждый вечер вы будете заводить пружину, тревожить хрупкий механизм. Часы будут, конечно, отставать или убежать вперед, потому что, нравится нам это или нет, то, что вы держите в руках, не *Павел Буре* и тем более не *Брегет*. Вы будете сердиться и крутить туда и сюда минутную стрелку. В один прекрасный день, и, наверно, очень скоро, часы снова остановятся. Но на них будет уже не время вашего отца, а — ваше время. Вы понимаете, что я хочу сказать?..»

Тихо отворилась высокая дверь, на пороге появилась маленькая полная старушка в светлом фартуке.

«Исай! — сказала она. — Может быть, ты лучше предложишь моему гостю покушать суп с клецками?..»

25

...Кажется, с того дня мне не приходилось больше есть суп с клецками...

26

А папины часы лежат теперь у меня на столе.

Время от времени я поглядываю на них и уточняю время, в котором живу.

На циферблате всегда двадцать пять минут третьего.

1934-й год.

Валя-Валентина

1

Надя была самая маленькая в нашем — третьем — классе, и фамилия у нее была — Воробьева, все, конечно же, называли ее — *Воробей*.

И в самом деле неприметная, как эта в наших краях примелькавшаяся глазу птица, она вот только пела не по-воробыному прекрасно.

На уроке пения Надя без всяких с ее стороны усилий будто преображалась, и, что бы мы ни пели (даже «Буденновский марш»), всегда казалось, что поет в классе она одна, мы же, с нашим неинтересным галдением, лишь при этом присутствуем, если вовсе не перестаем существовать.

Голос у Нади был не громкий и замечательно чистый, не удержусь, напишу привычное — *как ручеек*: в нем слышались, того более — ощущались непрерывность движения и прозрачная свежесть.

Что бы мы ни пели (тем более «Буденовский марш»), мы, остальные, в общем-то, выкрикивали под музыку слова, — пела одна Надя. В каждом звуке, вылетавшем, нет — выливавшемся из ее горла, жили в единении слово, чувство и мелодия; и всё это, казалось, жило и в ее серых глазах, и в бледном лице, и в хрупком сутулящемся теле...

Но мой рассказ не об уроке пения, а об уроке физкультуры.

В середине года к нам пришла новая учительница — Нина Ивановна.

Говорили, будто она чемпион Москвы по гребле. Во всяком случае, у нее были могучие плечи, широкая спина и мощный голос. От нее веяло силой.

«Спина прямая, подбородок приподнят, ноги на ширине плеч!» — командовала Нина Ивановна, расставив нас на гимнастику; стекла в окнах зала отзывались ей дребезжанием.

Классный хулиган, патластый второгодник Качаев, по кличке Качок, сразу назвал новую учительницу *жопа на ширине плеч*; мы, мальчики, и даже некоторые девочки, перемигиваясь и пересмеиваясь, восторженно за ним повторяли.

«Спина прямая! Прямая спина, Воробьева! — командовала, будто в гонг била, Нина Ивановна. — Грудь развернута!»

Надю она с первого дня заметно невзлюбила.

«Выше подбородок! Подбородок! Не тосковать Воробьева!»

Тосковать — это когда сутулишься, когда грудь не развернута и подбородок не торчит гордо вверх.

Тосковать на уроках Нины Ивановны было строжайше запрещено...

...«Ноги на ширине плеч! При наклонах спина прямая! Правая ладонь к левому носку... Воробьева!.. — учительница направилась к Наде. — ...Ты что опять сторбилась? Старуха, что ли? — Она положила на спину Нади огромную чемпионскую ладонь. — А ну! Расслабить тело!..»

«Тело!..» — шкодливо захохотал Качок, и все вдруг поняли, что слово это ужасно неприличное и начали перемигиваться и пересмеиваться.

Но тут произошло нечто совершенно неожиданное.

«Да что же это такое?» — не закричала, а тихо и даже как будто испуганно вдруг произнесла Нина Ивановна, и от этого нам, детям, сделалось не по себе.

Сначала мы ничего не поняли: просто замолчали, как по команде, и, недоумевая, смотрели, как учительница, бормоча что-то, с усилием заталкивает свою могучую руку Наде за пазуху.

На уроки физкультуры мы надевали тесные, в обтяжку, майки со шнуровкой на груди — их называли *футболками*. (Белые футболки, черные сатиновые трусы: это называлось — *белый верх, черный низ*.)

Даже классный хулиган Качок, который непременно должен бы был сообщить по такому случаю что-нибудь неприличное, замер, разинув рот, в молчаливом изумлении.

«Совесьть у тебя есть?..» — Нина Ивановна с трудом выпростила обратно руку и разжала кулак.

На ее ладони лежал маленький серебряный крест на тонкой цепочке.

Тишина в зале стояла такая, какую принято именовать привычным — *звенящая*.

Если бы Нина Ивановна вытащила из-за пазухи у Нади ручную гранату Ф-1, чертеж которой можно было увидеть тут же в зале на стенде «Будь готов к труду и обороне», это оказалось бы для нас меньшей неожиданностью.

Мы были уже юные воинствующие безбожники, которых лепили из нас, по собственному подобию, взрослые воинствующие безбожники.

Воинствующие безбожники, потому и — *воинствующие*, не только знали (и нас учили), что Бога нет; они знали больше (и нас учили): что Бог — враг... Как этот толстый поп с пьяным лицом и маленькими злыми глазами, помещенный на карикатуре в газете рядом с капиталистом и помещиком.

Наши враги.

«Совість у тебе єсть?» — повторила Ніна Івановна. Голос її знова набрав крєпость. «Ми стихи учим про Валю-Валєнтину. Умирала пионерка — крєст не надела... А ты?..» — уже отзывается эхом по углам зала и дребезжанием оконных стекол.

Надя молчала.

«И кто же эти родители такие — на дочку крєст нацепили!»

То ли всегда носила Надя этот крєстик, да никто не замечал, то ли нынче, собираясь в школу, позабыла снять?

«Что молчишь? Сказать нечего? Нет уж, ты давай, объясни товарищам!..»

Надя стояла молча — лицо бледнее, чем всегда, подбородок приподнят, грудь развернута...

«Мы пионеры, внуки Ильича... — гремела Лариса Ивановна. — Нам Бог не нужен. А ты, что? Монашка?..»

«Монашка! — взорвался, восторженно затряс патлами Качок. — Монашка-барашка! Она в церковь ходит! Богу молится!..»

Он повалился на колени, стал отбивать поклоны, смешно заблеял: «бе-е... бе-е...»

И остальные мальчики, точно охваченные какой-то недоброй пьяной силой, и даже некоторые девочки (а девочки были не в пример рассудительнее) вдруг запрыгали, захохотали, заблеяли: «монашка... а... а... барашка... бе... бе...»

И я, хотя сердце мое сжималось от жалости к Наде и я ненавидел эту *жопу на ширине плеч*, Нину Ивановну, тоже почему-то блеял и хохотал...

«Монашка... а... а!.. Монашка... а... а!..»

Ааааааааа...

2

Едва затягивали у нас на шее алые пионерские галстуки, мы начинали читать и затверживать стихи про *Валю-Валєнтину*.

Валя-Валєнтина, что с тобой теперь: белая палата, крашенная дверь, — у школьника моего поколения эти строки были на языке, как самая известная поговорка.

Поэма Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки», откуда взяты эти строки, входила в *обязательную* школьную программу.

Стихи про девочку-пионерку, которая умирает от скарлатины, и знает, что умирает, но перед смертью наотрез отказывается надеть на шею крестик (мать уговаривает: «Не противься, Валенька, // Он тебя не съест, // Золоченый, маленький // Твой крестильный крест»). В предсмертном видении девочки — «трубы, трубы, трубы поднимают вой»: перед ее угасающим взором в небе за больничным окном один за другим шагают на вечерний сбор пионерские отряды, красное знамя реет, «молнии, как галстуки, по ветру летят». Последним усилием Валя-Валентина отстраняет протянутый крестик и подымает руку в пионерском салюте, приветствуя шагающие отряды. Вой труб, красное знамя, галстуки-молнии на шеях товарищей.

Этот, в общем-то, частный сюжет, поставленный в центр поэмы, — однако же, не частность, но часть романтического революционного эпоса, созданного Багрицким. Одна из главных составляющих такого эпоса — торжество гибели, смерти ради торжества творимого революцией мира. Неслучайно любимая песня революционной поры — «*И как один умрем в борьбе за это*» (любимая песня Ильича — «Замучен тяжелой неволей, он *славную смертью почил*» — разучивали на уроках пения). Какой «мы наш, мы новый мир построим», какую стройку учиним, оно видно будет, главное — сегодня, сейчас, не колеблясь, жизнь за *это* отдать. Вот и у Багрицкого в поэме: «*Возникай содружество ворона с бойцом*». Сильно и страшно...

«Боевые лошади // Уносили нас, // На широкой площади // Убивали нас. // Но в крови горячечной // Поднимались мы, // Но глаза незрячие // Открывали мы...»

Прекрасные пионерские видения встают перед незркими глазами бедной девочки Вали-Валентины, причисленной к погибающим в сражениях бойцам революции — тем самым искренним ее бойцам, без которых (и без гибели которых) революций не бывает. И в самом деле, кто же искреннее ребенка с его наивной, не изъедаемой раздумьями верой в то, во что он успел, во что его научили поверить?..

Тут было нечто противное человечности, когда нас, маленьких, принуждали читать, затверживать эти стихи: детская душа противится смерти, еще не вбирает ее в себя, еще не приучена к тому опытом жизни.

Багрицкий был настоящий поэт, и стихи настоящие, и смерть в них — при всем романтическом революционном пафосе — настоящая (даже девочка с ее именем — настоящая: дочь домохозяев поэта, он у них комнату снимал на окраине Москвы). Оттого, что чувствовалось — *настоящее*, стихи как-то особенно отпугивали.

«Тоньше паутины // Из-под кожи щек // Тлеет скарлатины // Смертный огонек... // Говорить не можешь, // Губы горячи. // Над тобой колдуют // Умные врачи... Воздух воспаленный. // Черная трава. // Почему от зноя // Ноет голова? // Почему теснится // В подъязычье стон? Почему ресницы // Обдувает сон?..»

Читать-затверживать такое не хотелось, было *не по себе* (естественное отчуждение читателя-ребенка от смерти и, соответственно, от описания ее). Затвердив, я почти тотчас интуитивно уложил стихи в тот неохотно посещаемый уголок памяти, от которого детской душой отстранялся, где хранились рисунок «Тамара в гробу» из иллюстрированного однотомника Лермонтова, пестренькое платьице умершей в младенчестве сестры, иногда извлекаемое мамой из сундука, похороны соседского трехлетнего мальчика Шурика — розовый гробик, белый катафалк с витыми колонками по углам, серебряные сетчатые попоны на лошадях... Там же находился и Ленин в Мавзолее («профиль желтый и красный орден на груди» — не Багрицкого строчка, другого поэта) — к ленинскому гробу детей, пионеров и октябрят, водили как для причастия.

3

Надя в школе больше не появилась.

4

А вскоре умерла от скарлатины Лиля Шифрина.

Лиля была дочерью каких-то давних знакомых моих родителей. Изредка родители ходили к Шифриным в гости. Несколько раз они брали меня с собой. Бывать у Шифриных мне не нравилось. Гости собирались все взрослые. За столом нас с Лилей сажали рядом, и взрослые гости, улыбаясь, на нас поглядывали, подмигивали в нашу сторону и отпускали шуточки, как будто мы жених и невеста. И мама Лили, полная, с румяными щеками, слушая

эти шуточки, шурилась и как-то особенно улыбалась, и подкладывала мне на тарелку что-нибудь вкусное: «Кушай, мальчик», — похоже, она никогда не помнила, как меня зовут. У отца Лили была узкая лысина, маленькие черные усики, как у Чарли Чаплина, и обручальное кольцо, которые почти никто уже не носил... Его звали Рафаил Зиновьевич.

Мне у Шифриных было скучно и даже неприятно; я всякий раз просил маму оставить меня дома, но мама говорила: «Нет, нет, неудобно. Они так просили привести тебя с собой...» Жили Шифрины где-то недалеко от Каланчовской площади; у них была большая отдельная квартира.

С Лилей мы почти не разговаривали: сидели, не глядя друг на друга, слушали беседу взрослых, иногда отвечали на их вопросы; я — стесняясь, неохотно, Лиля — бойко и уверенно.

Меня раздражала навязанная мне роль Лилиного жениха, я злился на Лилю, еще больше злился оттого, что она так свободно, без тени смущения откликалась на вопросы и шутки взрослых, но при этом мне почему-то казалось, что для нее всё происходящее так же стыдно и неприятно, как для меня.

Лишь однажды — в тот день я в последний раз был у Шифриных — Лиля, выждав удобную паузу, возникшую в трапезе, вдруг предложила, что покажет мне свою комнату. Мы встали из-за стола, Лиля взяла меня за руку и повела прочь из столовой, гости говорили нам вслед что-то веселое, я чувствовал, что покраснел, шагал неловко, и у меня потела ладонь, а Лиля — хоть бы что, легко и уверенно переступала ножками в лаковых туфлях.

Уже одно то, что у девочки оказалась собственная комната, произвело на меня сильное впечатление, но комната была к тому же красиво обставлена: ковер на полу, письменный стол с чернильным прибором — хрустальная чернильница на мраморной подставке, стакан для ручек и карандашей, пресс-папье, в углу на тумбочке патефон и пластинки. «Если хочешь, послушай что-нибудь» — предложила Лиля. «А родители позволяют?» — мне не позволяли, боялись, перекручу пружину (патефон тогда еще не стал окончательно ширпотребом, еще не утратил особенности ценной вещи). «Это мой собственный, — сказала Лиля. — У родителей радиола, там, в столовой». В столовой и в самом деле красовалось похожее на дорогой комод заграничное чудо. Иногда Шифрин подходил к нему, передвигал какие-то рычажки, раздавалась му-

зыка, гости быстро поднимались из-за стола и спешили, пока музыка не кончится, станцевать какой-нибудь модный в те времена танец — фокстрот, танго, румбу. Я торопливо (будто кто-то сейчас войдет, выругает, запретит) покрутил рукоятку, поставил первую попавшуюся пластинку и, волнуясь, осторожно опустил на нее тяжелую мембрану с иглой. «Это вальс-бостон, — сказала Лиля. — Хочешь, научу тебя танцевать?..» У нее были такие же, как у матери, пылающие румянцем щеки и большие серые глаза, которых у матери не было. Танцевать я отказался...

Однажды — родители пришли с работы, мы сели обедать, — папа, помешивая ложкой слишком горячий суп, сказал: «Представь только, у Шифриных дочка умерла. Как ее звали?» (Папа часто забывал имена.)

Я тотчас приметил это не *зовут*, а *звали*.

«Лилия, — ответила мама. — Какой ужас! А что случилось?».

«Скарлатина. Шифрин и Молчанова привозил, и Молоденкова...» (Это были известнейшие детские врачи.)

«Надо к ним заехать, — сказала мама. — Такое несчастье. Я съезжу после обеда»

«Похороны послезавтра, кажется. Залуцкий сказал. У него между прочим сестра тоже совсем плоха.»

«Лида или Фаня?»

«Фаня. Ты поезжай одна. Мне сегодня вечером поработать надо: завтра у меня серьезный день».

Папа начал осторожно есть суп.

Мама повернулась в мою сторону: «Ты помнишь Лилию Шифрину?»

Я молча кивнул. Мне не хотелось поднимать глаза на родителей. Тон разговора, слова, которые они произносили, — всё, казалось мне, не соответствовало тому, о чем шла речь. Было даже стыдно за них. Я смотрел в стоявшую передо мной тарелку с картофельным супом. Я очень любил этот суп. Обычно, когда я его ел, я воображал, что длинные ломтики картофеля, плавающие в бульоне, это корабли в море, а я, огромный великан, Гулливер или Гаргантюа, вылавливая их ложкой и поедая, побеждаю в морском сражении. Но в тот день перед моими глазами были всего лишь склизкие кусочки, плавающие в желтоватой жиже.

После обеда мама быстро уехала и приехала быстрее, чем я ожидал. Папа оторвался от своих записей: «Ну, что там?» Мама показала на меня глазами: «Потом».

А мне и не нужно было, чтобы она рассказывала. Я боялся тона и слов разговора, который может возникнуть. Я сам знал, *что там*. Я видел перед собой яркие румяные щеки девочки, ее серые глаза, сверкающие лаковые туфельки. И я видел эту же девочку, но добела бледную и худую, как пионерка, умиравшая в страшном стихотворении; девочка с закрытыми глазами лежала на кровати в комнате с ковром и патефоном, бледная. тонкая рука ее бессильно свисала к полу. Послезавтра ее положат в маленький розовый гроб, как мальчика Шурика с нашего двора, и на белой колеснице с четырьмя витыми колонками по углам и ужасным названием *катафалк* отвезут на кладбище, чтобы навсегда зарыть в землю. Я знал в тот вечер еще больше — знал, что все люди умирают, что умрут мама с папой, что я умру, что невозможно избежать этого, и мне не от страха, а от ужаса, хотелось закричать, но молча, не производя ни звука...

Господи!.. Причем тут шагающие отряды, воюющие трубы, галстуки-молнии, пионерский салют, отрядное красное знамя?..

Зачем, Господи, — *«Чтоб земля суровая // Кровью истекла, // Чтобы юность новая // Из костей взошла?..»*

Ааааааааа...

По улицам оставленной Москвы

ДОЖДЬ ПОБЕДЫ

Последний выпускной экзамен в школе — историю — мы сдавали 24 июня.

Настроение у всех было шальное. И у нас, отбывавших последние часы за партами школяров. И у старавшейся соблюдать торжественную строгость экзаменационной комиссии, возглавляемой директором школы, крепко сбитым мужичком с чубом и хитрым прищуром серых запорожских глаз.

В самом деле, какая там еще история, какие учебники, билеты, хронологические таблицы, когда подлинная история вот она — за окнами, и мы ее живые свидетели и уже поэтому как-никак соучастники!

Как раз на этот день, 24 июня 1945-го, назначен был на Красной площади Парад Победы.

Только наша учительница, совсем молоденькая, на вид сама школьница, не в силах была поддаться обуревавшему всех радостному возбуждению. Бледная, по-больничному коротко остриженная, она с нескрываемым страхом смотрела на каждого отвечающего, будто непрестанно ожидая, что именно его ответ произведет какую-то непоправимую катастрофу.

Эта учительница пришла к нам в десятый всего полгода назад, похоже, только что из института. Годом раньше средние школы в стране разделили по половому признаку. Нас было в выпускном классе пятнадцать парней, не разбежавшихся на всякий случай (кто знает, сколько еще война протянется) по всевозможным подготовительным курсам сулящих броню технических вузов. Учительница — от неопытности, должно быть, духовной и женской, — не сумела угадать в нас мальчишек, начинающих чувствовать себя мужчинами, желающих и страшящихся этого, поверила нашему часто вызывающему поведению и вызывающим речам, дурацким шуткам, перемигиваниям, ухмылкам — поверила и вместо того, чтобы подружиться с нами, отгородилась от нас страхом. Так, со страхом в глазах, она объясняла новый материал, спрашивала уроки, проводила консультации перед экзаменами, сидела за экзаменационным столом. И лишь когда последний из нас пятнадцати (это был самый маленький в классе и заключающий список по алфавиту, рыжий, как огонь, Саша Яшин), ответил на вопросы билета и директор, тряхнув чубом, торжественно поздравил нас с получением законченного среднего образования, она поднялась с места, едва не впервые улыбнулась, сказала: «Спасибо, мальчики!» — и заплакала.

А час спустя мы — и учительница с нами — каким-то образом, не помню уже каким, очутились в колонне демонстрантов и, под командные крики распорядителей, то пробегая сотню, другую шагов, то останавливаясь, чего-то ожидая, пропуская кого-то вперед,

чтобы потом, опять пускаясь бегом, обогнать кого-то, что-то возбужденно крича, подхватывая кем-то начатые или долетавшие откуда-то песни, продвинулись до Ильинских ворот — здесь, у памятника гренадерам, некогда павшим под Плевной, надо было дожидаться окончания военного парада. Демонстранты, сходящиеся колоннами с разных сторон, с веселой терпеливостью горланили песни, плясали, расчистив кружок, под гармошку, орали «ура!», вторя оглушительному реву громкоговорителей, качали затесавшихся в толпу людей в военной форме, взбирались на чугунную ограду бульвара, стараясь сквозь просветы улиц разглядеть там, вдалеке, хоть какой-нибудь кусочек парадного действия.

Теперь, смотря старые кадры кинохроники, запечатлевшие этот день, я вижу на экране чеканящие шаг по брусчатке Красной площади сводные полки фронтов, вижу, как напротив трибуны возглавляющие каждый полк особые группы знаменосцев круто — левое плечо вперед — поворачивают направо, чтобы на подступах к мавзолею швырнуть штандарты поверженной немецкой армии под ноги генералиссимусу, как стоящий на трибуне старый человек с хмурым лицом и тяжелыми стариковскими плечами трудно и словно бы неохотно поднимает руку к козырьку низко нахлобученной на лоб фуражки...

Старая кинохроника, запечатлевшая Парад Победы, не показывает, что было дальше.

А дальше был ливень.

Будто небо из конца в конец одним махом разверзлось над Москвой, и вся масса скопившейся в хлябях небесных воды рухнула на землю.

Демонстрацию трудящихся отменили.

Трудящиеся, в одну минуту промокнув до костей, бросились по домам.

Было необыкновенно весело. Я не замечал, что белая праздничная рубашка, специально к экзаменам перешитая из маминой батистовой кофты, облепила мое тело, не думал об отцовых ботинках, в последние год-два вдруг ставших мне впору, вода, хлеставшая в лицо, струящаяся по телу как если бы на мне ничего и надето не было, радовала и возбуждала меня. Будто подгоняемые бодрящей живительной силой мы почти бегом мчались по быстро

пустеющей улице, хохотали, выкрикивали что-то, прыгали во встречные лужи, стараясь обрызгать друг друга, — и наша учительница с нами. Она сбросила надетые на экзамен туфли-лодочки, не стесняясь нас, соблазнительно задрала юбку, отстегнула чулки, и бежала босая, и тоже кричала, и прыгала в лужи, и, кажется, плакала, но под дождем не разглядеть.

А дождь лил и лил, и шумно колотил струями землю, словно хотел отмыть ее от годами накопленной тяготы, грязи, тревоги, очистить для готовой неминуемо наступить новой жизни, для нового времени и новых надежд.

ПЕРВАЯ ЗИМА

Памяти Шуриноного Шуры

Первая послевоенная зима было как бы перевальной. Война перерезала пространство жизни, и теперь, когда она окончилась, люди, одолевая этот перевал, оглядывали открывающуюся перед их взором новую территорию, делали по ней первые шаги.

Вот и Сталин, явив себя той зимой народу, подводил общие итоги войны, намечал самые общие задачи послевоенного развития. Послушать его, получалось, что всё в эти только что минувшие тяжкие годы шло по пронциательно обдуманному плану, что не кровью людской, а мудростью партии и государства была удобрена земля, на которой вызрела победа.

Многие из тех, кто в тот вечер прижимал ухо к черной бумажной тарелке радиорепродуктора, с горечью обиды заметили, что вождь и учитель, впервые после войны встретившись со своим народом, и слова не нашел, чтобы вспомнить о понесенных жертвах, — замета болящим рубцом легла на израненное потерями сердце.

Я бы из нашего сегодня не взялся умозрительно размышлять об этом, задним умом мы все сильны, но про обиду, о которой в ту пору и намекнуть-то было опасно, я впервые услышал минутудругую спустя после того, как Сталин окончил свою не слишком внятную из-за глуховатости голоса и сильного акцента речь, а из репродуктора, перекрывая овацию, грозящую стать вечной, грянули оглушительные звуки победного марша.

Сидя у нас в тот вечер, вместе с нами слушала речь старая мамина приятельница Александра Васильевна, ярая общественница двадцатых годов, с которой мама в то исполненное энтузиазма время дружно основывала какие-то трудовые профилактории, имевшие целью перевоплотить падшие создания — воровок и проституток — в деятельных гражданок Страны Советов. Мама именовала приятельницу *Шурой с чаеразвески*, в отличие от другой Шуры, и тоже Александры Васильевны, жены папиного двоюродного брата. (С малолетства помню эту мамину Шуру, маленькую, тощую, по-цыгански смуглую, точно прокопченную, помню ее грубый прокуренный голос, громкий смех, шуточные тумачи, которыми она меня награждала, пытаюсь перебороть мою, с детства, сутулость: «Стой прямо, ходи браво». Годами собирался спросить у мамы, так и не собрался, что это за «чаеразвеска» такая.) У *Шуры с чаеразвески* был сын, тоже Шура, которого она растила без отца. Мама говорила по секрету, что отцом был, кажется, какой-то видный советский деятель, может быть, даже член правительства (позже сгинул, наверно, на островах архипелага, если не расстреляли). Шурин Шура в первые же дни войны ушел на фронт, хотя носил очки и мог не идти («Да как не пойти, он ведь у меня коммунист», — говорила Шура-мать), и тогда же, в первые дни, был убит. *Шура с чаеразвески*, черная, как галка, сидела, склонив голову, возле репродуктора, дымила толстой, в палец, самокруткой. Когда в репродукторе победной артиллерией загрохотали финальные аплодисменты, она крепко затянулась напоследок, ткнула окурком в пепельницу, хрипло отметила: «Погибших не помянул». И добавила с укором: «Пока воевали, *слава павшим героям*. А теперь — не счел». Все промолчали...

Сталин говорил о победах. И даже не о Берлине и Праге. О победах не просто исторических, но вселенски-исторических. В которых незыблемо бронзовела вечность. Советский Союз с коммунистами во главе — самая лучшая, самая жизнеспособная форма государства и общества. Вот главная историческая победа, главный исторический итог минувшей войны.

(Многие из тех, кто слышал эту речь — мыслимо ли было подумать! — доживут до распада государства, которое именовалось Советским Союзом, до распада общества, которое в Советском Союзе именовалось социалистическим, до пьяных дней,

когда члены самой победоносной партии будут с партийной лихостью сжигать выношенные на груди партийные книжечки, а немногим стойким, не покинувшим ее сильно поредевших рядов, останется утверждать свои идеалы возложением по табельным дням казенных красных гвоздик к основанию гробницы, от которой новые правители не чают, но пока всё не найдут способа избавиться.)

Бедный Шурин Шура!..

Безбожный

В тот промозглый февральский день 1946 года Сталин выступал перед избирателями. Со времени предыдущих выборов прошло восемь лет. Предыдущие, в нарицательном тридцать седьмом, были первыми, когда, по велению новоиспеченной конституции, обозначенной как *сталинская*, население страны было допущено к избирательным урнам. Теперь, после затянувшегося перерыва, объявленного войной, велено было вновь по заранее намеченной разверстке (столько-то рабочих, столько-то колхозников, мужчин, женщин, комсомольцев, столько-то с высшим образованием и со средним столько-то), как из нарезанных кусочков картинку в детской игре, составить картинку советского *парламента*.

Для работы среди населения на избирательные участки направляли агитаторов. Я тоже в числе многих других студентов был удостоен доверия разъяснять народу политику партии и правительства.

Избирательный участок нашему институту достался тяжелый — целый городок старых барачных или приспособленных под бараки строений в Безбожном переулке.

«В Безбожном переулке хиреет мой талант», — позже напишет и споет Булат Окуджава. Он после долгих мытарств получит завидную по тем временам квартиру в писательском доме, воздвигнутом в шестидесятые или в семидесятые годы на том самом месте, где прежде стояли бараки.

В перестроечное время переулку вернут давнее имя — Протопоповский. Не уверен, что это прибавило месту божественного ду-

ха. Тем более, что не угодившее советским властям «религиозное» название было произведено не от духовного сана, а от фамилии какого-то почитаемого домовладельца.

В бараках обитали десятки семей, теснившихся в маленьких, по большей части, плохо приспособленных для нормальной человеческой жизни клетушках. Коридоры были завешаны корытами, тазами, заставлены ящиками с убогим барахлом, колченогими стульями и тумбочками, всем тем, что никак уже не годилось для употребления, но по бедности рука не поднималась выбросить. Центром наших пропагандистских трудов становилась, как правило, общая кухня. Здесь сохло белье, пахло паром, кислыми щами — опорным блюдом бедняцкого меню, табачным дымом, помоями. Женщины стирали, согнувшись над тазами и корытами, толклись, задевали друг друга локтями, у плиты, мешали что-то половниками в закопченных кастрюлях, ругались между собой, ругали нехоти подвернувшихся под руку детей, соседей по дому, мироустройство. Сообщать им, что они живут в самом совершенном государстве и обществе, не позволяла совесть: я предлагал им какую-нибудь интересную новость, политическую или их области науки и техники, прихлопывал к двери, ведущей на черный ход, принесенный мною очередной призывный плакатик и, извлекая из кармана блокнот и карандаш, спрашивал о назревших бытовых нуждах. Я знал, что нужды эти не будут удовлетворены, и женщины знали, — тем не менее все обычно возбуждалось, начинали кричать, перебивать одна другую, иногда даже оттирали одна другую от меня плечом, будто, как в известной евангельской купальне, исцеление ждет лишь того, кто сумеет раньше остальных войти в воду. Никто не верил, все просили, — поистине надежда умирает последней.

Те, кто посылал нас в эти мгlistые кухни, тоже заранее знали, что ничего не сделают для несчастного населения барачного городка; впрочем, и у них, точь-в-точь, как у невинных агитаторов, не имелось ни возможностей, ни средств сделать что-либо. В конечном счете вся так называемая *агитработа* имела целью принудить доставшихся тебе избирателей в день голосования как можно раньше опустить бюллетени в урны. Именно по этому показателю городские и районные власти судили о деятельности избирательных комиссий; участки соревновались между собой.

«Не пойду голосовать! На, гляди!..» — горланила Лена, самая беспокойная моя избирательница. Она раздвигала полы нечисто-

го байкового халата и выставляла вперед ногу в коротком, обрзанном, как опорки, валенке. «Вся моя обувка, и та дырявая! — горланила Лена и еще больше раздвигала халат и выставляла ногу. — Другую обувку советскую власть не дала!..» Нога у Лены была красивая, будто точеная. Я смущался, но был не в силах отвести взгляд. И сама Лена была бы красивая, если бы не тягостная бледность лица, бледность ростка, живущего в темноте, если бы не припухшие глаза, не запах только что выпитой водки. «Посодют тебя, Ленка! — деловито обещали женщины. — Непременно посодют!..». «Расстреляют!» — добавляла меру наказания старуха Прохорова, неотлучно стоявшая у дальней плиты в углу и шаркавшая половником по дну кастрюли. В тяжелом дворницком фартуке, она точно какое-то ведьмовское зелье варила. «Вот и хорошо, расстреляют, — дерзила Лена. — Ребят — в детский дом. Оденут-обуют. Сыты будут».

«Я б ее, контру, на фронте в момент расстрелял, — избиратель Агеев мечтательно улыбался, показывая едва вылезавшие из десен мелкие желтые зубы. — Шлёп, и нету». Агеев стоял на пороге кухни с зеленым эмалированным чайником в руке. По дому ходил он в поношенном военном обмундировании, даже с медалями какими-то, но босой. «Смотри, стрелок! — повернулась к нему Лена. — Самопал-то в штанах, небось, заржавел совсем!..» Женщины засмеялись. Агеев выругался и, шлепая босыми ногами, побрел куда-то в конец коридора к своему логову.

Перед самыми выборами я выклянчил в профкоме института талон на парусиновые туфли и принес Лене. Почти всю комнату занимала кровать, покрытая красным стеганым одеялом. На кровати, забравшись с ногами, сидело двое или трое (не помню уже) ребятишек. Они испуганно, будто ожидая чего-то, смотрели то на меня, то на Лену. Лена была весела, и в комнате крепко пахло водкой. «Ох ты! Ну, удружил! — Лена поцеловала талон и сунула в карман халата. — Как думаешь, пойдут? — Она раздвинула полы и далеко, так, что стало видно выше колена, показала ногу. — Не бойсь! Я в таких теперь первая голосовать приду. А вечером в ДК, на танцы...» Я так и не понял, в самом деле радуется она, хоть немного, или смеется надо мной.

Голосовать Лена не пришла. И я, обязанный по суровым правилам агитработы тех лет пребывать на участке, пока не проголодают все мои избиратели, тщетно ждал ее почти до полуночи.

Время от времени председатель комиссии посылал меня к ней на квартиру, но дома ее тоже не было. Может быть, перепутала на радостях и уже с утра отправилась танцевать в дом культуры. Женщины на кухне жалели меня и ругали Лену. «Я говорил, расстрелять ее, курву! И никаких хлопот», — улыбался Агеев, обнажая десны.

Около полуночи председатель комиссии, нимало не задумавшись, поставил в списке возле Лениной фамилии крестик, сложил бюллетень и бросил его в урну. «Их, дураков, жди! Я уже в шесть доложил наверх: явка девяносто девять и девять»...

(Нынешнему читателю, не искушенному в советских выборах игрищах, напомним: в каждом бюллетене стояло одноединственное имя кандидата, обреченного быть избранным.)

Братская могила

В феврале 1946-го, выступая на собрании избирателей, Сталин, по существу, в последний раз говорил вслух перед народом.

В 1952-м взберется еще раз на трибуну за стенами последнего при его жизни партийного съезда, проговорит что-то не слишком вразумительное о борьбе за мир (к войне готовясь) — коротенькое, два десятка строк (на что-нибудь большее, похоже, сил уже не хватало, какой-то механизм внутри не срабатывал). Выступление начнут, понятно, изучать, цитировать, воспевать на все лады, но ни малейшего интереса оно ни у кого не вызовет.

Тремя годами раньше, в 1949-м, *страна и мир* (как тогда говорилось) отмечали семидесятилетие вождя. Торжественное заседание проходило в Большом театре. Телевизоров у нас еще не было: заседание показывали позже, в кинохронике. Вождь сидел за столом президиума мрачный и заметно недовольный. Славословили, славословили, вставали, рукоплескали, подсадные «представители трудящихся» выкрикивали из зала заготовленные лозунги, все снова вставали, рукоплескали, славословили — ждали: что *сам* в ответ скажет. Он — ни слова: глядел перед собой, не улыбочиво, с сердитым лицом, даже «спасибо» не вымолвил. Передавали слухи: болен, устал, какие-то особые соображения. Позже наш мистический философ объяснит: именно в эти дни темные силы, с которыми связан был вождь, перестали питать его энергией, открыли ему скорый конец его царствования и самой жизни

его. В газетах изо дня в день печатали так называемый «Поток приветствий» — несколько колонок наименований организаций, пославших поздравления вождю и учителю. Печатали безответно, до того мартовского дня 1953-го, когда этот *поток* сменился «Потоком соболезнований», несравнимо менее полноводным, вскорости, по мановению руководящей руки, и вовсе иссякшим...

В речи 1946 года на собрании избирателей Сталин о литературе, о культуре, вообще об идеологической политике не говорил.

Иные в ту первую послевоенную, перевальную зиму 1946-го усматривали в этом добрый знак, еще предавались иллюзии, что теперь, под лучами великой победы, жизнь в стране изменится, что ужасы предыдущих десятилетий позади, что дышать будет свободнее (о существовании таких иллюзий нередко читаем у мемуаристов старшего поколения).

Но Сталин *по-своему* хорошо знал российскую историю, помнил, как 1812-й год, аукнувшись победами, откликнулся декабрем 1825-го, как, отвечая на европейские события 1848-го, Николай Первый «подмораживал» Россию (есть свидетельства, что вслед за последовательным возвеличением сперва Петра Первого, потом Ивана Грозного вождь под конец жизни собирался золотить монумент Николая).

Еще не отгремели победные торжества, а кремлевские металлурги уже отливали бронированные листы — отгородиться вместе с поработенными европейскими странами от прочего мира. На исходе зимы 1946-го Черчилль (первый, кажется) скажет о *железном занавесе*, опустившемся над Европой от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике. (А в Нюрнберге еще полным ходом — процесс: советские представители вместе с вчерашними союзниками, ныне уже противниками, судят вчерашних общих противников, позавчерашних — в 1939–41-м — наших союзников.) И мало кто ведал, что тотчас после недавней лихой войны, названной отечественной, с ее *сталинскими ударами* на всех фронтах обдумывались в верховных кабинетах планы войны внутриотечественной — сталинские удары на всех направлениях духовной жизни. Чтобы искоренить из будущего мироустройства всякую мысль, всякий замысел, помысел, неугодные властителю и присным его, взявшимся

по своему разумению перестраивать мир, в котором нам довелось обитать. Чтобы искоренить живое в умах и душах подданных, как недавно залпами катюш выжигали оборону врага.

В те послевоенные годы наступление на сознание, на духовную жизнь подданных, на свободу мысли, и до того со всех сторон стиснутую заборами и преградами, покатилося широким фронтом. Такого наступления родные партия и правительство не предпринимали ни до, ни после. За пять лет моей студенческой жизни появились руководящие постановления о литературе, о театре, о кино, о музыке, боролись с низкопоклонством перед Западом («иностранцами-засранцами», как, по записи Константина Симонова, мудро определил товарищ Сталин), с космополитизмом, с псевдонимами (евреев-писателей), прошли так называемые «дискуссии», имевшие целью назначить в той или иной науке единственную и неоспоримую точку зрения, которая «всесильна, потому что она верна» (философский аргумент, предложенный Лениным), и, назначая оную, уничтожить, подчас и физически, всех, в чьей голове посмело шевелиться что-нибудь иное (дискуссии были организованы по проблемам биологии, философии, медицины). Добавим, что каждое такое начинание, как первый камень, вызвавший камнепад, волокло за собой другие камни, попадавшиеся по дороге, каменная масса катилась с горы, заполняя воздух грохотом, взметая пыль, разбрасывая обломки. Постановления, руководящие выступления, редакционные передовые рождали и плодили новые статьи, рецензии, отклики, проработки, персональные дела, прямые репрессии. (Специально «под постановления» была создана зубодробительная газета «Культура и жизнь», окрещенная — на ушко — *братской могилой*.)

Квисисана

Той зимой 1946-го я впервые попал в Ленинград: отец поехал по служебным делам и взял меня с собой. С чувством почти религиозным бродил я целыми днями по мрачным зимним улицам еще неухоженного после недавних военных будней города. Мысли о только что пережитой городом блокаде (представленный на какой-то выставке кусочек-паек блокадного хлеба, похожий на тем-

ный глиняный черепок, кадр кинохроники: девочка тащит на салазках труп умершей матери) перемешивались в моих впечатлениях в единый состав с встречаемыми на каждом шагу дорогами сердцу следами российской культуры — чудилось, вот сейчас Пушкин легким летящим шагом пройдет мне навстречу.

В Эрмитаже еще шла развеска картин, но уже пускали посетителей. В залах было холодно. Люди стояли перед полотнами в пальто и телогрейках, повязанные платками, в валенках. На Невском в переполненном кинотеатре «Баррикады» показывали невинный американский фильм «Серенада солнечной долины». Для зрителей, измученных лишениями и всего более в жизни страшящихся потерять продуктовые карточки, лента была окном в *другую*, несбыточную, сказочную жизнь.

Приятель отца, старый питерский врач, пригласил нас в знаменитый ресторан «Квисисана» (позже здесь разместится кафе «Норд», еще позже переименованное в «Север»). В блокадные годы в ресторане была столовая: давали по талонам тот черный черепок хлеба, который я видел на выставке. Пока не отменили карточки, в ресторане можно было по коммерческой цене получить чашку бульона с пирожком.

Мы устроились за столиком, красиво освещенным лампой под оранжевым абажуром. «Когда-то я встречал здесь Блока», — сказал приятель отца. Это был высокий костлявый старик с темным, исчерченным глубокими морщинами лицом, будто вырезанным из старого, сухого дерева. В гардеробе он снял выдавшую виды шапку-ушанку и взамен водрузил на лысую голову черный бархатный берет — это придало его облику что-то не соответствующее времени и таинственное. Пока мы, стараясь не торопиться, понемногу откусывали от пирожка и зачерпывали серебряной ложкой прозрачный бульон, старик убеждал меня отставить все остальные занятия и взяться за изучение языков. После войны мир неимоверно расширился, говорил он, волей или неволей окно в Европу снова распахнулось, и так широко, что его уже не затворить: начинается эра широкого общения с иными цивилизованными народами. Голос у старика был громкий, не подчинялся ему. Отец беспокойно поглядывал по сторонам. Впрочем, народу в

зале было мало. Приятель отца, как выяснилось, в молодости учился не только на медицинском, но и на филологическом факультете, знал едва ли не пять или шесть языков.

(Через месяц-другой после нашей встречи, убежденный в начавшейся «эре общения», он разговорится на улице с английским морским офицером. Едва собеседники расстанутся весьма довольные друг другом, старика заберут прямо на улице, не утруждая необходимость зайти домой. Посадить — не посадят, кто их там поймет, почему, может быть, вправду сочтут юродивым, но из Ленинграда вышлют. Старик вскоре умрет, где-то в глуши, нищим приживалом у нищих родственников...)

Собираясь в обратную дорогу, мы с отцом купили, опять же в коммерческом магазине, двести граммов вареной колбасы и белую французскую булку (несколько лет спустя в пылу борьбы с иностранщиной ее назовут «городской»). Бумажный пакет с покупками положили на стол в гостиничном номере «Европейской», а сами отправились еще раз напоследок пройтись по Невскому. Когда мы возвратились в гостиницу и отец, перешагнув порог, щелкнул выключателем, раздался шум и топот, — пакета на столе не оказалось: обрывки оберточной бумаги лежали в углу комнаты у крысиной дыры. Пришлось ограничиться в дороге духовной пищей.

На вокзале по цене совсем не коммерческой я купил свежий номер журнала «Звезда» и, кажется, именно тогда узнал поэта Вадима Шефнера. Утром, выйдя уже в Москве из душного вагона, я вдыхал напоенный влагой февральский воздух, чирикал радостно: «Но не знает весна, что она и взаправду весна»...

ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

Частное и общее

Надежды на послевоенную весну окончательно развеются через несколько месяцев, летом сорок шестого.

«Первой ласточкой» долгой трескучей зимы станет постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Имена Ахматовой и Зощенко уже были к этому времени не пустой для моего сердца звук, не абстракция, не вообще «писа-

тели». И Ахматова, и Зощенко, каждый по-своему, уже вошли в мою память и воображение, вошли в мой состав, сделались частью меня.

Ахматова для меня с младенчества моего была сопричислена к маме. Мама пристрастно относилась к поэтам, которых объединят потом в границах Серебряного века: дорогая (дореволюционная, прибавлю), счастливая мамина юность. И юность самих поэтов: мама всего на три года младше Ахматовой. Среди этих поэтов, которых она любила, но о которых знала и судила весьма поверхностно, Ахматова была, без сомнения, всех ближе, господствовала. В маминой голове с курсистских, студенческих лет не прекращалось круговращение любимых ею — самых известных, что всегда на слуху — ахматовских строк, иной раз, кстати, а то и некстати выпархивавших и произносимых вслух. Строки эти мама произносила с особенным задорным выражением, точно побивала нас ими, точно сама их написала или сообщала нечто ей одной доверенное. Про *сероглазого короля*, про *устрицы*, которые *свежо и остро пахли морем*, про *желтые фонари* в черном саду... Или: «*Улыбнулся спокойно и жутко // И сказал мне: “Не стой на ветру”*» (Ахматова бы ее растерзала!). Имелся у нас в доме и портрет Ахматовой — то ли переснятый с рисунка Анненкова, то ли знаменитая наппельбаумовская фотография, но тоже что-то очень известное, из молодых ахматовских, *маминых* лет, черно-белое и в профиль — всю мою долгую жизнь Ахматова для меня такой и останется (Модильяни и Альтман, увиденные позже, лишь укрепят впечатление).

А Зощенко — это уже мое. Вспоминаю дачу в подмосковном поселке за три года до войны. Эти особенные сосны в медной чешуе с их солнечно-смолистым запахом и также еще не утратившие аромата смолы и древесной свежести срубы домов, тех самых, что «по Казанке», двухэтажных, с террасой внизу и балконом наверху, расположившихся в глубине обширных участков, засыпанных прошлогодней хвоей и хрусткими круглыми шишками. В таком поселке, недавно построенном для сотрудников какого-то наркомата, мы и сняли в одной из дач комнату с балконом на втором этаже.

Соседский упитанный мальчик, нареченный исполненными энтузиазма родителями гордым революционным именем Октябрь, которого все, в том числе и родители, называли Котиком, в первый же день, едва я освоился, сказал мне тихо: «У этого Леньки, который тебя положил, зимой отца забрали». Я понятиливо кивнул. Ленька, коренастый, с коротко остриженной под машинку головой, при знакомстве тотчас предложил мне бороться: я не успел изготовиться, уже лежал, прижатый лопатками к устилавшей землю колкой хвое. Выше его на голову, да и пошире, наверно, я никак не ожидал в нем такой силы и еще более напора. Котик помолчал и прибавил: «А дачу пока не отняли». Помолчал и прибавил: «У Кабачниковых дача тоже два года заколочена. Так никто и не живет». Вполне понятный разговор для подростков второй половины тридцатых.

Оттого, что родители работали в одной *системе*, как тогда говорилось, и оттого, что заселяли дачи примерно в одно время, мальчики и девочки в поселке все знали друг друга и проводили время вместе. И как-то так там повелось, что по вечерам часто собирались у кого-нибудь на просторной нижней террасе и устраивали «концерты»: пели, декламировали, играли небольшие сценки, именовавшиеся «скетчами», танцевали, строили гимнастические «пирамиды» — тоже увлечение времени. Взрослые охотно соглашались быть зрителями на этих представлениях: всё же способ коротать вечера в не оснащенном «голубыми экранами» веке.

Скоро обозначилось и мое место в этом подростковом сообществе: я читал с эстрады Зоценко. Книжка его рассказов в синем переплете уже несколько лет была моим неизменным спутником. Одна из тех нескольких книжек, в которые я едва не всякий день испытывал потребность заглянуть. «Аристократку», «Баню», «Монтера» я знал наизусть. Или почти наизусть. Конечно, я не понимал всего, что хотел сказать своими рассказами писатель. Но многое, как мне представляется даже сегодня, всё-таки понимал. И то, что понимал, старался передать слушателям. Наверно, успеху моих выступлений способствовал мой возраст. В самом деле весьма смешно и мило, когда подросток с пухловатыми детскими щеками и детской челкой над бровями произносит за кавалера, осатаневшего от аппетита дорвавшейся до пирожных дамы: «Натощак — не много ли? Может вытошнить... Ложки, говорю, взад!»

Или капризно — за оперного солиста: «Я в темноте петъ тенором отказываюсь». Но всё же главную причину успеха я отношу на счет автора текста. Потому что текст Зоценко, даже в моем чтении, открывал слушателям, сознавали они это или нет, их жизнь во всей ее пародийности, отчаянии, печали, тоске. Как бы там ни было, вскоре я стал неотъемлемой принадлежностью дачных концертов и, соответственно, выучивал всё новые и новые тексты Зоценко. Учил я их, конечно, не в совершенной точности, читая, порол отсебятину, — теперь, зная цену каждого зоценковского слова, со стыдом признаю в этом, и всё же прощаю себе легкомыслие и неведение подростка. Рассказы схватывались памятью замечательно легко, будто не я старался их запомнить, а они сами в меня входили — не только сочетаниями слов, но определенным настроением души, своего рода мировидением.

(Годы спустя, часто и поныне, прежде чем устроиться за письменным столом, я открываю наугад книгу Зоценко, читаю страницу-другую: не потому, что решаюсь или умею подражать ему, — как глоток живой воды.)

Сейчас приходится встречать суждение, что имена Ахматовой и Зоценко, в общем-то, были случайно избраны для нанесения первого удара: могли быть и другие имена. *Кремлевскому горцу* важно было разрешиться самим постановлением, заклеить с его помощью «безыдейность» и «аполитичность» во всех областях жизни, вставить в рот подданным удила покрепче, потуже натянуть поводья. Смысл в такого рода суждении, конечно, есть: узда здесь дороже лошади. Не Ахматова, не Зоценко — нашли бы кого-нибудь другого. И всё же не случайно, наверно, выхвачены были острым недобрым взглядом хищника на карте отечественной литературы именно эти два островка, упрямо отстаивавших себя, не позволявших себя завоевать, поработить ложью, пошлостью, подлостью, угодничеством, которые повсеместно хозяйничали в тогдашней литературе. И еще: в поношениях, обрушившихся на головы этих двух избранных, в словах хулы, в интонации чувствовалось и нечто личное — с самого верха идущая личная неприязнь.

Исследователи называют разные причины, вызвавшие высочайший гнев.

Об Ахматовой чаще всего говорят, что ей не был прощен порыв, с которым встал зал при ее появлении на сцене послевоенно-

го вечера поэзии: «Кто организовал вставание?» Вождь был убежден, что народные порывы — *вставания* — организуются свыше и притом принадлежат только ему. (Ахматова вместо того, чтобы порадоваться *вставанию*, измученной, привычно-чуткой к опасности душой тотчас почувствовала непоправимость произошедшего в зале.) Но не вставание, конечно, тут причиной (хотя, наверно, и вызвало ревнивое раздражение): вся в совокупности личность Ахматовой и поэзия ее были нестерпимо чужды «вдохновителю и организатору всех наших побед». Стихи Ахматовой в эти годы печаталась не слишком часто и не слишком приметно, да и в вину ей партийные литературоведы вменяли строки, десятилетиями раньше вышедшие из-под ее пера.

Зощенко тоже, кажется, предполагал, что ему не простили оплошность: в одном из рассказов появляется не названный по имени неприятный *человек с усами*. Но достаточно перелистать «Перед восходом солнца», чтобы не искать более никаких причин высочайшего неприятия. Всё в этом создании — каждое слово, каждая мысль, строй речи, чувство пишущего, сама необычайность, неординарность написанного — всё должно было вызвать ненависть Сталина.

Безыдейность через Ы

По моей тогдашней недостаточной грамотности (если ценить полной мерой, и нынче недалеко ушел), а также потому, наверно, что прежде почти не встречал, или не замечал, и, без сомнения, не употреблял этого слова, в постановлении резануло мне глаза слово, в нем господствовавшее, — «безыдейность». Резануло тем, что через *Ы* написано — «безЫдейность». Я наивно полагал, что надо через *И*. Признаться, я и сегодня не уверен, что законодатели нынешней русской грамотности правы с этим *Ы*: «безЫдейный», «безЫскусный», «безЫнтересный». Владимир Иванович Даль осторожничает: «без(ы)ъискусный». Причем только во главе гнезда, в тексте же вовсе без *Ы* — «безыскусный». «Безыдейности» у Даля вовсе нет. Это так, небольшое отступление. Суть же в том, что написанную по правилам «безЫдейность» (ставшую после постановления одним из главных слов эпохи) я при первом же осознанном знакомстве воспринял умом и чувством как что-то грубое,

напористое, опасное. За критикой такой «безЫдейности» стояло утверждение Ыдеи (Ынтереса, Ыскусства) — почему-то познабливает. Бррр!..

(Виктор Клемперер в своей поразительной — поражающей! — книге «ЛТИ. Язык Третьего рейха» пишет о языке тоталитарной системы: «Нацизм въедался в кровь и плоть масс через отдельные словечки, обороты речи, конструкции предложений, вдалбливаемые в толпу миллионными повторениями и поглощаемые ею механически и бессознательно... Но язык не только творит и мыслит за меня, он управляет также моими чувствами, он руководит всей моей душевной субстанцией, и тем сильнее, чем покорнее и бессознательнее я ему отдаюсь».)

Я пять лет отучился на литературном отделении редакционно-издательского факультета. В курсе отечественной литературы Достоевский («архискверный», по глубокому ленинскому обозначению) у нас отсутствовал. В билетах для государственного экзамена автору «Братьев Карамазовых» был отдан единственный вопрос: «Статья тов. В.В.Ермилова об ошибках в мировоззрении Достоевского» (что-то вроде). Ермилов этот — деятельный присяжный критик и литературовед, теперь позабытый (если что помнят, то из предсмертного письма Маяковского: «Жаль с Ермиловым не доругался»). В нашем курсе русской литературы не назывались также имена Чаадаева, Аксаковых, Аполлона Григорьева, Даля, А.К.Толстого, Гаршина, Лескова. Про Тютчева и Фета бедные преподаватели бормотали невразумительное «кус-кус» («искусство для искусства»). Серебряный век оборачивался «черным десятилетием российской интеллигенции». Мандельштам был под запретом. Ахматова упоминалась походя, не как поэт, а как образец этой самой безыдейности через Ы — пошлости и аполитичности. Наша красивая преподавательница (я даже был в нее немного влюблен) изрекала скучно, глаза ее пустели: «монахиня и блудница» — и снова о чем-нибудь другом. О Пастернаке с институтской кафедры за пять лет никто не произнес ни слова. Новые его стихи заметно не появлялись. Вдруг неожиданно был издан сборник пародий и эпиграмм уже умершего к тому времени Александра Архангельского; в сборнике о Пастернаке две строчки (переиначенная непристойная эпиграмма пушкинского

времени): «Всё изменяется под нашим зодиаком, // Лишь Пастернак остался Пастернаком» — похоже, своего рода ключ для понимания отношения к нему свыше. О существовании Цветаевой (не поэта — вообще о ее существовании в этом мире) мало кто знал. Теперь трудно поверить, но тогда — хорошо, если из всех студентов нашего *литературного* отделения несколько человек о ней слышали. Стоит вспомнить всё, что произошло в советском отечестве с Мариной Ивановной и ее близкими после возвращения из эмиграции, из долгой — у нас — безвестности, чтобы не удивиться тому, что имя ее кануло в новую безвестность. Когда десять лет спустя, в 1956-м («оттепель»!), решились напечатать несколько стихотворений Цветаевой, предваривший текст предисловием Илья Эренбург написал (поневоле, конечно), что рассказывать о ее жизни еще не время. Годом позже холуйствующий критик Дымшиц предупреждал: «Цветаева — явление крошечное».

По улицам оставленной Москвы

О Марине Цветаевой — поэте и человеке — я узнал от сокурсницы Тани Т. Таня была несколькими годами меня старше, заметно (даже для меня самого) взрослее и столь же очевидно образваннее. Она хорошо знала поэзию и любила ее особенной прекрасной любовью истинного читателя, в котором полюбившееся стихотворение, строка, подчас единственное слово вызывают прилив ответного вдохновения, едва ли не равноценного вдохновению, воодушевлявшему их творца. Особенно хорошо и любовно обитала Таня в мире поэзии того самого Серебряного века, который в годы нашего учения оказался заведомо не в чести, тем более после публичной казни Ахматовой.

Таня была в каком-то родстве с писателем Виктором Ардовым, называла его «дядей Витей», это придавало веса ее литературным суждениям. Теперь, когда мы вдоволь насыщены о постоянном московском прибежище Ахматовой в доме Ардовых на Ордынке, можно, наверно, яснее представить себе питательную среду пристрастий и познаний Тани, но и в студенческое наше время родство с Ардовым, с *писателем*, кое-что для нас значило. Виктор Ардов был к тому же *известный* писатель, его умело сде-

ланные юмористические рассказы пользовались широким успехом. Недавно я прочитал, что после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» Ардова, как и некоторых других представителей жанра, почти перестали печатать — за компанию (или: в одной кампании) с Зощенко. Но и в эти годы опалы он всё же приходил к нам в институт, выступал на наших студенческих вечерах — читал свои смешные рассказы. (У него была внешность красивого ассирийца.)

Однажды мы с Таней шли вдвоем из института — до метро было по дороге. Зимний день быстро угасал. Темнело. На Садовой насыпало снега. Дворники сгребали его, протяжно шаркали лопатами. У Тани были прозрачные голубые глаза, нежный румянец на тонком, будто нарисованном пастелью лице. «Хочешь, прочту Ахматову?» — спросила Таня и, не дожидаясь моего ответа, прочитала стихотворение, не помню уже какое (мог бы придумать, не хочу). По тем временам это было доверие.

Впрочем, доверительность между нами возникла раньше, когда Таня, заведомо таясь, чтобы другие не видели, вдруг протянула мне в каком-то глухом тупике институтского коридора несколько сложенных тетрадкой листков. На листках ее красивым разборчивым почерком были переписаны некоторые стихотворения Агнивцева, прежде мне неизвестного. «Один дома прочитаешь», — предупредила Таня. После, встречаясь на людях, мы загадочно переглядывались, как те самые *два авгура*, я произносил что-нибудь вроде: «Перед Софи он вертелся, как черт, // И, завертевшись, свалился за борт», для остальных непостижимое, Таня отвечала в лад: «Ах, лейтенант, рыбу ножом!.. фи...» — мы смеялись, вызывая недоумение окружающих.

В тот быстро сгустившийся зимний вечер мы с Таней стояли у метро, в сумраке, за табачным киоском, где часто, не имея иного пристанища, прижимались друг к другу влюбленные (водку пили тогда в открытую, каждые двести-триста метров был прилавок — продавали в разлив). Дворники шаркали лопатами. Шуршали, высекая искры из проводов, штанги троллейбусов. На перекрестке перемигивались светофоры. Таня читала с заведомой невыразительностью (то есть с отсутствием привносимого *от себя* выражения), которая с особенной ясностью доносит до слушателя смысл и звучание стиха. (Так читают подлинные любители поэзии.)

«По улицам оставленной Москвы // Поеду — я и побредете — вы. // И не один дорогою отстанет, // И первый гром на крышке гроба грянет...» Не знаю, не помню, что читала тогда Таня, друг мой любезный, в сумраке за табачным киоском — пишу пришедшие на память строки, которые могла прочитать, — чувствую, что здесь нужна мне, необходима поэтическая строка. «И ничего не надобно отныне // Новопреставленной боярине Марине»...

Можно, конечно, и другое что-нибудь подобрать, припомнить, но без строки стиха никак не передать испытанной в тот зимний вечер обжигающей встречи с поэзией...

Стыдно... Стыдно...

В молодую пору естественного и укореняемого свыше неведения, стыдно не было. Теперь стыдно.

Когда Таня у метро в полутьме за табачным киоском прочитала мне первые в моей жизни цветаевские строки, у Истории за спиной была уже цветаевская Москва, та первая, где *Памятник-Пушкину* «с плечами в зарию или в метель», и цветаевская Прага, и Париж, и снова Москва, страшная, как застенки, и Елабуга... — а я знать ничего не знал, ведать не ведал. О Марине Цветаевой — *не ведал*.

Потом в моей жизни появятся близкие мне люди, которые и знали, и ведали. Встречусь с Лидией Либединской — она видела Цветаеву в конце крестного пути, перед отъездом из Москвы в Елабугу. Когда я на заснеженной темной Садовой впервые вообрал памятью имя Поэта, когда впервые впитывал слухом и душой цветаевские строки, Лида уже мучилась мыслью и совестью (пусть наивно, но прекрасно!) — была бы рядом с Цветаевой, не дала бы погибнуть. А я — не знал, не ведал.

Одно оправдание, оно же — обвинение: я был с большинством, в большинстве.

КРЮЧКОВ И СВЕТЛАЕВ

Имя-знак

Сергей Ефимович Крючков преподавал нам морфологию русского языка и орфографию. Михаил Васильевич Светлаев синтаксис, историческую грамматику и введение в языкознание.

Ныне эти имена порядком подзабыты. Но для школьника моего поколения они были по-своему знаковыми. Они являлись неотъемлемой частью затверженного за годы учения, как формула, парного имени *Крючков и Светлаев*. Имя это стояло на переплете основного школьного учебника русской грамматики и обычно употреблялось как целое — *крючковисветлаев*: «Посмотри у *крючковаисветлаева*». Упомянуть название учебника надобности не было. Просто: «*Крючковисветлаев*, страница семьдесят три». Имя было сопоставимо с другим парным именем-знаком, кажется, самым долговечным в истории русской педагогики: *Шапошников и Вяльцев* — *шапошниковивяльцев* (алгебраический задачник). Это вообще из 19-го столетия, но я *шапошниковавяльцева* еще тоже застал. (Можно, в порядке шутки, вспомнить в том же ряду *бойлямариотта* или *ломоносоваилавуазье*, но шутка шуткой, а типологически — как нечто укорененное со школьных лет в сознании и памяти — сопоставимо.)

Надо ли говорить, что, когда перед школьником, зазубривавшим для поступления в институт параграфы из *крючковаисветлаева*, вдруг, что называется, «живьем», предстал этот самый Крючков, такое не могло не произвести впечатления. Впечатление тем более умножалось, даже возводилось в степень оттого, что среди институтских наставников вдруг оказывался и Светлаев. Обе части формулы-знака были налицо. В начальные годы учения Крючков и Светлаев, и впрямь, почти воедино (*крючковисветлаев*) едва не всякий день появлялись у нас в аудитории.

Уровень грамотности

Сергей Ефимович с хитрецей в светлых холодноватых глазах прогуливался по аудитории, диктовал отрывки, насыщенные заковырыстыми случаями употребления *не* и *ни*, слитного и раздельного написания, прописных и строчных букв и т.п., — все эти особой трудности диктанты, вышибавшие пот на лбу у недавних отличников и отличниц. Вчерашние школьные грамотеи, как с пятеркой, поздравляли друг друга с пятью ошибками (пятнадцать набрать тоже не диво).

Заметив наше отчаяние, Сергей Ефимович утешал насмешливо:

«Мой учитель, покойный Дмитрий Николаевич Ушаков, создатель “Толкового словаря”, считал себя грамотным на семьдесят пять процентов. Я, пожалуй, — процентов на шестьдесят...»

Нам иного не оставалось, как дружно поинтересоваться:

«А мы?»

Сергей Ефимович саркастически оглядывал нас и поводил кистью руки где-то на уровне колен...

Когда развернулась (организована была, конечно) травля книги академика В.В.Виноградова «Русский язык», Сергей Ефимович не пострашил выступить в ее защиту. Таких бесстрашных было по пальцам перечесть (на одной руке хватило бы пальцев).

Во время публичного «обсуждения» (осуждения) виноградовской монографии Сергею Ефимовичу слова не дали. Назавтра в отчете, опубликованном центральной газетой, я прочитал: «Преп. Крючков позволял себе с галерки кликушеские выкрики». *Круто* (если нынешним словом обозначить). После такого выпада всего можно было ожидать. Я, помню, наивно обиделся за своего учителя: «Миллионы людей познают родной язык по его учебнику — и нате вам, это нарочито-презрительное: *преп!*...» То ли на следующий день, то ли двумя-тремя днями позже я сдавал Сергею Ефимовичу какой-то зачет или семинарскую работу. Мы были вдвоем в аудитории. Он сидел, согнувшись — признак плохого настроения (студенты предупреждали один другого: печень прихватило — *сегодня злой*). Сергей Ефимович вдруг спросил (никаких доверительных отношений у нас до этого, да и после, не было): «Про кликушеские выкрики читали?» Я кивнул утвердительно. «Никаких выкриков не было. Просто не дали слова, и я им показал с верхотуры вот это...» В холодноватых глазах проблеснула улыбка. Он достал из портфеля газету «Правда», свернутую так, что видна была карикатура на первой полосе — тогдашний английский министр иностранных дел Бевин, стоящий на голове (как символ некой истины, перевернутой вверх ногами). Ух ты! Тут, глядишь, дело, и впрямь, *преп'*ом не обойдется. Но обошлось, слава Богу.

(Пройдет несколько лет. Вчера господствовавшие истины сменяются новыми, и новые, точь-в-точь как вчерашние, по отечественному обычаю, водружены будут вниз головой. Через несколько лет академик В.В.Виноградов будет поставлен во главе

российской лингвистики и станет непогрешим, тогда как недавние критики его досыта нахлебаются самых беспощадных поношений. И академик Виноградов, возвращенный на Олимп, не удовольствуется тихим торжеством, но будет, кивая при этом на товарища Сталина, метать оттуда в былых противников грома и молнии. В своем путаном любительском сочинении по вопросам языкознания, объявленном, конечно же, гениальным, товарищ Сталин приравняет вчерашних властителей науки, сторонников в сталинское же время до небес вознесенного академика Марра, к вредителям, и академик Виноградов будет призывать советскую лингвистику вступить на путь, «на который всех нас направляет наш великий вождь и учитель И.В.Сталин».

Виктор Владимирович Виноградов — человек битый: несколько раз арестовывали и ссылали несколько раз. И в промежутках покоя не давали. Можно, без сомнения, его осуждать, но нетрудно и понять. Страх из души, из памяти уходит едва ли не последним. Тем более, что эпоха, опять же действуя через страх, навязывает определенный тип поведения. В конце концов многие из поверженных марристов, побуждаемые тем же страхом и типологией эпохи, начнут обращаться к самим себе и своим вчерашним сотоварищам с теми же заклинаниями, с какими будет pouchать их от них натерпевшийся, а ныне восставший из пепла академик Виноградов. Печальней, что страх и в *сравнительно вегетарианские*, по обозначению Ахматовой, времена не покинет души академика, наоборот, навсегда осядет в ней тяжелым винным камнем. На процессе Синявского и Даниэля он выступит экспертом обвинения. Всегда державшийся с достоинством, несколько даже высокомерным, не побрезгует согласиться, не посмеет отказать. Произведет стилистический анализ текстов и «докажет» *антисоветский с точки зрения лингвистики* характер сочинений подсудимых. Спустя годы Синявский в книге «В тени Гоголя» напишет: «Вот мы и встретились с Вами на узкой дорожке, уважаемый Виктор Владимирович, покойный учитель, профессор Московского университета. За Вашу, простите, сделанную в КГБ “стилистическую экспертизу”, где Вы, вопреки обычаю, включили стиль в криминал, усмотрев в нем “скрытую форму политической диверсии”, — даже следователь тогда подивился Вашей академической прыти, опережавшей события и запросы начальства...»

И не нашлось никого, кто посмел бы показать академику какого-нибудь Бевина, стоящего вниз головой...)

Опасные связи

Михаил Васильевич Светлаев был человеком сдержанным. Не то, что неприступен, но внутренне отдален. Всегда замечательно ровен, вежлив, внимателен, безукоризнен в каждом слове и движении, — и всегда некоторое расстояние («ничейная полоса») между ним и собеседником, некоторое расстояние, которое не преодолеешь и которое как бы не предполагало, что его должно преодолевать. Таким он *мне* казался. Или — вспоминается. Недавно попалась его фотография — широкая веселая улыбка, из тех, что *освещает всё лицо*. Наверно, без сомнения даже, и такой бывал — я не помню. Для меня, и не только, смею сказать — для большинства нашего времени студентов, Михаил Васильевич был по образу и подобию своему, что называется, *чеховским интеллигентом* — в понятии этом воплощался не только и не столько образ чеховского героя, сколько образ самого Чехова, каким он (в силу разнообразных причин) сформировался в сознании российского читателя.

Опять же смею предположить, что, по крайней мере, одной из причин приметной сдержанности Михаила Васильевича стало его родство с Булгаковым (он был женат на сестре писателя), прекрасное, конечно, родство, но в ту пору по-своему и опасное.

Положение Булгакова после смерти (а тогда и десяти лет не прошло, как умер) оказалось таким же, как при жизни: формально вроде бы опалы нет, а по сути подзапретен. В Художественном театре давали инсценированные Булгаковым «Мертвые души», там же шла его поразительная пьеса о Пушкине «Последние дни», в которой главный герой не появлялся на сцене, но всё действие было пронизано его присутствием (я был заядлым *мхатовцем* и видел эти спектакли несчетно), но о самом авторе, кроме того, что был таковой, мало кто говорил и слышал. Разве что поминали шедшие до войны в том же Художественном с перерывами и запретами «Дни Турбиных» и жевали обратившийся уже в легенду слух о бесконечных явных и тайных посещениях Сталиным (18 раз!) этого спектакля. А на лекции по истории советской литературы наша красивая преподавательница скучным голосом упоминала *Идейно* порочные сочинения Булгакова «Собачье сердце»

и «Роковые яйца», которые никто из нас не читал (да и негде было прочитать), одной фразой туманно обозначала как бы до нелепости лишенное смысла, но при том всё же заведомо антисоветское содержание сочинений и, навсегда расставшись с Булгаковым, торопливо шагала дальше по курсу. «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Театральный роман», «Кабала святош» — всё оставалось неведомо и недоступно.

Впрочем, в ту пору, о которой пишу, имя Булгакова оказалось по-своему изъято из забвения, правда, как выразились бы нынче, *со знаком минус*. Причиной послужило явление в свет очередного тома собрания сочинений Сталина. Владыка не выпускал из цепких короткопалых рук и посмертную судьбу Мастера. В томе было опубликовано письмо Сталина писателю Билль-Белоцерковскому. Письмо давнее, еще двадцатых годов. Тогда, в двадцатые, Билль-Белоцерковский сочинял пропагандистские пьесы и ходил в популярных драматургах. Обжигаемый своей партийной нетерпимостью он отправил послание вождю, просил разобраться с «врагом» Булгаковым и ответить. Вождь вел с Мастером свою игру, карманный драмодел Билль-Белоцерковский его, надо полагать, вообще не интересовал, но, по ходу *своей* игры, Сталин «разобрался» — и ответил. «Бег» — попытка вызвать симпатию к антисоветской эмигрантщине, оправдать белогвардейское дело. «Багровый остров» — макулатура для буржуазного театра. «Дни Турбиных» — демонстрация всесокрушающей силы большевизма, хотя автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации. Письмо стало известно двумя десятилетиями позже, чем написано. Про умершего Булгакова мало кто вспоминал или смел вспоминать, Билль-Белоцерковский был заживо забыт, будто никогда и не бывало, но поскольку всякое изреченное слово вождя тут же становилось предметом неутомимых исследований, с кафедр и на газетно-журнальных листах тотчас забормотали эхом: «эмигрантщина», «белогвардейское», «макулатура», «всесокрушающая», хотя ни «эмигрантщина», ни «макулатура», ни «всесокрушающая» уже давно ни на одной сцене не шли и ни под какой обложкой не печатались. И наша красивая преподавательница получила воз-

можность прибавить к убогим эпитетам, обозначающим творчество Булгакова, еще несколько, взятых из арсенала товарища Сталина.

В нашем институте, курсом младше, учился Сергей Шиловский, пасынок Булгакова. О том, что *пасынок* я узнал не сразу, многие же и вовсе не знали: разговорчивый Сергей не слишком охотно говорил о том, о чем должен был бы говорить всего более (впрочем, на многих в те годы сообщение о таковом родстве, скорее всего, не произвело бы большого впечатления).

Мы с Сергеем друзьями не были, но поддерживали добрые отношения; одно время ухаживали за двумя подругами. Несколько раз вчетвером или небольшой компанией собирались в квартире Булгакова, выпивали, веселились (сидели почему-то на полу). Несколько раз наши пирушки прерывало возвращение домой Елены Сергеевны; она, почти не останавливаясь, проходила мимо нас в свою комнату. Откуда нам было знать, что это — *Маргарита*. Мама Сергея — не более. Однажды мы с Сергеем шли мимо Художественного. У служебного входа знаменитая актриса Андровская разговаривала с какой-то дамой. Дама оказалась Еленой Сергеевной. Пока Сергей перемолвился с ней несколькими словами, я, не отрывая взгляда, пялился на Андровскую — она была одним из моих кумиров. Сто из ста моих современников тогда вели бы себя точно так же, как я. Ныне все сто, наверно, смотрели бы на *Маргариту*. В комнате соседней с той, где мы веселой компанией пировали на полу, размещался кабинет *Мастера*, хранились, возможно, рукописи его творений, в том числе и одного из самых замечательных романов 20-го столетия. Мы того не ведали. Никаких разговоров о *Мастере*, в доме которого мы пребывали, не велось. Когда я ныне вспоминаю это, страшно становится от мысли, в какую годину суждено было жить.

Годы спустя один из наших студентов — он, кажется, близко дружил с Сергеем Шиловским — рассказывал, что однажды встретил в этом доме Светлаева. В кабинете *Мастера*, перед его портретом, Михаил Васильевич поднял бокал за *великого писателя*: «Может быть, ты когда-нибудь прочитаешь всё, что он написал!»

В ту пору такой тост стоил курса лекций!..

Военные игры

Маленькая трилогия

Времени не будет помириться
Булат Окуджава

Вечер с Чапаевым

Вечером мы играли в войну.

Война была, конечно, гражданская.

Другие войны казались ненастоящими, они обретались в книжках, рядом со сказками и разными занимательными повествованиями, а эта была — живая. Она жила в общей памяти, в названиях улиц, в семейных разговорах, в рассказах родителей, бабушек и дедушек, в облике многих знакомых, которые были ее участниками.

Другие войны были историей, а эта — наша, своя.

Вот ведь даже тридцать лет спустя, в шестидесятые, — «я всё равно паду на той, на той единственной, гражданской»...

Лик гражданской войны, какой она жила в нашем воображении, был поселен в нас главенствовавшим тогда на киноэкранах знаменитым фильмом «Чапаев».

Фильм о Чапаеве стал важным государственным делом. Многие недели его крутили по всей Москве. Трудовые коллективы шли в кинотеатры колоннами, как на демонстрацию, с транспарантами «Мы идем смотреть Ч а п а е в а!» На рекламных щитах и афишах, по диагонали, снизу вверх, мчался на коне, махая саблей, усатый человек в бурке и папахе. Прежде мало кому ведомый красный командир был высочайшей волей превращаем в легенду. Ему назначалось затмить славой прославленных героев гражданской войны, которым предстояло вскоре уйти в небытие.

У нас был свой Чапаев, свой Петька и своя Анка-пулеметчица (Ленка Степанова из пятого подъезда — других девчонок мы в наши военные игры не брали). Сверх того имелся также Елань —

имя чапаевского сподвижника присвоил истопников Витька: необычное имя, наверно, поманило. В фильме играл Еланя красивый артист с мужественным командирским лицом (у нашего же Витьки были пылающие, как флаг, щеки и крошечный носик, пуговкой, вечно мокрый).

Мы накидывали пальтецо на плечи, как бурку, не продевая руки в рукава, и застегивали на одну верхнюю пуговицу у ворота. Наши шапки были сделаны из досочек штакетника, который ограждал газоны, вскопанные во вся длину двора. Ленка Степанова — Анка-пулеметчица — волокла за собой старую зеленую лейку, изображавшую ее грозное оружие.

Поскольку «белыми» никто из ребят быть не хотел, мы вели сражения исключительно с воображаемым противником.

Продирались ползком сквозь царапавший нам щеки кустарник, отчаянно рубили саблями серый осенний будыль, оставшийся на газонах после отцветшего золотого шара, припадали к земле возле пулемета, из которого, ожесточенно колотя камнем по лейке, косила цепи противника Анка-Ленка.

Так, с боями, мы добирались до конца газонов, там брали налево, огибали средний корпус и оказывались на просторе заднего двора. Здесь, в открытом поле, мы бросались в атаку: с криком «ура» мчались мимо сарая, мимо массивной каменной помойки, мимо подвала котельной, мимо дворовой лавки, у двери которой стояли нагроможденные штабелем пустые ящики (иногда, обуреваемые безрассудной смелостью, мы обрушивали их на ходу). Я был Петька и помогал Анке тащить пулемет. Ленка, тощая, длинноногая, бегала несравненно быстрее меня. Она оборачивалась ко мне, сердито сверкала узкими серыми глазами, кричала: «Быстреей, дурак, убьют!», но мне было за ней не угнаться, и мы, цепляясь, за нашу лейку, бежали позади всех. Уничтожив неприятеля, мы снова сворачивали налево, чтобы выйти к нашим газонам и после короткой передышки продолжить военные действия.

Чапаевым был и мог быть только Владик Герасимов, самый сильный, самый смелый и самый красивый мальчик в нашей компании (темные волнистые волосы и светлые глаза). Даже мы, дети, понимали, что он очень красив. Владик приказывал, и мы, не рас-

суждая, исполняли его приказы — ползли на животе по газонам, перепрыгивали через штaketник, срывались за ним в атаку, во всё горло подхватывая его «Ура!», «Вперед!», «За революцию!»

Ко всему этому отец Владика был заслуженный командир Красной армии, с тремя шпалами в петлицах и большим орденом Красного знамени то ли Бухарской, то ли Хорезмской республики на груди (где-то там, в одной из этих республик, он героически сражался с басмачами, утверждая советскую власть).

Владик носил через плечо настоящую командирскую полевую сумку, предмет нашего восторженного почитания. Мы не завидовали Владiku: каждый из нас был убежден, что такая сумка могла принадлежать только ему одному.

Мы уничтожали очередную дивизию неприятеля, но окончательная победа не наступала: враг тут же грозил откуда-нибудь с другой стороны и надо было снова бросаться в бой. В наших играх жила страна и время — постоянное вражеское окружение и постоянная необходимость кого-то уничтожать.

...Владик расстелил на садовой скамейке потертую топографическую карту, исчерканную красным и синим карандашом — какие-то значки, штрихи, надписи, полосы, стрелы (такую даже потрогать — мечта!), низко склонился над ней, опершись локтем о колено, как Чапаев в фильме, и глубоко задумался. Мы почтительно стояли вокруг и ждали решения. Наконец, Владик поднял голову: «Идем с боями вот сюда. — Он показал на карте синюю зубчатую линию. — Здесь сражаемся с главными силами белых. Война будет трудная. Беляки, конечно, пойдут в психическую атаку». (Про психическую атаку мы тоже узнали из фильма. Там белые длинным парадным строем, четко отбивая шаг, бесстрашно двигались к позициям чапаевцев.) Владик сложил карту, засунул ее в полевую сумку и обвел нас взглядом, укрепившим в наших душах мужество и силу. Выбросил руку с пашкой вперед и вверх: «Ура!» Мы перепрыгнули через невысокую ограду газона и, рубя направо и налево хрусткий серый будыль, с победными воплями бросились вперед. Анка-Ленка каждые несколько шагов падала на землю — колотила по лейке камнем и кричала: «та-та-та-та»...

Мы смело бились, как подобало чапаевцам, прорвали оборону противника, заняли нужную позицию, без пощады рас-

стреляли белых, которые пробовали было сломить нас психической атакой, сами перешли в наступление — и вырвались на дальний конец газона. Но в ту прекрасную минуту, когда нам ничего иного не оставалось, как торжествовать победу, мы увидели Вальку Лапшу.

Валька как из-под земли вырос перед нами — стоял, широко расставив ноги в длинных, не по росту брюках, весело рассматривал нас своими круглыми кошачьими глазами — и улыбался. Его улыбка наполнилась таким презрением ко всей нашей кутерьме, ко всем нашим атакам, рубке, победным крикам, что игра вдруг как-то сама собой развалилась. Будто кто-то исполнял на фортепьяно красивую мелодию и вдруг где-то рядом проквокал автомобильный клаксон.

Был этот Валька четырьмя-пятью годами старше нас — лет что-нибудь тринадцати или четырнадцати.

«Вы что, ребята, ох*ели? — засмеялся Валька. (Всякая встреча с ним непременно обновляла и укореняла наше знакомство с ненормативной лексикой.) — Орете, скачете, как козлы, по газонам. Семен, дворник, поймает, даст вам метлой пи*ды».

Мы стояли и переглядывались, испытывая некоторую неловкость, а истопников Витька-Елань шмыгнул носом и сказал приятельски: «Здорово, Лапша».

И только Владик, охваченный яростью или, может быть, бессознательно стараясь спасти игру, вскинул шашку и бросился на Вальку: «Уходи отсюда! Беляк!..»

...Валька, неведомо почему прозванный Лапшой, числился, как именовали это наши родители, *неблагополучным* подростком из *неблагополучного* соседнего двора, отгороженного от нашего кирпичной стеной, по которой взбирались тонкие лозы дикого винограда. За стеной высилось длинное трехэтажное здание из темного, будто закопченного кирпича — бывшая казарма какой-то фабрики. В подъездах казармы с железными перилами и истоптанными ступенями пахло едой, паром, сыростью; свет едва проникал внутрь сквозь давно не мытые окна. Ничего похожего на три наших пятиэтажных корпуса, недавно возведенных крепким жилищным кооперативом. Впрочем, в соседнем дворе мы оказывались крайне редко и всегда без разрешения родителей.

Но тамошние ребята, особенно старшие, к негодованию дворника Семена, частенько перелезали через стену, разделявшую наши дворы. Их привлекала небольшая асфальтированная площадка позади среднего корпуса, возле котельной: Здесь играли в футбол. В тот шумный и неукротимый дворовый футбол (три, четыре человека в команде, пятеро — уже тесновато), который превосходит азартом матчи именитых профессиональных клубов.

Валька Лапша неизменно стоял в воротах.

Я видел в жизни многих хороших вратарей. Валька, каким я его помню, один из лучших, кого я видел. В длинных, широких, всегда не по росту брюках, в такой же, не по росту, материнской кофте до колен, в мятой кепке, он по-хозяйски занимал свое место между двумя кирпичами, обозначающими размах ворот, деловито оглядывался, натягивал неведомо где добытые огромные перчатки — и начинал работать. Он двигался в воротах поразительно точно, и оттого казалось, что мяч летит всегда прямо на него. Он мгновенно перемещался от одной штанги к другой, прыгал, падал, бросался в ноги нападающим, кричал, подзадоривая и своих, и противников: «Давай!». «Ещё!», «Ну!» — и почти всякий раз безошибочно ловил мяч. Старшие ребята, между тем, которым уже под двадцать было, а то и за двадцать, наносили удары со страшной силой. Когда неточно пущенный мяч попадал в железную дверь котельной, она так содрогалась и грохотала, что зрителям даже не по себе делалось. А Валька принимал мячи на грудь, быстро выбрасывал в поле, кричал «Давай!» и приправлял окрики соблазнительными недозволенными словами. Вальку, без сомнения, ждали лучшие команды страны, но он вскоре исчез с наших глаз, отправившись в странствие по отдаленным и не столь отдаленным местам, как отправлялись многие его товарищи, обитатели неблагополучного двора...

...«Уходи отсюда! Беляк!..» Владик с поднятой шашкой бросился на Вальку.

Валька легко вырвал дощечку из руки Владика и швырнул ее в сухие заросли отцветшего золотого шара.

«Красный! — засмеялся он. — А у самого, небось, квартира отдельная...»

«У них — двухкомнатная, с кухней», — доложил истопников Витька.

«Во, с кухней, — сказал Валька. — А мы в подвале живем».

«У него отец — командир полка», — снова поспешил сообщить истопников Витька.

«Командир полка — хвост до потолка!..» — весело отозвался Валька.

«Замолчи! Лапша тухлая! Ненавижу тебя!..» — голос у Владика дрожал.

Я видел, что у него дрожали ноги.

Валька Лапша, вдруг перестал смеяться, приставил — пистолетом — ко лбу Владика грязный, крепкий палец и тихо сказал: «Пу...»

«Дураки вы все!» — закричала Ленка-Анка и, громыхая лейкой по асфальту дорожки, направилась к своему пятому подъезду.

В порядке шефства

Я стоял посреди палаты и читал раненым стихи.

Сергея Есенина. «Письмо матери».

«Ты жива еще моя старушка? // Жив и я...»

«Здóрово!» — сказал тот, которого остальные называли *Старшой*. Его койка стояла слева от меня. Пока я читал, Старшой крепкой финкой с наборной плексигласовой рукояткой упорно выпиливал в гипсе, которым был окован снизу до пояса, прямоугольное окошко. «Здорово! Вот это стихи! А ведь не одобряли»...

«Бузил, сказывают, сильно. Пил, сказывают», — отозвался раненый на койке справа. Совсем молоденький вихрастый паренек, похоже, лишь немногим старше меня. Лицо у него было хмурое и взгляд сердитый; читая, я старался не смотреть на него, чтобы не сбиться.

«Пил!.. А другие — что? Мимо пронесли?.. Только стихов таких не писали. *Пусть струится над твоей избушкой...* — с чувством произнес Старшой. — Скажи, Иннокентьич...» Он повернулся к раненому на дальней койке, у стены.

Раненый этот лежал совершенно неподвижно, до подбородка накрытый одеялом. Я видел лишь его четко очерченный тонкий профиль. Верочка, медсестра, когда послала меня в эту палату, предупредила: «Там, у стены — пожилой. Ты поглядывай: тяжелый. Если что, сразу зови».

«После войны, наверно, многое обратно передумают, — не сразу ответил Иннокентьич, — Начнут собирать разбросанные камни». Он говорил медленно, не открывая глаз.

У нас дома имелся томик Есенина из трехтомного (знаменитого, как я после узнал) собрания сочинений — с березками на белой бумажной обложке. Мама прятала томик за книгами и не велела мне никому о нем рассказывать. Я иногда заглядывал в книжку и, недолго с ней задерживаясь, ставил обратно, на предназначенное для нее потайное место. Но в первые дни войны к нам зашел попрощаться перед отправлением на фронт мамин сослуживец Виктор Ефимович и вручил мне толстую общую тетрадь в коричневом ледериновом переплете, почти целиком заполненную переписанными его мелким четким почерком стихами Есенина: «На, держи. Вернусь с войны, заберу обратно». Наверно, настала моя пора: есенинские строки входили в меня, как желанный воздух, — через несколько недель я знал чуть ли не всю тетрадь на память. В юности я легко запоминал стихи.

«А зачем вы в гипсе дырки делаете?» — спросил я Старшого.

«Чесаться. Вши, что ли?.. Да ты читай. Скоро, поди, домой побежишь...»

«Мне еще в школу».

«Что так поздно?»

«Мы — в третью смену».

«Ну, давай, читай еще».

Госпиталю, над которым шефствовал наш класс, отдали здание новостройки, где до войны размещалась наша школа. Нас, всем классом, перевели в соседнюю, уже сильно перегруженную, — там отвели нам для занятий поздние вечерние часы.

Странно было проходить по своей школе, вдруг совершенно переменившей облик, мимо знакомых классов, вместо парт заставленных больничными койками, по коридорам, где навстречу и обгоняя тебя торопились врачи и сестры в белых халатах, а у окон жались ходячие и выздоравливающие в байковых халатах и пижамах, а то и просто в одном белье.

Палата, в которой я читал стихи, была меньше других. Раньше здесь находилась подсобная комната при физическом кабинете.

те: вдоль стен тогда тянулись шкафы, за стеклами сверкали металлом всевозможные интересные приборы для производства опытов. В палате уместилось всего четыре: койки. На четвертой койке поверх одеяла полусидел, откинувшись на подушки, смуглый восточный человек Мухаметдинов и ждал, когда появится медсестра, которая учила его ходить на костылях: на войне ему оторвало ногу. Стихами Мухаметдинов заметно не интересовался.

...Я прочитал еще несколько стихотворений Есенина и подобрался к коронному своему номеру — «Письму к женщине». Мне нравилось, как я читаю это стихотворение. Мне казалось, что в моем исполнении оно звучит с подлинным трагическим надрывом.

«Вы помните, вы всё, конечно, помните...» — прокричал я, слегка подвывая. Но в это мгновение вихрастый паренек справа от меня, которого я старался обходить взглядом, требовательно и как-то слишком громко закричал: «Утку!»

Я растерянно замолчал, а он, с неприязнью глядя на меня, так же громко и капризно повторил: «Утку подай!» — и, свесив руку, показал на стеклянный сосуд под кроватью. Видно, няня или сестра глубоко затолкнули — не достать. Я подскочил, подал ему утку, он откинул одеяло, и я увидел, что у него, как у Мухаметдинова, одна нога. Он шумно помочился, протянул мне теплый от налитой влаги сосуд и сердито приказал: «Вынеси!»

В коридоре, возле туалета, я встретил Верочку.

«Ну, что, дела идут?» — спросила Верочка и кивнула на утку в моей руке.

«Всё хорошо. Стихи читаю».

«А петь можешь?»

«Нет, петь не умею».

«Жалко, они любят. Ну, ты им расскажи что-нибудь. Что в городе творится. Кино какое-нибудь расскажи. Там, у тебя в палате, все мужики нормальные. Только этот, пожилой, у стенки, трудный».

«Иннокентьич?»

«Во-во. Он молчит, а трудный. Ты присматривай за ним».

С Верочкой я познакомился неделю назад, когда наш комсорг Наташа Калинина впервые привела нас в госпиталь. На-

чальник госпиталя, с петлицами подполковника медицинской службы, выглядывавшими из-под белого халата, встретил нас приветливо, пожал каждому руку, но предупредил, что время в госпитале трудное, каждый день, а то и ночью прибывают раненые, заниматься нами некому... Он снял очки с тяжелого иудейского носа, озабоченно помял пальцами переносицу... Вот разве Верочка? Отличная медсестра и между прочим член бюро комсомола...

«Тебе шестнадцать есть уже?» — спросила Верочка.

Я кивнул, беззастенчиво прибавляя себе год.

Верочка мне сразу понравилась. Маленькая, шустрая (потом я узнал, что в госпитале ее звали Воробей), со смышленными серыми глазами.

(Мне, впрочем, тогда многие девушки нравились: пора неизбежной влюбленности.)

«В *ДеКа Электрик* на танцы ходишь?»

«Только по выходным: у нас школа в третью смену».

«У нас тоже редко вырвешься. Но я в воскресенье отгул попрошу. Аркадий Абрамович отпустит. Он вообще-то добрый. Пошли, потанцуем??»

«А ты, правда, придешь?»

«Я буду в восемь у входа ждать. Только смотри не опаздывай. А то кто-нибудь другой уведет».

Она засмеялась. У нее во рту было несколько металлических зубов — и это меня тоже почему-то очень привлекало.

Возвратившись в палату, я застал горячий разговор.

«Зачем Мухаметдинову нога? — сердито шумел вихрастый. — Он, гляди, уже восемь человек детей сделал. А у меня жизнь только начинается. Кому я нужен, без ноги-то?»

«Ну, даешь газу, — засмеялся Старшой. — Ты что? Детей ногой, что ли, собирался делать?»

«Мне нога нужна работать, — рассудительно сказал Мухаметдинов. — В поле ходить, огород копать. Детей кормить, нога нужна. А новых детей делать... э... нога не нужна...»

«Понял? — смеялся Старшой. — Невесте твоя нога не нужна. Было бы промеж ног как следует. И между прочим повыше кое-что, на плечах».

«Не-е, моя невеста, знаешь какая? Разборчивая, зараза... — как-то сразу сник вихрастый. — Не примет она меня...»

«А не примет, значит — не твоя» — тихо подвел черту Иннокентьич.

Я и сам было подумал, что читать мое коронное «Вы говорили, нам пора расстаться», сейчас, может быть, не к месту, но Иннокентьич опередил меня: «Почитай-ка ты нам Пушкина. Что самому нравится».

«Может, *Я помню чудное мгновенье?*» — предложил я.

«Лучше не придумашь. Только читай без выражения. Ладно? Произноси слова и старайся представить себе, что они значат».

Вот те на! А у Евы Бенционовны, в студии художественного слова, я числился одним из лучших.

Я прочитал стихотворение спокойно и негромко, не повышая голоса и не понижая, как будто читал для того лишь, чтобы самому вспомнить, что там написано, и всё время держал в памяти маленький бронзовый бюст Поэта, который стоял у нас дома на книжной полке, — его кто-то подарил маме в дни пушкинского юбилея 1937 года.

«Дело», — похвалил меня Старшой, когда я умолк.

«Ты только оговорился в предпоследней строчке, — сказал Иннокентьич. — Прочитал *торжество и вдохновенье* вместо *божество*. Чувствуешь разницу?»

Пока я читал, он всё так же, неподвижно лежал на спине, и глаза его всё так же были закрыты.

«Простите, — огорчился я. — Это случайно как-то. Я вообще то помню...»

«Бывает. Даже великие артисты оговариваются. В жизни вообще полно оговорок...»

Он замолчал. И, когда замолчал, я понял, как трудно ему говорить.

«Подойди-ка сюда», — минуту-другую спустя попросил он.

Когда я приблизился, Иннокентьич, наконец, открыл глаза и внимательно, будто решая что-то, на меня посмотрел.

«Есть тут поблизости телефон-автомат?»

Телефон-автомат был совсем рядом: как выйдешь из госпиталя налево, на углу бульвара, возле продуктового распределителя.

«В тумбочке — кошелек, достань из него гривенник...»

«Не надо, у меня есть...» — мне очень хотелось удружить ему чем-нибудь.

«Нет, надо. Возьми два гривенника, или сколько там есть, на всякий случай — автомат часто глотает монеты. Номер на кусочке картона, от папиросной коробки, тоже — в кошельке. К телефону подойдет женщина...»

«А если кто-нибудь другой...»

«Никого другого быть не может... Скажешь: Александр Иннокентьевич передает привет и просит сегодня не приходить. И всё...»

Он медленно закрыл глаза и тихо приказал: «Беги»...

«Боже мой! Значит, ему совсем плохо... — У женщины был красивый грудной голос. — Передайте ему: я скоро буду. Пусть непременно меня дожждется»...

Верочку я встретил на лестнице: Она весело бежала мне навстречу.

«Пойду, посплю. Двадцать шесть часов отдежурила. Там, на этаже, сейчас Маша-толстая. Если что — к ней. Она добрая...»

И — будто вспомнила: «А у вас ЧП в палате. Пожилой, тот, у стенки, отплыл».

«Как — отплыл?»

Я отгалкивал от себя смысл слова, который тотчас понял.

«Ну, как? Был — и нет. Это тут быстро».

«А у меня, вот, гривенник остался».

Я разжал кулак и показал Верочке монетку на ладони.

«Сбереги на память... Я снизу Мишу, санитару, пошлю, чтоб увез. Ты ему помоги. В конце коридора, где черный ход — знаешь? — на лестничной площадке каталка. Ты сразу увидишь — на ней сбоку написано: *Для перевозки трупов*»...

Верочка крикнула мне вдогонку: «Смотри, не опоздай в воскресенье. А то, с другим уйду»...

Караульная служба

Наш полк размещался на окраине небольшого литовского города.

Литвы тогда не существовало — имелась Литовская ССР.

Война лишь несколько лет как кончилась.

По хронологии учебников.

В том уголке земли, о котором я пишу, она продолжалась.

В окрестных лесах хозяйничали литовские партизаны, «лесные братья».

Рядом с нашим учебным танковым, в общем военном городке, располагался оперативный полк МГБ (в ту пору еще не *К*, а — *М*: Министерство). Солдаты этого полка ходили в недалекие и дальние населенные пункты, на хутора, главное — в глубь леса, где укрывались «братья», на *зачистки* (кажется так это ныне именуется?). Главные операции проводились в субботу вечером и в ночь на воскресенье. В будние дни «братья» пахали и косили на своих хуторах (колхозы только образовывались), выполняли производственный план на предприятиях. Праздник для них знаменовался поджогом, взрывом, убийством. Смертью. Того, кого они убивали, или — собственной.

Из леса привозили убитых солдат соседнего полка, нас вели строем в клуб прощаться.

Клуб у нас был общий. Субботним вечером мы вместе смотрели в клубе кино. Во время сеанса в дверях появлялся какой-либо из офицеров-гебистов, громко командовал группе «на выход». Солдаты, участники операции, придерживая шаг и оглядываясь на экран, покидали зал. Слышно было, как на плацу перед клубом, лают, подвывая, взволнованные предстоящей операцией собаки.

А назавтра там, в клубе, стоял наскоро сколоченный гроб (или гробы), обтянутый(-ые) подержанным кумачом, в ногах гроба — венок из бумажных цветов на проволочном каркасе. После прощания шли колонной на кладбище, оно прилепилось к военному городку, отделенное от него лишь оградой из колючей проволоки. Оркестр выдувал из труб траурный марш. Отряженный караул производил холостыми залп. Оркестранты снова брались за трубы — играли гимн, мы стояли «мирно». На холм свеженасыпанной земли водружали фанерную пирамидку, увенчанную красной звездой.

Но я видел и другое. Ранним воскресным утром вместе с несколькими товарищами, курсантами, я патрулировал по городу. Мы как раз оказались во дворе комендатуры, когда в ворота въехал военных времен американский грузовичок-джип, кузов его

был накрыт брезентом. «Разгружай», — водитель со старшинскими погонами выбрался из кабины и стащил брезент. Он привез трупы нескольких убитых в ночной операции литовцев.

Я подошел к кузову и, стараясь не смотреть на покойника, взял его за ноги. На нем были высокие, почти до колен, зашнурованные башмаки с металлическими подковками на подошвах. Генка Васильев, веселый, рыжий солдат со стальными коронками-фиксами на передних зубах, слишком заметно показывая, что дело ему нипочем, перегнулся через борт кузова и взял убитого за плечи. По приказу старшины мы отнесли тяжелую ношу на край двора и положили, прямо на землю, у забора.

Убитый оказался мне младше нас, по виду совсем школьник. У него было белое, как полотно, лицо, пулевое отверстие над левым глазом.

Подошел старшина: «Да это вроде из парикмахерской парень. Ученик. То-то теперь матери радость. И чего полез, спрашивается...»

Человечество осуждено на пожизненное пребывание в руках недобрых кукловодов.

Военный городок, где размещался наш полк, был построен в конце девятнадцатого столетия... Двухэтажные казармы и одноэтажные склады из почерневшего от времени и гари кирпича.

В годы недавно минувшей войны, да, кажется, и в Первую мировую, здесь был лагерь для военнопленных.

На одном из служебных зданий сохранились следы надписи по кирпичу: «Осторожно — блохи!» Рассказывали, что фашисты убивали пленных, напуская на них зараженных смертоносными бактериями блох. Во время войны, помню, об этом было много разговоров. Выяснить их достоверность мне не удалось, но надпись была.

Пока я служил здесь, ни одна блоха меня не укусила.

Зато выгребные ямы в изобилии полнились крысами. Огромные бурые крысы копошились, бегали, толкались, воевали в нечистотах, бесконечно от этого двигавшихся, будто волны морские. Когда я впервые вошел в деревянный балаган уличной уборной и глянул в отверстие дощатого настила, меня охватил ужас. Потом

привык. Все привыкали. Тем более, что из ямы наверх крысы никогда не выбирались. Как в известном анекдоте («Да я живу здесь!») — они *жили там*. Они — там, мы — над ними.

Солдатское развлечение: сделать факел из крепко свернутой газеты, поджечь и бросить в яму. Но такой *цирк* позволяли себе не часто: газета была весьма ценным предметом, так как использовалась вместо курительной бумаги.

Да и где солдату разжиться газетой. Солдаты, понятно, газет не выписывают, вполне довольствуясь сведениями о международной и внутренней обстановке, получаемыми из краткой ежедневной беседы своего замполита, который, в свою очередь, почерпнул информацию из беседы вышестоящего замполита. Поэтому солдат то и дело спрашивает у другого *бумажку*, чтобы сделать самокрутку или для иной насущной надобности.

Курили большей частью махорку. Ее держали где-нибудь на лестничных площадках в больших фанерных ящиках, тех самых, похоже, в которых привозили из военторга, — бери, сколько хочешь, На улице, пообок от входа в казарму, были выгорожены отсеки для курения с врытой в землю железной бочкой вместо урны.

В дальнем конце городка, на границе с кладбищем, громоздились останки разрушенной прошедшими здесь войнами или злой волей церкви. Кирпичные руины заносило землей, они зарастали травой, понемногу превращаясь в холм. Под холмом, в уцелевшем церковном подвале, находился склад кислой капусты. При назначении в караул стоять у склада с капустой считалось самым опасным. Лес в этом месте близко, рукой подать, подступал к проволочной ограде городка. Кислая капуста «лесным братьям» была не нужна, а вот оружие часового очень кстати. Автомат мог стоять часовому жизни. Впрочем, за время моего пребывания в полку никаких боевых действий у склада кислой капусты не происходило. Случалось только: когда темной непроглядной ночью ветер страшно шумел в навалившихся на проволочную ограду кустах, нервы у часового не выдерживали, и он резал кустарник долгой автоматной очередью. (На выстрелы прибегали из караульного помещения сменившиеся с поста и отдохавшие перед заступлением на пост часовые и, матерясь, ползали по земле, отыскивая гильзы от недостававших в магазине стрелявшего автомата патронов.)

Хотя городок вплотную соседствовал с лесом, территория его была замечательно пустынная, будто вытоптанная, — никакой зелени. Посаженные когда-то перед штабным корпусом деревья, казалось, навсегда остались саженцами, вообще гляделись неживыми. Редкие мелкие листочки — будто изготовленные из тускло окрашенных тряпочек; даже не помню, чтобы они облетали осенью и вновь появлялись весной.

Растительность заменяла наглядная агитация.

Вдоль дорожек, перед казармами, на плацу, вообще всюду, где только возможно, поднимались над землей фанерные щиты с начертанными на них основными заповедями советской общественной и военной жизни.

Щиты производил, подновлял и заменял новыми (вслед за появлением в газете очередных «призывов ЦК КПСС» к 7 ноября и к 1 мая) уже третий год удобно кантовавшийся в учебном полку Егор Гиляев, в миру работник то ли Калининского, то ли Воронежского областного худкомбината. Утром, после развода, когда все мы, в погоду и непогоду, отбивая шаг и горланя песни, маршировали на строевые занятия и на полевые, и на классные, и в танковый парк, Егор, отъевшийся, вальяжный, направлялся, гуляючи, к какому-то складу, где отведено ему было помещение под мастерскую, и там, в тепле и холе, без вечного помкомвзвода над головой, изготовлял свои фанерные скрижали.

Лозунги на щитах никто не читал. Хотел написать: схваченные взглядом, они не оставались в памяти, тотчас таяли в ней, — но это было бы неверно. В том-то и штука, что взглядом они не схватывались. Были — и не были. Торчали вокруг — и не существовали. Сам Егор в разговоре признался, не мудрствуя: «Разве я их читаю? Рисую буквы, а думаю свое...» (*Бог любит простодушных*, — из Псалма) Переписывал слова с бумажки на фанеру — и не знал, что пишет. Русская классическая литература создала образ исполнительного писаря, который, того не ведая, аккуратно перекатал бы на бумагу даже вынесенный ему смертный приговор.

Щит с лозунгом высился и перед входом в нашу казарму. Я десять раз на дню пробежал мимо, но текст лозунга открылся мне только на фотографии, когда фотограф-любитель из служивых снял меня на фоне этого щита: «Курсант, учись стрелять метко!» (хорошо, что не покруче что-нибудь — про международный империализм.) Над текстом было схематически изображено легкое самоходное орудие САУ-76.

Старший лейтенант Хмара был самый веселый офицер в полку. Он учил нас штыковому бою.

Сам он был мастер этого дела. Вроде бы даже чемпион, то ли округа, то ли, может быть, и армейский.

Когда старший лейтенант Хмара показывал нам приемы, — это был подлинно балет. Наглядный пример того, что всякое высокое умение оборачивается искусством. Держа в руках винтовку с примкнутым штыком, он в каком-то энергичном чарующем таче двигался между деревянными стойками, на которых были подвешены соломенные циновки (они обозначали людей, предназначенных для убийства), — наступал, делал выпад, колол, отбивал встречный удар, отходил, разворачивался, снова делал выпад... Его педагогические указания при этом перемежались хлесткими шутками, повсеместно в полку повторяемыми (лучшие из них очень бы хотел, но не смею привести — слишком круто завернуты).

«Правую ногу выпрямить! Резче!.. — командовал старший лейтенант Хмара. — Не топтаться, как у бляди под дверью!.. Корпус вперед! Выпад левой! Укол!.. Штык сразу обратно!.. Не копошись в потрохах — самого задницей на шампур посадят! Отбил ответный удар и снова в положение *К бою готов*... О чем мыслишь? Схватишь трепак, тогда будешь мыслить. Бой продолжается!.. Выпад!.. Укол!..»

У старшего лейтенанта Хмары было узкое смуглое лицо и яркие глаза южанина. На груди его гимнастерки пестрели ленточки боевых орденов и медалей, — наверно, ему и в самом деле случалось ходить в рукопашную, вот так — «Выпад! Укол!» — вгонять штык в тело чужого солдата.

«В бою против вас не человек, а противник, — учил старший лейтенант Хмара, — А в наставлении сказано: всякий противник, будь это бегущий, идущий, стоящий, сидящий или лежащий, должен быть поражен. То есть убит. Как говорится, штукеч разных много, а хрен — один...»

...Чудесным осенним вечером наша рота собиралась в караул.

Мир вокруг был залит теплым закатным золотом, каждая подробность, обычно незамечаемая, сделалась заметной и привлекательной. Даже чахлые листочки на деревьях, казавшиеся серыми и тряпичными, набрались жизни и весело засверкали.

До построения оставались еще какие-то неучтенные минуты; я вышел покурить.

Мои сапоги были густо навакшены, пуговицы на гимнастерке отдраены до сияния.

В загоне, отведенном для курения, вокруг врытой в землю железной бочки, до половины заполненной размокшими под утренним дождем окурками, толпились солдаты.

Из громкоговорителей, укрепленных на столбах, раздавалась песня: был тот час, когда, согласно распорядку дня, службу полагалось озвучивать.

Песня была лирическая — про солдата, который после долгих лет войны возвращается на родину. Мать спешит ему навстречу, невеста ждет у пруда...

«А я вот и не возвращался никуда, — сказал сверхсрочный старшина Постников, воевавший еще с Финской. — Все по домам спешат, а я остался. Два раза потом съездил в отпуск — и завязал. Беспорядок там, понимаешь, на гражданке, — суматошно. В армии другое дело. Когда положено — накормят, когда положено — оденут. И с бабой лишнего не побалуешься. Да еще успеешь — найди».

Солдаты вокруг понимающе захмыкали, засмеялись, загомонили нечистыми шутками.

«Вот и я про то», — засмеялся со всеми старшина.

Старшина Постников был статен и крепок, как из стали отлит. Курил он не махорку, даже не папиросы, а сигареты, в ту пору всё полнее овладевавшие нашим российским обиходом. Плоскую пачку с сигаретами старшина держал не в брючном кармане, а в нагрудном кармане гимнастерки, — и в этом тоже был свой шик.

«Курнуть оставьте, товарищ старшина», — опасливо попросил рыжий Генка Васильев.

«Разжалобил», — старшина засмеялся и протянул ему недокурные полсигареты,

Песня вдруг оборвалась на середине.

В громкоговорителе послышались шуршание и треск.

Я подумал было, что полковой радист решил поменять пластинку.

Но хрусткий шорох затих, над военным городком повисла тишина.

И тотчас в курилке стихли разговоры. Точно так же, как беседе не мешала гудевшая над головами песня, внезапная тишина оборвала ее пробудившейся тревогой. «Ну, что там еще?» — старшина поднял голову в сторону громкоговорителя. И будто в ответ ему оттуда послышался курантный звон позывных, обещавших важное сообщение. «Может, на водку цены снизят?» — предположил Лешка Рубцов и заржал. Но он был вообще дурак, и на него не обращали внимание.

(Я хорошо помню, как летним вечером 1943-го из черной тарелки домашнего репродуктора впервые раздались эти позывные. Никто поначалу не понял — *что* это? Люди застыли у своих радиоточек, вслушиваясь в зазвеневшую сигналом строку популярной песни, а она звучала раз за разом, — казалось, конца не будет. Потом смолкла, не дозвеневав мелодию до конца, и секунду-другую спустя из зияющей до удушья тишины послышался мощный голос диктора: «Товарищи! Через несколько минут будет передано важное сообщение». И снова запели позывные, прерываемые теперь одним и тем же дикторским анонсом. Несколько минут растянулись на час, едва ли и не на другой, между позывными стали понемногу запускать музыку (постоянные в ту пору увертюры к «Руслану» или танцы «Вальпургиевой ночи» из «Фауста»), люди, внутренне закаменев, гадали: немцы применили ОВ? открылся второй фронт? катастрофа какая-нибудь непредсказуемая? или, не приведи бог, с *самим* что-нибудь?.. А в это время в Кремле выкапывали орудия для первого победного салюта — в честь освобождения Орла и Белгорода. Потом мы привыкли к салютам, и к позывным, которые и в послевоенное время продолжали предупреждать о важнейших государственных событиях. Привыкнуть привыкли, а, как зазвучит во внезапной тишине знакомая мелодия, всё обдаст душу холодом: человеку несвойственно ждать от государства благих вестей...)

В тот солнечный осенний вечер по радио передали сообщение об успешном испытании советского ядерного оружия.

«А я про что говорю, — прищурил ледяные глаза старшина Постников. — Подрочились на печке — пора за дело».

«Теперь на равных». Рыжий Генка Васильев выставил вперед руку со сжатым кулаком, будто показывал кое-что предполагаемому противнику.

«Теперь, бля, всю планету разнесут», — заржал дурак Лешка Рубцов, но никто на него и не оглянулся.

Радист помедлил и снова поставил пластинку, ту же самую, какую выключил перед позывными. Звук поначалу поплыл немного, но потом разбежался как положено, — песня была про солдата, который всё еще возвращался на родину после долгой войны, мать в платочке спешила ему навстречу, невеста ждала у пруда... Но что-то огромное, мрачное опустилось на землю и отодвинуло то, о чем пелось в песне, куда-то в давным-давно.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I.	Путешествие вокруг Африки на трамвае «А»	7
Часть II.	Посвящается Луи Дагерру	53
Часть III.	Грустный солдат. Мечта	142
Часть IV.	Званные и избранные	204
Часть V.	Поверх написанного	259

Літературно-художнє видання

СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»
Заснована в 2023 році

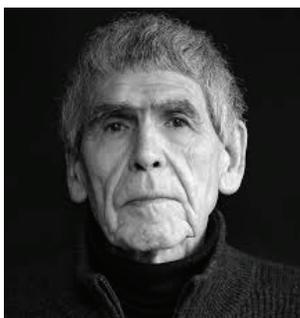
Владимир Порудоминский
Поверх написанного
(трапезы теней)
(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка Друкарський двір Олега Федорова
Формат 60x84 1/16. Наклад 200 прим. Зам. № 2604
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 22,7
Гарнітура «Georgia».
Підписано до друку 21.06.2023 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Виготовлювач: ФОП Лопатіна О. О.
www.publishpro.com.ua
тел.: +38-044-501-36-70



Владимир Ильич ПОРУДОМИНСКИЙ — русский писатель, автор научно-популярных и биографических книг. Окончил редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института (1950 г.). Печатается с 1950. Автор многих беллетризованных биографий, вышедших в популярной книжной серии «Жизнь замечательных людей». С 1994 года живёт в Кёльне.



ДРУКАРЬСКИЙ ДВОР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

